



The book cover features a close-up portrait of a woman with long, wavy, light-colored hair and blue eyes, looking directly at the viewer with a serious expression. The background is dark and smoky, with a bright, orange and red fire burning in the lower center, consuming a dark, skeletal structure that resembles a chair or a piece of furniture. The overall mood is dramatic and intense.

СВЕТАНА  
АЛЕКСИЕВИЧ

**У  
ВОЙНЫ**

**НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО**



# **Светлана Алексиевич**

**У войны — не женское лицо**

Все, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово “милосердие”. Есть и другие слова — сестра, жена, друг, и самое высокое — мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как назначение, как конечный смысл? Женщина дает жизнь, женщина оберегает жизнь, женщина и жизнь — синонимы.

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. Она не только спасала, перевязывала раненых, а и стреляла из “снайперки”, бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала языка. Женщина убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на ее землю, на ее дом, на ее детей. “Не женская это доля — убивать”, — скажет одна из героинь этой книги, вменив сюда весь ужас и всю жестокую необходимость случившегося. Другая распишется на стенах поверженного рейхстага: “Я, Софья Кунцевич, пришла в Берлин, чтобы убить войну”. То была величайшая жертва, принесенная ими на алтарь Победы. И бессмертный подвиг, всю глубину которого мы с годами мирной жизни постигаем.

В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае-июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: “Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире: например, добавить еще одно слово — непере译имое, многозначительное русское слово „подвиг”. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения...” Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово “подвиг”, в том будет доля и свершенного в годы войны советской женщиной, державшей на своих плечах

тыл, сохранившем детишек и защищавшем страну вместе с мужчинами.

...Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рассказов женщин-фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов, танкистов, десантниц, матросов, регулировщиц, шоферов, рядовых полевых банно-прачечных отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подпольщиц. “Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья, отцы”, — писал маршал Советского Союза А.И. Еременко. Были среди девушек и комсорги танкового батальона, и механики-водители тяжелых танков, а в пехоте — командиры пулеметной роты, автоматчики, хотя в языке нашем у слов “танкист”, “пехотинец”, “автоматчик” нет женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина.

Только по мобилизации Ленинского комсомола в армию было направлено около 500 тысяч девушек, из них 200 тысяч комсомолок. Семьдесят процентов всех девушек, посланных комсомолом, находились в действующей армии. Всего за годы войны в различных родах войск на фронте служило свыше 800 тысяч женщин...

Всенародным стало партизанское движение. Только в Белоруссии в партизанских отрядах находилось около 60 тысяч мужественных советских патриотов. Каждый четвертый на белорусской земле был сожжен или убит фашистами.

Таковы цифры. Их мы знаем. А за ними судьбы, целые жизни, перевернутые, искореженные войной: потеря

близких, утраченное здоровье, женское одиночество, невыносимая память военных лет. Об этом мы знаем меньше.

“Когда бы мы ни родились, но мы все родились в сорок первом”, — написала мне в письме зенитчица Клара Семеновна Тихонович. И я хочу рассказать о них, девчонках сорок первого, вернее, они сами будут рассказывать о себе, о “своей” войне.

“Жила с этим в душе все годы. Проснешься ночью и лежишь с открытыми глазами. Иногда подумаю, что унесу все с собой в могилу, никто об этом не узнает, страшно было...” (Эмилия Алексеевна Николаева, партизанка).

“...Я так рада, что это можно кому-нибудь рассказать, что пришло и наше время...” (Тамара Илларионовна Давыдович, старший сержант, шофер).

“Когда я расскажу вам все, что было, я опять не смогу жить, как все. Я больная стану. Я пришла с войны живая, только раненая, но я долго болела, я болела, пока не сказала себе, что все это надо забыть, или я никогда не выздоровлю. Мне даже жалко вас, что вы такая молодая, а хотите это знать...” (Любовь Захаровна Новик, старшина, санинструктор).

“Мужчина, он мог вынести. Он все-таки мужчина. А вот как женщина могла, я сама не знаю. Я теперь, как только вспомню, то меня ужас охватывает, а тогда все могла: и спать рядом с убитым, и сама стреляла, и кровь видела, очень помню, что на снегу запах крови как-то особенно сильный... Вот я говорю, и мне уже плохо... А тогда ничего, тогда все могла. Внучке стала рассказывать, а невестка меня одернула: зачем девочке такое

знать? Этот, мол, женщина растет... Мать растет... И мне некому рассказать...

Вот так мы их оберегаем, а потом удивляемся, что наши дети о нас мало знают..." (Тамара Михайловна Степанова, сержант, снайпер).

"...Мы пошли с подругой в кинотеатр, мы с ней дружим скоро сорок лет, в войну вместе в подполье были. Хотели взять билеты, а очередь была большая. У нее как раз было с собой удостоверение участника Великой Отечественной войны, и она подошла к кассе, показала его. А какая-то девчонка, лет четырнадцати, наверное, говорит: „Разве вы, женщины, воевали? Интересно было бы знать, за какие такие подвиги вам эти удостоверения дали?"

Нас, конечно, другие люди в очереди пропустили, но в кино мы не пошли. Нас трясло, как в лихорадке..." (Вера Григорьевна Седова, подпольщица).

Я тоже родилась после войны, когда позарастили уже окопы, заплыли солдатские траншеи, разрушились блиндажи "в три наката", стали рыжими брошенные в лесу солдатские каски. Но разве своим смертным дыханием она не коснулась и моей жизни? Мы все еще принадлежим к поколениям, у каждого из которых свой счет к войне. Одиннадцати человек недосчитался мой род: украинский дед Петро, отец матери, лежит где-то под Будапештом, белорусская бабушка Евдокия, мать отца, умерла в партизанскую блокаду от голода и тифа, две семьи дальних родственников вместе с детьми фашисты сожгли в сарае в моей родной деревне Комаровичи Петриковского района Гомельской области, брат отца Иван, доброволец, пропал без вести в сорок первом.



Четыре года и "моей" войны. Не раз мне было страшно. Не раз мне было больно. Нет, не буду говорить неправду — этот путь не был мне под силу. Сколько раз я хотела забыть то, что слышала. Хотела и уже не могла. Все это время я вела дневник, который тоже решаюсь включить в повествование. В нём то, что чувствовала, переживала, в нём и география поиска — более ста городов, поселков, деревень в самых разных уголках страны. Правда, я долго сомневалась: имею ли право писать в этой книге "я чувствую", "я мучаюсь", "я сомневаюсь". Что мои чувства, мои мучения рядом с их чувствами и мучениями? Будет ли кому-нибудь интересен дневник моих чувств, сомнений и поисков? Но чем больше материала накапливалось в папках, тем настойчивее становилось убеждение: документ лишь тогда документ, имеющий полную силу, когда известно не только то, что в нём есть, но и кто его оставил. Нет бесстрастных свидетельств, в каждом заключена явная или тайная страсть того, чья рука водила пером по бумаге. И эта страсть через много лет — тоже документ.

Так уж случилось, что наша память о войне и все наши представления о войне — мужские. Это и понятно: воевали-то в основном мужчины, — но это и признание неполного нашего знания о войне. Хотя и о женщинах, участницах Великой Отечественной войны, написаны сотни книг, существует немалая мемуарная литература, и она убеждает, что мы имеем дело с историческим феноменом. Никогда еще на протяжении всей истории человечества столько женщин не участвовало в войне. В прошлые времена были легендарные единицы, как кавалерист-девица Надежда Дурова, партизанка Василиса Кожана, в годы гражданской войны в рядах Красной Армии находились женщины, но в большинстве своем сестры

милосердия и врачи. Великая Отечественная война явила миру пример массового участия советских женщин в защите своего Отечества.

[Пушкин](#), публикуя в “Современнике” отрывок из записок Надежды Дуровой, писал в предисловии: “Какие причины заставили молодую девушку, хорошей дворянской фамилии, оставить отеческий дом, отречься от своего пола, принять на себя труды и обязанности, которые пугают и мужчин, и явиться на поле сражений — и каких еще? [Наполеоновских!](#) Что побудило ее? Тайные, семейные огорчения? Воспаленное воображение? Врожденная неукротимая склонность? Любовь?..” Речь шла только об одной невероятной судьбе, и догадок могло быть множество. Совсем другое, когда в армии служило восемьсот тысяч женщин, а просилось на фронт их еще больше.

Они пошли, потому что “мы и родина — для нас это было одно и то же” (Тихонович К.С. зенитчица). Их пустили на фронт, потому что на весах истории было брошено: быть или не быть народу, стране? Так стоял вопрос.

Что же собрано в этой книге, по какому принципу? Рассказывать будут не знаменитые снайперы и не прославленные летчицы или партизанки, о них уже немало написано, и я сознательно обходила их имена. “Мы обыкновенные военные девушки, каких много”, — приходилось мне слышать не раз. Но именно к ним шла, их искала. Именно в их сознании хранится то, что мы высоко именуем — народной памятью. “Когда посмотришь на войну нашими, бабьими, глазами, так она страшнее страшного”, — сказала Александра Иосифовна Мишутина, сержант, санинструктор. В этих словах простой женщины, которая всю войну прошла, потом вышла замуж,

родила троих детей, теперь нянчит внуков, и заключена главная идея книги.

В оптике есть понятие “**светосила**” — способность объектива хуже-лучше зафиксировать уловленное изображение. Так вот, женская память о войне самая “светосильная” по напряжению чувств, по боли. Она эмоциональна, она страстна, насыщена подробностями, а именно в подробностях и обретает свою неподкупную силу **документ**.

Связистка Антонина Федоровна Валегжанинова воевала под Сталинградом. Рассказывая о трудностях сталинградских боев, она долго не могла найти определения чувствам, которые испытала там, а потом вдруг объединила их в единый образ: “Запомнился один бой. Очень много было убитых... Рассыпаны, как картошка, когда ее вывернут из земли плугом. Огромное, большое поле... Они, как двигались, так и лежат... Их, как картошку... Даже лошади, настолько деликатное животное, она же идет и боится ногу поставить, чтобы не наступить на человека, но и они перестали бояться мертвых...” А партизанка Валентина Павловна Кожемякина хранил в памяти такую деталь: первые дни войны, наши части с тяжелыми боями отступают, вся деревня вышла их провожать, стоят и они с матерью. “Проходит мимо пожилой солдат, остановился возле нашей хаты и низко-низко, прямо в ноги кланяется матери: „Прости, мать... А девчонку спасай! Ой, спасайте девчонку!” А мне тогда было шестнадцать лет, у меня коса длинная-длинная...” Припомнит она и другой случай, как будет плакать над первым раненым, а он, умирая, скажет ей: “Ты себя побереги, девка. Тебе еще рожать придется... Вон сколько мужиков полегло...”.

Женская память охватывает тот материк человеческих чувств на войне, который обычно ускользает от мужского внимания. Если мужчину война захватывала, как действие, то женщина чувствовала и переносила ее иначе в силу своей женской психологии: бомбежка, смерть, страдание — для нее еще не вся война. Женщина сильнее ощущала, опять-таки в силу своих психологических и физиологических особенностей, перегрузки войны — физические и моральные, она труднее переносила “мужской” быт войны. И то, что она запомнила, вынесла из смертного ада, сегодня стало уникальным духовным опытом, опытом беспредельных человеческих возможностей, который мы не вправе предать забвению.

Может быть, в этих рассказах будет мало собственно военного и специального материала (автор и не ставила себе такой задачи), но в них избыток материала человеческого, того материала, который и обеспечил победу советского народа над фашизмом. Ведь для того, чтобы победить всем, народу всему победить, надо было стремиться победить каждому, каждому в отдельности.

Они еще живы — участники боев. Но человеческая жизнь не бесконечна, продлить ее может лишь память, которая одна только побеждает время. Люди, вынесшие великую войну, выигравшие ее, осознают сегодня значимость сделанного и пережитого ими. Они готовы нам помочь. Мне не раз встречались в семьях тоненькие ученические и толстые общие тетради, написанные и оставленные для детей и внуков. Это дедушкино или бабушкино наследство неохотно передавалось в чужие руки. Оправдывались обычно одинаково: “Нам хочется, чтобы детям осталась память...”, “Сделаю вам копию, а подлинники сохраню для сына...”

Но не все записывают. Многое исчезает, растворяется бесследно. Забывается. Если не забывать войну, появляется много ненависти. А если войну забывают, начинается новая. Так говорили древние.

Собранные вместе рассказы женщин рисуют облик войны, у которой совсем не женское лицо. Они звучат как свидетельства — обвинения фашизму вчерашнему, фашизму сегодняшнему и фашизму будущему. Фашизм обвиняют матери, сестры, жены. Фашизм обвиняет женщина.

Вот сидит передо мной одна из них, рассказывает, как перед самой войной мать не отпускала ее без провожатого к бабушке, мол, еще маленькая, а через два месяца эта "маленькая" ушла на фронт. Стала санинструктором, прошла с боями от Смоленска до Праги. Домой вернулась в двадцать два года, ее ровесницы еще девочки, а она уже была пожившим, много видевшим и переживавшим человеком: три раза раненая, одно ранение тяжелое — в область грудной клетки, два раза была контужена, после второй контузии, когда ее откопали из засыпанного окопа, поседела. Но надо было начинать женскую жизнь: опять научиться носить легкое платье, туфли, выйти замуж, ребенка родить. Мужчина, он пусть и калекой возвращался с войны, но он все равно создавал семью. А женская послевоенная судьба складывалась драматичнее. Война забрала у них молодость, забрала мужей: из их одноклассников с фронта вернулись немногие. Они и без статистики это знали, потому что помнили, как лежали мужчины на истоптанных полях тяжелыми снопами и как нельзя было поверить, смириться с мыслью, что этих высоченных парней в матросских бушлатах уже не поднимешь, что останутся они навечно лежать в братских могилах — отцы, мужья, братья, женихи. "Столько

было раненых, что, казалось, весь свет уже ранен...”  
(Анастасия Сергеевна Демченко, старший сержант,  
медсестра).

Так какие же они были, девчонки сорок первого, как уходили на фронт? Пройдем их путь вместе с ними.

# “Не хочу вспоминать...”

Старый трехэтажный дом на окраине Минска, из тех, что строились сразу после войны, давно и уютно обросший кустами жасмина. С него и начался поиск, который продлится четыре года, не прекращен и сейчас, когда я пишу эти строки. Правда, тогда я еще об этом не подозревала.

Привела меня сюда небольшая заметка в городской газете о том, что недавно на Минском заводе дорожных машин “Ударник” провожали на пенсию старшего бухгалтера Марию Ивановну Морозову. А в войну, готовилось в заметке, она была снайпером, имеет одиннадцать боевых наград. Трудно было соединить в сознании военную профессию этой женщины с ее мирным занятием. Но в этом несоответствии и предчувствовался ответ на вопрос: кто в 1941-1945 годах становился солдатом?

...Маленькая женщина с трогательным, девичьим венцом длинной косы вокруг головы, совсем не похожая на свой нечеткий газетный снимок, сидела в большом кресле, закрыв лицо руками:

— Нет-нет, не хочу вспоминать... Нервы никуда. До сих пор не могу военные фильмы смотреть...

Потом спросила:

— А почему ко мне? Поговорили бы с моим мужем, вот кто бы рассказал... Как звали командиров, генералов, номера частей — все помнит. А я нет. Я помню только то, что со мной было. Что гвоздем в душе сидит...

Попросила убрать магнитофон:

— Мне нужны ваши глаза, чтобы рассказывать, а он будет мешать.

Но через несколько минут забыла о нем...

Мария Ивановна Морозова (Иванушкина), ефрейтор, снайпер:

“Там, где стояло мое родное село Дьяковское, сейчас Пролетарский район Москвы. Война началась, мне было неполных восемнадцать лет. Я ходила в колхоз, потом окончила бухгалтерские курсы, стала работать. И одновременно мы занимались на курсах при военкомате. Нас там обучали стрелять из боевой винтовки. В кружке занималось сорок человек. Из нашей деревни — четыре человека, из соседней — пять, одним словом, из каждой деревни по несколько человек. И все девушки... Мужчины-то уже все пошли, кто мог...

Скоро появился призыв ЦК комсомола и молодежи, поскольку противник был уже под Москвой, стать на защиту Родины. Не только я, все девочки изъявили желание идти на фронт. У меня уже отец воевал. Мы думали, что мы одни такие... А пришли в военкомат — там много девушек. Отбор был очень строгий. Первое, так это, конечно, надо было иметь крепкое здоровье. Я боялась, что меня не возьмут, потому что в детстве часто болела, была слабенькая. Потом, если в доме, кроме той девчонки, которая уходила на фронт, никого не оставалось, тоже отказывали, потому что нельзя было оставлять одну мать. Ну, а у меня оставались две сестры и два брата, правда, все намного меньше меня, но все равно считалось. Но тут было еще одно — из колхоза все ушли, на поле некому работать, и председатель не хотел нас от-



пускать. Одним словом, нам отказали. Пошли мы в райком комсомола, и там нам отказали.

Тогда мы делегацией из нашего района поехали в обком комсомола. Нам опять отказали. И мы решили, коль мы в Москве, то пойти в ЦК комсомола. Кто будет докладывать, кто из нас смелый? Думали, что одни там будем, а там в коридор нельзя было втиснуться, не то что дойти до секретаря. Там со всего Союза молодежь была, много таких, что побывали в оккупации, за гибель близких рвались отомстить.

Вечером все-таки добились мы к секретарю. Нас спрашивают: „Ну, как вы пойдете на фронт, если вы не умеете стрелять?" А мы говорим, что мы уже научились... „Где?.. Как?.. А перевязывать умеете?" А нас, знаете, в этом же кружке при военкомате районный врач учил перевязать. Ну, и у нас был козырь в руках, что мы не одни, что у нас еще сорок человек и все умеют стрелять и оказывать первую медицинскую помощь. Нам сказали: „Идите и ждите. Ваш вопрос будет решен положительно". И буквально через пару дней у нас были повестки на руках...

Мы пришли в военкомат, нас тут же в одну дверь ввели, в другую вывели: у меня очень красивая коса, я ею гордилась. Я уже без нее вышла... И платье забрали. Не успела маме ни платье, ни косу отдать... Она очень просила, чтобы что-то от меня, мое у нее осталось... Нас тут же одели в гимнастерки, пилотки, дали вещмешки и в товарный состав погрузили...

Мы еще не знали, куда нас зачислят, куда мы едем? В конце концов для нас было не так и важно, кем мы будем. Только бы — на фронт. Все воюют — и мы. Приеха

ли на станцию Щелково, недалеко от нее была женская снайперская школа. Оказывается, нас туда.

Стали учиться. Изучали уставы — гарнизонной службы, дисциплинарный, маскировку на местности, химзащиту. Девчонки все очень старались. С закрытыми глазами научились собирать и разбирать „снайперку“, определять скорость ветра, движение цели, расстояние к цели, ячейки копать, ползать по-пластунски — все-все это мы уже умели. По окончании курсов огневую и строевую я сдала на „пять“. Самое трудное, помню, было подняться по тревоге и собраться за пять минут. Сапоги мы брали по размеру на один-два номера больше, чтобы не терять времени, быстро собраться. За пять минут надо было одеться, обуться и встать в строй. Были случаи, что в сапогах на босую ногу в строй выбегали. Одна девчонка чуть ноги себе не отморозила. Старшина заметил, сделал замечание, потом учил нас портянки крутить. Станет над нами и гудит: „Как мне, девоньки, сделать из вас солдат, а не мишени для фрицев?“.

Ну, и вот прибыли мы на фронт. Под Оршу... В шестьдесят вторую стрелковую дивизию... Командир, как сейчас помню, полковник Бородкин, он увидел нас, рассердился: девчонок мне навязали. Но потом пригласил к себе, угостил обедом. И, слышим, спрашивает у своего адъютанта: „Нет ли у нас сладкого к чаю“. Мы обиделись: за кого он нас принимает? Мы воевать приехали... А он нас принимал не как солдат, а как девчонок. По возрасту мы ему были дочери. „Что ж я с вами делать буду, милые вы мои?“ — вот как он к нам относился, как он нас встретил. А мы же воображали, что уже вояки...

Назавтра заставил показать, как умеем стрелять, маскироваться на местности. Отстрелялись хорошо, даже

лучше мужчин-снайперов, которых отозвали с передовой на двухдневные курсы. А затем маскировка на местности... Полковник пришел, ходит осматривает поляну, потом стал на одну кочку — ничего не видно. И тут „кочка" под ним взмолилась: „Ой, товарищ полковник, не могу больше, тяжело". Ну, и смеху было! Он поверить не мог, что так хорошо можно замаскироваться. „Теперь, — говорит, — свои слова насчет девчонок беру обратно". Но все равно очень мучился, боялся за нас, когда шли на передовую, каждый раз предупреждал, чтобы осторожными были, понапрасну не рисковали.

Вышли мы первый день на „охоту" (так у снайперов называется), моя напарница Маша Козлова. Замаскировалась, лежим: я веду наблюдения, Маша — с винтовкой. И вдруг Маша мне:

— Стреляй, стреляй! Видишь, немец...

Я ей говорю:

— Я наблюдаю. Ты стреляй!

— Пока мы тут выяснять будем, — говорит она, — он уйдет.

А я ей свое:

— Сначала надо стрелковую карту составить, ориентиры нанести: где сарай, березка...

— Ты будешь, как в школе, разводить бумажную волокиту? Я приехала не бумажками заниматься, а стрелять!

Вижу, что Маша уже злится на меня. —

Ну, так стреляй, чего ты?

Так мы пререкались. А в это время, действительно, немецкий офицер давал солдатам указания. Подошла повозка, и солдаты по цепочке передавали какой-то груз. Этот офицер стоял, что-то сказал, потом скрылся. Мы спорим. Я вижу, что он уже два раза показался, и если мы еще раз прохлопаем, то его упустим. И когда он появился третий раз, это же одно мгновение — то появится, то скроется, — я решила стрелять. Решилась, и вдруг такая мысль мелькнула: это же человек, хоть он враг, но человек, и у меня как-то начали дрожать руки, по всему телу пошла дрожь, озноб. Какой-то страх... После фанерных мишеней стрелять в живого человека было трудно. Но я взяла себя в руки, нажала спусковой крючок... Он взмахнул руками и упал. Убит он был или нет, не знаю. Но меня после этого еще больше дрожь взяла, какой-то страх появился: я убила человека...

Когда мы пришли, стали в своем взводе рассказывать, что со мной было, провели собрание. У нас комсорг была Клава Иванова, она меня убеждала: „Их не жалеть надо, а ненавидеть..." У нее фашисты отца убили. Мы, бывало, запоем, а она просит: „Девчоночки, не надо, вот победим этих гадов, тогда и петь будем".

Через несколько дней Мария Ивановна позвонит мне и пригласит к своей фронтовой подруге Клавдии Григорьевне Крохиной. И я еще раз услышу о том, как не просто было девчонкам становиться солдатами — убивать.

Клавдия Григорьевна Крохина, старший сержант, снайпер:

“Мы залегли, и я наблюдаю. И вот я вижу: один немец приподнялся. Я щелкнула, и он упал. И вот, знаете, меня всю затрясло, меня колотило всю. Я заплакала. Когда по мишеням стреляла — ничего, а тут: как это я убила человека?..

Потом прошло это. И вот как прошло. Мы шли, было это возле какого-то небольшого поселка в Восточной Пруссии. И там, когда мы шли, около дороги стоял барак или дом, не знаю, это все горело, сгорело уже, одни угли остались. И в этих углях человеческие кости, и среди них звездочки обгоревшие, это наши раненые или пленные сгорели... После этого, сколько я ни убивала, мне не было жалко. Как увидели эти горящие кости, не могла прийти в себя, только зло и мщение осталось.

...Пришла я с фронта седая. Двадцать один год, а я уже беленькая. У меня ранение было, контузия, я плохо слышала на одно ухо. Мама меня встретила словами: „Я верила, что ты придешь. Я за тебя молилась день и ночь“. Брат на фронте погиб. Она плакала:

— Одинаково теперь — рожай девочек или мальчиков. Но он все-таки мужчина, он обязан был защищать Родину, а ты же девчонка. Я об одном просила, если ранят, то пусть лучше убьют, чтобы девушке не остаться калекой.

У нас, а я не белоруска, это меня муж сюда привез, я родом из Челябинской области, так у нас там велись какие-то рудные разработки. Как только начинались взрывы, а это делалось ночью, я моментально вскакивала с кровати и первым делом хватала шинель — и бежать, мне надо было куда-то бежать. Мама меня схватит, прижмет к себе и уговаривает, как ребенка. Сколько раз я с кровати кубарем слечу — и за шинель...”

В комнате тепло, но Мария Ивановна укутывается в тяжелый шерстяной плед — ее знобит. И продолжает:

“Наши разведчики взяли одного немецкого офицера, и он был крайне удивлен, что в его расположении выбито много солдат и все ранения только в голову. Простой, говорит, стрелок не может сделать столько попаданий в голову. „Покажите, — попросил, — мне этого стрелка, который столько моих солдат убил. Я большое пополнение получил, и каждый день до десяти человек выбывало”. Командир полка говорит: „К сожалению, не могу показать, это девушка-снайпер, но она погибла”. Это была Саша Шляхова. Она погибла в снайперском поединке. И что ее подвело — это красный шарф. Она очень любила этот шарф. А красный шарф на снегу заметен, демаскировка. И вот когда немецкий офицер услышал, что это была девушка, он голову опустил, не знал, что сказать...

Мы ходили парами, одной от темна до темна сидеть тяжело, глаза слезятся, руки немеют, тело от напряжения тоже немеет. Зимой особенно трудно. Снег, он под тобой тает. Только забрезжит рассвет, мы выходили и с наступлением темноты с передовой возвращались. Двенадцать, а то и больше часов мы лежали в снегу или забирались на верхушку дерева, на крышу сарая или разрушенного дома и там маскировались, чтобы враг не видел, где мы, где наша позиция, откуда мы ведем наблюдение. И старались как можно ближе найти позицию: семьсот- восемьсот, а то и пятьсот метров нас отделяло от траншеи, где немцы.

Я не знаю, откуда у нас смелость бралась? Хотя не дай бог женщине быть солдатом. Расскажу вам один случай...

Мы шли в наступление, очень быстро наступали. И выдохлись, обеспечение от нас отстало: кончились боеприпасы, вышли продукты, кухню и ту разбило снарядом. Третьи сутки сидели на сухарях, языки все ободрали так, что не могли ими ворочать. Мою напарницу убили, я с новенькой шла на передовую. И вдруг видим, на „нейтралке" жеребенок. Такой красивый, хвост у него пушистый... Гуляет себе спокойно, как будто ничего нет, никакой войны. И немцы, слышим, зашумели, его увидели. Наши солдаты тоже переговариваются:

— Уйдет. А супчик был бы...

— Из автомата на таком расстоянии не возьмешь...

Увидели нас:

— Снайперы идут. Они его сейчас... Давай, девчата!

Что делать? Я и подумать не успела. Прицелилась и выстрелила. У жеребенка ноги подогнулись, свалился на бок. И тоненько-тоненько, ветер принес, заржал.

Это потом до меня дошло: зачем я это сделала? Такой красивый, а я его убила, я его в суп! За спиной слышу, кто-то всхлипывает. Оглянулась, а это новенькая.

— Чего ты? — спрашиваю.

— Жеребеночка жалко... — и полные глаза слез.

— Ах-ах-ах, тонкая натура! А мы все три дня голодные. Жалко потому, что еще никого не хоронила, не знаешь, что такое прошагать за день тридцать километров с

полным снаряжением, да еще голодной. Сначала фрицев надо выгнать, а потом переживать будем...

Смотрю на солдат, они же вот только меня подзадоривали, кричали, просили. Никто на меня не смотрит, будто не замечает, каждый уткнулся и своим делом занимается. А мне что хочешь, то и делай. Хоть садись и плачь. Будто я живодерка какая-то, будто мне кого хочешь убить ничего не стоит. А я с детства все живое любила. У нас, я уже в школу ходила, корова заболела, и ее прирезали. Я два дня плакала. Мама боялась, чтобы чего со мной не случилось, так плакала. А тут — бац! — и пальнула по беззащитному жеребенку.

Вечером несут нам ужин. Повара: „Ну, молодец снайпер... Сегодня мясо в котле есть..." Поставили нам котелки и пошли. А девчонки мои сидят, к ужину не притрагиваются. Я поняла, в чем дело, в слезы и из землянки... Девчонки за мной, стали меня в один голос утешать. Быстро расхватали свои котелки и давай есть... Вот как было...

Ночью у нас, конечно, разговоры. О чем мы могли говорить? Конечно, о доме, каждый о маме своей рассказывал, у кого отец или братья воевали. И о том, кем мы будем после войны. И как мы выйдем замуж, и будут ли мужья нас любить. Капитан наш смеялся, говорил:

— Эх, девки! Всем вы хороши, но после войны побоятся на вас жениться. Рука меткая, тарелкой пустишь в лоб и убьешь.

Я мужа на войне встретила, в одном полку мы были. У него два ранения, контузия. Он войну от начала до конца прошел, всю жизнь был военным. Ему не надо объяснять, что у меня нервы. Если я и поговорю на повышенных тонах, он или не заметит, или отмолчится. И мы



живем с ним уже тридцать пять лет, душа в душу. Двоих детей вырастили, дали им высшее образование.

А что вам еще расскажу... Ну, демобилизовали меня, приехала я в Москву. А от Москвы к нам еще ехать и несколько километров пешком идти. Это сейчас там метро, а тогда были вишневые сады, глубокие овраги. Один овраг очень большой, мне через него надо перейти. А уже стемнело, пока я приехала, добралась. Конечно, я через этот овраг боялась идти. Стою и не знаю, что делать: то ли мне возвращаться и ждать дня, то ли набраться храбрости и пойти. Сейчас подумать, так смешно — фронт прошла, чего только не повидала: и смертей, и разного, а тут овраг перейти страшно. Оказывается, война ничего в нас не изменила. В вагоне, когда ехали, когда возвращались уже из Германии домой, мышшь у кого-то из рюкзака выскочила, так все наши девчонки как повскакивают, те, что были на верхних полках, кубарем оттуда, пицат. А ехал с нами капитан, тот удивлялся: „У каждой орден, а мышшей боитесь“.

На мое счастье, ехала машина грузовая. Я думаю: проголосую.

Машина остановилась.

— Мне до Дьяковского, — говорю.

— И мне до Дьяковского, — смеется молодой парень.

Я — в кабину, он — мой чемодан в кузов, и поехали. Видит, что на мне форма, награды. Спрашивает:

— Сколько немцев убила?

Я ему говорю:

— Семьдесят пять.

Он немного со смешком:

— Врешь, может, и в глаза ни одного не видела?

А я тут его признала:

— Колька Чижов? Ты ли это? Помнишь, я тебе галстук повязывала?..

Одно время до войны я работала в своей школе пионервожатой.

— Маруська, ты?

— Я...

— Правда? — затормозил машину.

— До дому-то довези, что же ты посреди дороги тормозишь? — У меня на глазах слезы. И вижу, что у него тоже. Такая встреча!

К дому подъехали, он бежит с чемоданом к моей матери:

— Скорее, я вам дочку привез!

Вернулась, и все надо было начинать сначала. В туфлях училась ходить, на фронте же три года в сапогах. Мы привыкли к ремням, подтянутые, казалось, что теперь одежда на нас мешком висит, неловко как-то себя чувствуешь. Мы юбок не признавали, все в брюках, вечером их постираешь, под себя положишь, ляжешь, считай, выутюженные. Правда, не совсем сухие. Выйдешь на мороз, коркой покроются. А тут идешь в гражданском платье, в туфлях, встретишь офицера, невольно рука тянется, чтобы честь отдать. Привыкли: паек, на всем государственном, и приходишь в хлебный магазин, берешь хлеб, сколько тебе нужно, и забываешь расплатиться. Продавщица, она уже тебя знает, понимает, в чем дело,

и стесняется напомнить, а ты не заплатила, взяла и пошла. Потом тебе уже совестно, на другой день идешь, извиняешься, берешь что-то другое и расплачиваешься за все сразу. Продавцы не обижались на нас, они уже знали...”

Замолкает. И это то молчание, когда любой вопрос неуместен.

“...Я что еще думаю. Вот послушайте. Сколько была война, очень долго... Ни птиц, ни цветов не помню. Они, конечно, были, но я их не помню. Вот такое... Странно, правда?..

Мы только недавно, лет восемь назад, нашу Машеньку Алхимову нашли. Ранило командира артдивизиона, она поползла его спасти. И перед ней разорвался снаряд. Командир погиб, она доползти не успела, и ей обе ноги раскрошило. Мы ее несли в медсанбат, а она просила: „Девочки, пристрелите меня... Кому я такая буду нужна?..“ Так просила... так просила... Ее отправили в госпиталь, а мы дальше пошли, в наступление. След ее потерялся. Мы не знали, где она, что с ней? И куда только не писали, нам никто ответить не мог. Помогли нам следопыты 73-й школы города Москвы. Они нашли ее в Доме инвалидов. Она все эти годы по госпиталям кочевала, ей десятки операций сделали. Она матери своей не призналась, что живая... Можете себе это представить? Вот что такое война... Мы ее привезли на нашу встречу. Она сидела в президиуме и плакала. Потом ее свели с матерью... Через тридцать лет они встретились...

Война и теперь нам снится. То бежишь в укрытие, то на другую позицию. Проснешься — и не верится, что живая... А вспоминать не хочу...”

Физически ощущаю материальность боли, что живет в этой маленькой, кутающейся в старый плед женщине. “Дочка...” — скажет она мне на прощание, неловко протянув вперед горячие руки.

Я иду. Мне теперь не вернуться к себе прежней, когда не было слов: “Оттуда даже если живой придешь, душа болеть будет. Теперь думаю: лучше бы в ногу или в руку ранило, пусть бы тело болело. А то душа... Очень больно... Мы же молоденькие совсем пошли... Девочки... Я за войну даже подросла...”

Я знаю, никакой моей вины

В том, что другие не пришли с войны.

В том, что они — кто старше, кто моложе

Остались там, и не о том же речь,

Что я их мог, но не сумел сберечь, —

Речь не о том, но все же, все же, все же...

Вот это стихотворение Александра Твардовского, его “все же, все же, все же...” теперь не отпустит меня, и я буду искать фронтовых девчонок, исписывать их рассказами десятки блокнотов и магнитофонных кассет, страдать вместе с ними, надеяться. Верить. Мне откроется еще одна война, потому что мы знаем о войне много и мы знаем о войне мало.

# **“Подрастите, девочки... Вы еще зеленые...”**

Листаю “снятые” с магнитофона страницы, читаю письма и пытаюсь представить: так кто же они, эти девочки, которые в сорок первом уходили с отступающими частями, осаждали военкоматы, всеми правдами и полудетскими неправдами прибавляя себе год-два, рвались на фронт? Сами они вспоминают, что были обыкновенными школьницами, студентками. Но в один день мир для них разделился на прошлое — то, что было еще вчера: последний школьный звонок, новое платье к выпускному балу, каникулы, студенческая практика в сельской больнице или школе, первая любовь, мечты о будущем... И войну. То, что называлось войной, обрушилось прежде всего необходимостью выбора. И выбор между жизнью и смертью для многих из них оказался простым, как дыхание.

Я пробую представить себе, что такой выбор встал бы передо мной, и новыми глазами вижу свою комнату — любимые книги, пластинки, тепло настольной лампы, которая сейчас светит мне, знакомое дыхание матери за стеной... То, что могла бы потерять. И уже не тороплюсь повторить, что выбор был “простой, как дыхание”, хотя для них это было именно так. А я ведь намного старше тех девочек...

Из письма москвички Зинаиды Ивановны Пальшиной, рядовой, связистки: “...Я добровольно пошла на фронт. Как было не пойти? Нельзя было не пойти. Все шли... Только на фронт... Другой мысли не было...”.

В Железноводске, где отдыхала во время отпуска (а начатая работа уже не отпускала нигде), я совершенно случайно познакомилась с Натальей Ивановной Сергеевой, рядовой, санитаркой. Вот ее рассказ об их удивительной семье: "У нас было восемь детей в семье, первые четыре все девочки, я самая старшая. Идет война, немец уже под Москвой... Папа пришел один раз с работы и плачет: „Я когда-то радовался, что у меня первые девочки... Невесты... А теперь у каждого кто-то идет на фронт, а у нас некому... Я старый, не берут, вы девчонки, а мальчики маленькие..." Как-то в семье у нас это сильно переживали.

Организовали курсы медсестер, и отец отвел нас с сестрой туда. Он говорил: „Это все, что я могу отдать для победы... Моих девочек..."

Случай далеко не единичный. Вот строки из письма, которое пришло из города Сивашское от Антонины Максимовны Князевой, младшего сержанта, связистки: "У нашей матери не было сыновей, росло пять дочерей. Она с нами эвакуировалась в Сталинград. А когда Сталинград был осажден, мы добровольно пошли на фронт... Все пошли... Вся семья: мама и пять дочерей, а отец к этому времени воевал..."

Нет ничего в мире выше такой материнской жертвы. Только кто мог заглянуть в материнское сердце, узнать, что в нем творилось?

"У нас у всех было одно желание: только в военкомат и только проситься на фронт, — вспоминает минчанка Татьяна Ефимовна Семенова, сержант, регулировщица. — Пошли мы в военкомат, а нам говорят: „Подрастите, девочки... Вы еще зеленые." Нам по шестнадцать — семнадцать лет было... Но я добилась своего, меня взяли.

Мы хотели с подругой в снайперскую школу, а нам сказали: „Будете регулировщицами. Некогда вас учить“. Мама несколько дней сторожила на станции, когда нас повезут. Увидела, как мы шли уже к составу, передала мне пирог, десяток яиц, и упала в обморок...”

Говорят о многих матерях, каждая о своей, а как будто об одной.

Из воспоминаний Ефросиньи Григорьевны Бреус, капитана, врача:

“...У нас в семье все девочки — четыре девочки. На фронте была я одна. И мой папа был счастлив, что дочь на фронте, что она защищает Родину. Папа шел в военкомат рано утром. Он шел получать мой аттестат и шел рано утром специально, чтобы все в деревне видели, что дочь у него на фронте”.

Рассказывает хирургическая медсестра Лилия Михайловна Будко:

“Первый день войны... Мы на танцах вечером. Нам по шестнадцать лет. Мы ходили компанией, проводим вместе одного, потом другого. Такого у нас еще не было, чтобы отделился кто-то парой. Идем, допустим, шесть ребят и шесть девчат.

И вот уже через два дня этих ребят, курсантов танкового училища, которые нас провожали с танцев, привозили калеками, в бинтах. Это был ужас. Если услышу: кто-нибудь смеется, я не могла этого простить. Как можно смеяться, как можно чему-то радоваться, когда такая война идет?

Скоро отец ушел в ополчение. Дома остались одни малые братья и я. Братья были с тридцать четвертого и

тридцать восьмого года рождения. И я сказала маме, что пойду на фронт...”

Евдокия Петровна Муравьева, лейтенант, младший техник:

“К началу войны я успела окончить техникум связи. Присвоили звание младшего техника. И я сразу настроилась, что буду воевать, должна. Конечно, война — это не женское дело. Но мы были нужны. Мама плакала, когда я уезжала на фронт, но говорила, что она точно так же бы поступила. Она у меня была особенная...”

Рассказывает санинструктор Полина Семеновна Ноздрачева, после войны полный кавалер орденов Славы:

“...Выстроились мы по росту, я самая маленькая. Командир идет, смотрит. Подходит ко мне:

— А это что за Дюймовочка? Что ты будешь делать? Может, вернешься к маме и подрастешь?

А мамы у меня уже не было...”:

В Кишиневе встретила с Анной Степановной Маврешко, заведующей одной из городских библиотек, в войну лейтенантом, командиром огневого взвода:

“Командир спрашивает:

— Кем ты хочешь быть?

— Офицером!

Посылают меня в Смоленское артиллерийское училище. Сдала я все экзамены. Вызывает меня начальник училища:

— Экзамены вы сдали хорошо, но принять вас в училище мы не можем.



— Почему?

— В истории советской артиллерии еще такого не было.

— Не было, так будет. Отсюда я уеду только на фронт. И уеду только офицером... Я даже домой об этом написала...

Ходила я во всем мужском. Девчата мне даже записочки писали. Но училище окончила..."

Из Вильнюса пришло письмо от Моники Казимировны Тринкунайте:

"У меня был хороший музыкальный слух. Мама этим очень гордилась. Когда началась война, я решила, что мой слух пригодится на фронте, я стану связисткой..."

Зоя Ивановна Шаврук, ефрейтор, телефонистка:

"Пришлось соврать. Брали только с двадцать пятого года, а я с двадцать седьмого. Я себе два года прибавила. Сказала, что я с двадцать пятого. Мне поверили, я была крепкая. Маме, конечно, не сказала правду. Я ей сказала, что ходила в военкомат и меня направили в Брянск работать. Уже из части ей написала. Оттуда она уже вернуть меня не могла..."

Эстен Борисовна Кожемятникова, ефрейтор, фельдшер:

"Папа у меня участник гражданской войны, командир отряда. Мама всегда была вместе с ним. Она — сестра милосердия. О нашей семье перед войной писали в „Комсомольской правде“."

Раз война, то какая может быть учеба? Я удрала из института. Не только я одна удрала. Нам всем было не до экзаменов. Мы считали, что нам надо воевать, что медики должны пойти в первую очередь.

Но нас эвакуировали в Пятигорск. У меня была справка, что я учусь на третьем курсе мединститута. Мы только после третьего курса должны были пойти на первую врачебную практику. В Пятигорске я сразу попадаю в госпиталь и, представьте себе, — сразу сто сорок тяжелораненых...

Не хватало крови. Ты ложишься на один стол, раненый — на другом. И прямое переливание крови... Четыреста граммов надо... Встанешь, тебе дадут два стакана какао и кусок белого хлеба. Подкрепишься немного и идешь работать. Один раз я выпила какао, съела этот кусочек хлеба и поднимаюсь идти, а у меня все поплыло перед глазами. Мы сутками не спали...

Но это все равно был не фронт. А я хотела на фронт. Мне хотелось быть похожей на своих родителей. Мой любимый снимок, где папа и мама в кожаных куртках. Они были необыкновенные люди. Я же вам говорила: они всю гражданскую войну вместе прошли. И я там родилась. На одной войне родилась, к другой успела подрасти..."

Софья Михайловна Кригель, старший сержант, снайпер:

"В декабре сорок третьего года нашу кабельную роту расформировали. Всех девчонок отправляли домой, но я услышала, что под Москвой есть снайперская школа. И когда меня взывали, сказала, что никуда не поеду, что должна взять винтовку в руки и пойти на передовую. Остальное все — чепуха. Телефон, например, есть теле

фон. А я должна взять оружие в руки и мстить сама. Я уже знала, что у меня никого из родных не осталось. Моей мамы нет...

Направили меня в снайперскую школу, и я ее окончила на „отлично“. Сегодня окончила, а завтра пошла проситься на фронт, потому что всех отправляли, а меня хотели оставить инструктором в школе. А я даже такой мысли не допускала...”

Евгения Сергеевна Сапронова, гвардии сержант, авиамеханик, уходила на фронт из родного города Елец. Тот день ей запомнился на всю жизнь:

“Я просила маму: только не надо плакать. Это было не ночью, но было темно, и стоял сплошной вой. Они не плакали, наши матери, провожавшие своих дочерей, они выли. Но моя мама не плакала, она стояла, как каменная. Но разве ей не было жалко меня? Она держалась, она боялась, чтоб я не заревела. Я же была маменькина дочка, меня дома баловали. А тут постригли под мальчика, только маленький чубчик оставили. Они с отцом меня не пускали, а я только одним жила: на фронт, на фронт, на фронт! Вот эти плакаты, которые сейчас висят в музее: „Родина-мать зовет!“, „Что ты сделал для фронта?“ — на меня, например, очень действовали. Я решила, что здесь, в тылу, могут остаться женщины постарше, а я все-таки должна пойти на фронт.

К концу войны у нас вся семья воевала. Отец, мама, сестра — они стали железнодорожниками. Они шли сразу за фронтом и восстанавливали дорогу. Медаль „За победу“ у нас получили все: отец, мама, сестра и я...”

Из Ставропольского края пришло письмо от Ольги Митрофановны Ружицкой, сержанта, медсестры: “Когда я уходила на фронт, стоял прекрасный день. Светлый

воздух и мелкий-мелкий дождичек. Так красиво! Вышла утром, стою: неужели я больше сюда не вернусь? Мама плакала, схватит меня и не отпускает. Я уже пойду, она догонит, обнимет и не пускает... А я верила, что вернусь, что не погибну. Как это я могу умереть? Как это меня убьют, меня не станет?..”

У каждой из них была своя дорога на фронт. Но побуждение одно — Родина. И желание одно — спасти Родину.

Не будем домысливать, указывать, дописывать за них. Пусть рассказывают сами...

Галину Дмитриевну Запольскую война застала в армии, она работала телефонисткой. Ее часть находилась в Борисове, куда война докатилась в первые же недели, но недалеко жили родители, можно было вернуться к ним, вместе эвакуироваться. Она же сделала другой выбор, как и ее подруги.

“Из Борисова я со своей частью, — рассказывает Галина Дмитриевна, — эвакуировалась в Могилев. Немцы бомбили город, особенно аэродром. А там мы установили связь. День и ночь бомбежки, бомбежки. Войска отступают...

Начальник связи выстроил всех нас. Мы не служили, не солдаты, мы были вольнонаемные. Он мне говорит:

— Вот, девчата, началась война жестокая. Вам будет очень трудно, девушкам. И пока не поздно, если кто хочет, можете вернуться к себе домой. А те, кто пожелает остаться на фронте, шаг вперед...

И все девушки, как одна, шаг вперед сделали. Человек двадцать нас было. Все готовы были защищать Родину.

Работали сутками, целыми сутками. Солдаты принесут нам котелки к аппаратам, перекусим, подремлем тут же, возле аппаратов, и снова за работу. Некогда было помыть голову, так я попросила: „Девочки, отрежьте мне косы...“.

В горд Бузулук Оренбургской области война еще не дошла, а Леночка Яковлева уже просилась на фронт. “Тебя же еще Леночкой, а не Леной зовут, а ты уже на фронт просишься. Мать пожалела бы...” — уговаривали соседки.

Да только разве можно было уговорить их, этих девчонок? Помните, как об этом у Юлии Друниной:

Я ушла из детства в грязную теплушку,  
В эшелон пехоты, в санитарный взвод.  
Дальние разрывы слушал и не слушал  
Ко всему привыкший сорок первый год.  
Я пришла из школы в блиндажи сырые,  
От Прекрасной Дамы в “мать” и  
“перемать”.

Потому что имя ближе, чем Россия,  
Не смогла сыскать.

Рассказывает Елена Павловна Яковлева, старшина,  
медсестра:

“...И когда мы снова пришли, в который уже раз, не помню, военком чуть нас не выставил: „Ну, если бы у вас хоть какая-нибудь специальность была. Были бы вы медсестры, шофера... Ну что вы умеете делать? Что вы будете делать на войне?..” Мы не понимали, что мы мешаем людям работать. Перед нами такого вопроса не стояло: что мы будем делать? Мы хотели воевать, и все. До нас не доходило, что воевать — то что-то уметь делать конкретное, нужное. И он нас как огорошил своим вопросом.

Я и еще несколько девочек пошли на курсы медсестер. Нам там сказали, что надо учиться шесть месяцев. Мы решили: нет, это долго, нам не подходит. Но были еще курсы, где учились три месяца. Правда, три месяца — это тоже, как мы считали, долго. Но эти курсы как раз подходили к концу. Мы попросили, чтобы нас допустили к экзаменам. Еще месяц шли занятия. Ночью мы были на практике в госпитале, а днем учились. Как только сдали экзамены, нас направили в военкомат. Получилось, что мы учились месяц с небольшим...

Но нас направили не на фронт, а в госпиталь. Это было в конце августа сорок первого года. А в феврале я ушла из госпиталя, можно сказать, убежала, дезертировала, иначе не назовешь. Без документов, без ничего убежала на санитарный поезд. Написала записочку: „На дежурство не приду. Уезжаю на фронт”. И все...”

Ленинградка Вера Даниловцева мечтала стать актрисой, готовилась в театральный институт, а в войну стала снайпером, кавалером двух орденов Славы.

Рассказывает:

“У меня в тот день было свидание. Я думала, он мне в этот день признается: „Люблю”, а он пришел грустный: „Вера, война! Нас прямо с училища отправляют на

фронт.". Он был военный, курсант. Ну, и я, конечно, тут же представила себя в роли Жанны д'Арк. Только на фронт и только винтовку в руки, хотя до того муху жалко было убить. Побежала в военкомат, но там говорят, что нужны пока только медики и учиться надо шесть месяце. Шесть месяцев — это много, это же обалдеть!

Как-то меня убедили, что надо учиться. Хорошо, буду учиться, но не на медсестру..."

Анна Николаевна Хролович жила до войны в Омске, успела окончить медтехникум. В 1942 году поступила на первый курс эвакуировавшегося в Омск 2-го московского медицинского института.

Из ее письма:

"Моих друзей забрали на фронт. Я страшно плакала, что осталась одна, что меня не взяли. Агитировать не надо было, все рвались на фронт. Просились. Умоляли.

Но проучилась я немного. Декан скоро наш выступил и сказал:

— Закончится война, девочки, потом будете доучиваться. Надо защищать Родину...

На фронт нас провожали шефы с завода. Этот было лето. Я помню, что все вагоны были в зелени, в цветах... Преподносили нам подарки. Мне досталось вкуснейшее домашнее печенье и красивый свитерок. С таким азартом я танцевала на перроне украинский гопак..."

Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик:

"Когда я училась в седьмом классе, к нам прилетел самолет. Это в те годы, представляете, в 1936 году. Тогда это была диковинка. И тогда же появился призыв:

„Девушки и юноши — на самолет!“ Я, конечно, как комсомолка, была в передовых рядах. Сразу поступила в аэроклуб. Отец, правда, категорически был против.

До этого в семье нашей все были металлурги, несколько поколений металлургов-доменщиков. И отец считал, что металлургом быть женская работа, а летчиком нет. Начальник аэроклуба узнал об этом и разрешил покатать отца на самолете. Я так и сделала. Мы поднялись с отцом в воздух, и с того дня он больше не был против. Ему понравилось. Закончила аэроклуб с отличием, хорошо прыгала с парашютом.

До войны успела еще выйти замуж, родила девочку. Сразу на фронт я не попала. В нашем аэроклубе начались разные переустройства: мужчин забирали, а заменяли их мы, женщины. Учили курсантов. Работы было много, с утра до ночи работали. На руках у меня осталась дочка, жили мы все время в лагерях. Я с утра ее закрую, дам каши, и с четырех часов утра мы уже летаем. Возвращаюсь к вечеру, а она поест или не поест, вся измазанная этой кашей. Было ей три годика.

К концу сорок первого мне прислали похоронную: муж погиб под Москвой. Он был летчик, командир звена. Я стала проситься на фронт...”

Несколько строк из письма Любви Аркадьевны Марной, младшего лейтенанта, шифровальщицы:

“...У меня сыну было два годика, и я была беременная, ждала второго ребенка. Тут война началась... И муж на фронте... И я поехала к своим родителям и сделала все, что надо... Я этого ребеночка не родила...”



Окончила курсы шифровальщиц. Попросилась на фронт. Хотела отомстить за своего ребеночка, которого не смогла родить...”

Серафима Ивановна Панасенко, младший лейтенант, фельдшер мотострелкового батальона:

“Я сама свердловчанка. Оттуда и на фронт ушла. Только мне исполнилось восемнадцать лет, как вдруг объявляют: „Война!“ Помню, как люди плакали. Сколько видела людей в этот день, все плакали. Училась я на втором курсе фельдшерско-акушерской школы. И я сразу подумала: „Раз война, значит, нужно на фронт“. У меня папа старый коммунист, политкаторжанин. Он нам с детства говорил, что Родина — это все, Родину надо защищать. И я так была воспитана, что если я не пойду, то кто пойдет?”

Из воспоминаний старшего сержанта, связистки Марии Семеновны Калиберды из города Борисова:

“Никогда бы не пошла в связь и не согласилась бы, потому что я не понимала, что это тоже воевать. Приехал к нам командир дивизии, построились мы. Была у нас Машенька Сунгурова. И вот эта Машенька выходит из строя:

— Товарищ гшенерал, разрешите обратиться.

Он говорит:

— Ну, обращайтесь, обращайтесь, боец Сунгурова!

— Рядовая Сунгурова просит освободить ее от службы в связи и направить туда, где стреляют.

Вы понимаете, мы были все такие. Не могу вот выразить, слова подобрать, чтобы объяснить то наше состояние. Мы так были настроены, что то, чем мы занимаемся

— связь, это очень мало, это даже унижает нас, мы должны быть только на переднем крае.

У генерала сразу исчезла улыбка:

— Девчоночки мои! (А вы бы видели, какие мы были тогда — не евщие, не спавшие, одним словом, он уже не как командир, а как отец с нами заговорил.) Вы, наверное не понимаете своей роли на фронте, вы наши глаза и уши, армия без связи, как человек без Родинакрови...

Машенька Сунгурова первая не выдержала:

— Товарищ генерал! Рядовая Сунгурова, как штык, готова выполнять любое ваше задание!

Мы ее потом так до конца войны и звали: „Штык“.

...В июне 1943 года на Курской дуге нам вручают знамя полка, а наш полк, сто двадцать девятый отдельный полк связи шестьдесят пятой армии, уже на восемьдесят процентов женский. И вот я хочу вам рассказать... Что у нас было, в наших душах что творилось, вы не знаете. Когда знамя получил наш командир полка и дал команду: „Полк, под знамя, на колени!“, все мы, женщины, были настолько счастливы, что нам оказали доверие, что мы будем теперь такой полк как все, как танковый, стрелковый... Стоит и плачем, у каждой слезы на глазах. Мы все счастливые были. Нам любое задание давай, потому что это наша Родина в беде.

И я вам скажу, вы сейчас не поверите, но у меня такое напряжение было, вот весь мой организм напрягся и вся моя болезнь, — а я заболела куриной слепотой, это у меня от недоедания, от нервного переутомления случилось, — так вот, моя куриная слепота прошла. Понимае

те, я на другой день была здорова, я выздоровела, вот через такое потрясение всей души...”

Пришло письмо от москвички Марии Сергеевны Колесник, в войну младшего сержанта, зенитчицы:

“Я видела, как горел Вильнюс... Все горело, даже камень горел. Осталось у меня в памяти, что горел красный камень какого-то костела. Первый три дня был страшный страх: кругом убитые, раненые, а я, беременная, живая. Бегу по дороге и помню, как мама говорила, что, если хочешь родить красивого сыночка, смотри только на красивое, слушай красивые песни. А я бегу и только пожары вижу, только смерть вижу, только кровь вижу. Думаю: „Кого же я рожу в таком ужасе?”

Сыночек мой долго не пожил. И я сразу попросилась в армию...”

А вот только пару страничек из большого, на целую ученическую тетрадку, письма, которое пришло из города Саки от Ксении Сергеевны Осадчевой:

“...Девятого июня сорок первого года мне исполнилось восемнадцать лет, а меньше чем через две недели началась эта проклятая война. Со школьной скамьи мы пошли на строительство железной дороги Гагра — Сухуми. Я запомнила, какой мы ели хлеб. Он был, словно ежик. В отсеки и полову добавляли муки, чтобы слиплось, и, как пчелиные соты, наполняли водой. Полежит этот хлеб на столе, и возле него лужица водицы, мы слизывали ее языком.

В сорок втором году добровольно пошла в эвакуационный госпиталь, три тысячи двести первый. Это был очень большой фронтальной госпиталь, который входил в состав Закавказского и Северо-Кавказского фрон

тов и отдельной Приморской армии. Бои шли очень жестокие, раненых было много. Меня поставили на раздачу питания — эта должность круглосуточная, уже утро и надо подавать завтрак, а мы еще раздаем ужин. Через несколько месяцев ранило в левую ногу — скакала на правой, но работала. Потом еще дали должность сестры-хозяйки, это тоже надо быть на месте круглосуточно.

Тридцатого мая сорок третьего года ровно в час дня был массированный налет на Краснодар. Я выскочила из здания посмотреть, как успели отправить раненых с железнодорожного вокзала. Две бомбы угодили в сарай, где хранились боеприпасы. На моих глазах ящики взлетали выше шестиэтажного здания и рвались. Меня ураганной волной отбросило к кирпичной стене. Потеряла сознани- е...

Когда пришла в себя, было шесть часов вечера. Пошевелила головой, руками — вроде двигаются, еле-еле продрала левый глаз и пошла в отделение, вся в крови. В коридоре встретила меня старшая сестра, она не узнала меня, спросила: „Кто вы? Откуда?“ Подошла ближе, узнала и говорит: „Где тебя так долго носило, Ксения? Раненые голодные, а тебя нет“. Быстро перевязали голову, левую руку выше локтя, и я пошла получать ужин. В глазах темнело, пот лился градом. Стала раздавать ужин, упала. Привели в сознание, и только слышится: „Скорей!. . Быстрее!..“ Я еще давала тяжелораненым кровь.

Двадцать месяцев никто не подменял, не сменял меня. Левая нога, опухшая до колена, забинтована, руку прооперировали, тоже перебинтована, голова забинтована. В школьные годы я сдавала нормы на БГТО и ГТО, но нет еще спортсмена в мире, который бы в таком состоя

нии проскакал двадцать месяцев круглосуточно. Я проскакала и перенесла все.

...Все у нас сейчас восстановлено, все утопает в цветах, а я изнываю от болей, у меня и сейчас не женское лицо. Я не могу улыбаться, я ежедневно в стоне. За войну я так изменилась, что когда приехала домой, мама меня не узнала. Мне показали, где она жила, я подошла к двери, постучала. Ответили:

— Да-да...

Я вошла, поздоровалась и говорю:

— Пустите переночевать.

Мама растапливала печь, а два моих младших братика сидели на полу на куче соломы, голые, нечего было одеть. Мама меня не узнала и отвечает:

— Пройдите дальше.

Я еще прошусь: да как-нибудь. Мама говорит:

— Вы видите, гражданочка, как мы живем? У нас и так сколько солдаты спали. Пока не стемнело, пройдите дальше.

Подхожу ближе к маме, она опять:

— Гражданочка, пройдите дальше, пока не стемнело.

Я наклоняюсь, обнимаю ее и произношу:

— Мама-мамочка!

Тогда они все на меня как набросятся, как заревут...

Я прошла очень тяжелый путь. На сегодняшний день нет еще книг и фильмов, чтобы сравнить с тем, что я пережила.”

Чтобы понять их, семнадцатилетних-восемнадцатилетних, знаю — надо взглядеться в то, что было до этого. А были — детство, школа, родители.

Софья Ивановна Шеревера, гвардии младший сержант, радиотелеграфист:

“Я воспитанница детского дома. Как раз мы окончили семь классов, готовились к выпускному вечеру. Но директор Василий Никифорович Зимонец (мы и сейчас с ним переписываемся, и он меня называет дочерью), собрал нас и сказал: „Ребята, началась война!..”

Мы ждали эвакуации. Детдом наш был под Винницей. Но что-то приказ на эвакуацию не пришел, и Василий Никифорович решил: „Дети, как сможем, будем добираться сами”. И повел нас пешком на станцию, только попросил, чтобы старшие смотрели за младшими. „Возьмите, — сказал, — что можете”. Но что мы могли взять? Хлеба по куску... Шли долго пешком, затем ехали поездом. Когда теплушки в поле остановятся, мы собирали колосья, давали маленьким и сами ели.

Так мы подъехали к Пензе. Оттуда нас направили в Бузулук. Там, в Бузулуке, мы наконец почувствовали, что над нами бомбы не рвутся. Поселили нас сначала в церкви, а потом дали отдельный дом. Директор сказал: „Дети, вы, конечно, хотите учиться, но нужно помогать Родине. Пойдете кто на завод, кто в ремесленное училище, а малых будем продолжать растить”. Я изъявила желание пойти в ремесленное училище. Днем учились, а ночью работали на заводе. Мне не было шестнадцати лет. Там еще меньше меня были. Станок большой, так мы подставляли себе деревянные чурбаки, чтобы можно было работать. Делали штыки, на шлифовальных станках отшлифовывали. Все для Победы было...

Потом решили всей группой, все девчата, уже мы о Зое Космодемьянской в газете „Правда“ читали, пойти на фронт. Нас партия так воспитала, что дороже Родины ничего нет. Это она спасла мне жизнь, не дала умереть с голоду. (Плачет.) Выучила меня, если бы не война, я уверена, даже институт окончила бы. Но мой институт прошел на фронте. И я горжусь этим...”

Жила девочка в Ленинграде, за Невской заставой. Там родилась, там училась в школе. Бегала с подружками на танцы, участвовала в комсомольских субботниках. Потом работала фрезеровщицей на заводе “Большевик”.

Проходили мимо завода части в сорок первом. Просилась: “Дяденьки, возьмите на фронт”.

Вспоминает Надежда Васильевна Анисимова:

“Жалели, не пускали меня на передовую. Но я все же стала санинструктором пулеметной роты. Умирать не боялась. По молодости, наверное. Один раз ночью разведку боем на участке нашего полка вела целая рота. К рассвету она отошла, а с нейтральной полосы послышался стон. „Не ходи, убьют, — говорили мне бойцы, — видишь, уже светает”.

Не послушалась, поползла. Нашла раненого, тащила его восемь часов, привязав ремнем за руку. Приволокла живого. Командир узнал, объявил сгоряча пять суток ареста за самовольную отлучку. А заместитель командира полка отреагировал по-другому: „Заслуживает награды”. Я понимала их обоих...

В девятнадцать лет у меня была медаль „За отвагу”. В девятнадцать лет поседела. В девятнадцать лет в последнем бою были прострелены оба легких, вторая пуля прошла между двух позвонков. Парализовало ноги, и ме-

ня посчитали убитой... Когда я приехала домой, сестра показала мне похоронку!..”

Рассказывает Альбина Александровна Гантимурова, старший сержант, разведчица:

“Маму свою я не помню, остались в памяти только очертания ее. Когда мамы не стало, мне было три года. Отец служил на Дальнем Востоке, был кадровый военный. Научил меня кататься на лошади. Это было самое сильное впечатление детства. Отец очень не хотел, чтобы я выросла кисейной барышней. В Ленинграде, я себя помню с пяти лет, жила с тетей. А тетя моя в русскояпонскую войну была сестрой милосердия.

Какая я была в детстве? На спор прыгала со второго этажа школы. Любила футбол, всегда вратарем у мальчишек была. Когда началась финская война, без конца убегала на финскую войну. А в сорок первом как раз окончила семь классов и успела отдать документы в техникум. Тетя плачет: „Война!“, а я обрадовалась, что пойду на фронт, смогу проявить себя. Откуда я знала, что такое кровь?

Когда формировалась первая гвардейская дивизия народного ополчения, нас, несколько девчонок, взяли в медсанбат.

Позвонила тете:

— Ухожу на фронт.

На другом конце провода мне ответили:

— Марш домой! Обед уже простыл.

Я повесила трубку.



Потом мне ее было жалко. Потом началась блокада, а она осталась одна. Старенькая.

Помню, отпустили меня в город. Прежде чем пойти к тете, я зашла в магазин. До войны страшно любила конфеты. Говорю:

— Дайте мне конфет.

Продавщица смотрит на меня, как на сумасшедшую. Я не понимала: что такое карточки, что такое блокада? И тогда все люди в очереди повернулись ко мне, а у меня винтовка больше, чем я. Когда нам их выдали, я посмотрела и думаю: „Когда я дорасту до этой винтовки?“

И все вдруг стали просить, вся очередь:

— Дайте ей конфет. Вырежьте у нас талоны.

И мне дали.

На улице собирали помощь фронту. Прямо на площади на столах были большие подносы, люди шли и снимали, кто перстень золотой, кто серьги... Часы несли, деньги... Никто ничего не записывал, никто не расписывался... Женщины снимали с рук кольца обручальные. Забыть это до сих пор не могу, как и тот кулечек конфет.

И был приказ за номером двести двадцать семь — ни шагу назад! Этот приказ сразу сделал из меня взрослую.

Мы не спали сутками, столько было раненых. Однажды трое суток никто не спал. Меня послали с машиной раненых в госпиталь. Сдала раненых, назад машина ехала пустая, и я выпалась. Вернулась, как огурчик, а наши все с ног падают.

Встречаю комиссара:

— Товарищ комиссар, мне стыдно.

— Что такое?

— Я спала.

— Где?

Рассказываю ему, как отвозила раненых, как ехала назад пустая и выпалась.

— Ну и что? Молодец, что выпалась. Пусть хоть один человек будет нормальный, а то засыпают на ходу.

А мне было стыдно. И с такой совестью мы жили всю войну.

В медсанбате ко мне хорошо относились, но я хотела быть разведчицей. Сказала, что удеру на передовую, если меня не отпустят. Чуть из комсомола за то не исключили”.

Два ордена Красной Звезды, два ордена Славы, две медали “За отвагу” — вот неполный список ее боевых наград за войну, или, как говорит сама Альбина Александровна, “за разведку”.

“Одну Славу не дотянула... Разведчики шутили: „Не хватило тебе, Альбинка, войны”. Самая дорогая моя награда — первая медаль „За отвагу”. Солдаты залегли. Команда: „Вперед! За Родину!”, а они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку, чтобы видели, что я девчонка, поднялась... И они все встали, и мы пошли в бой.

Вручили мне медаль, и в тот же день мы пошли на задание. И у меня впервые в жизни случилось... Наше... Женское... Увидела я у себя кровь, как заору:

— Меня ранило...

В разведке с нами был фельдшер, уже пожилой мужчина. Он ко мне:

— Куда ранило?

— Не знаю куда... Но кровь...

Мне он, как отец, все рассказал.

Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь... И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили... Просыпаешься — зубы стучат.

Кончилась война, у меня было три желания: первое — наконец я не буду ползать на животе, а стану ездить на троллейбусе, второе — купить и съесть целый белый батон, третье — выспаться в белой постели и чтобы простыни хрустели”.

Из воспоминаний зенитчицы Валентины Павловны Максимчук:

“В полдень двадцать восьмого июня сорок первого мы, студенты пединститута, собрались во дворе типографии. Сбор был недолгим. Вышли из города по старой Смоленской дороге в направлении города Красное. Соблюдая осторожность, шли отдельными группами. К концу дня жара спала, идти стало легче, пошли быстрее, не оглядываясь. Дошли до места привала, и только теперь взглянули на восток. Половина неба была охвачена багровым заревом, с расстояния сорока километров казалось, что оно заняло весь город. Ясно стало, что не десять и не сто домов горят. Горит весь Смоленск...

Было у меня новое, такое воздушное платье с оборочками. Нравилось он Вере, моей подружке. Несколько раз она его примеряла. Я обещала подарить его ей на свадьбу. Замуж она собиралась. И парень хороший был.

А тут война вдруг, уходим на окопы. Вещи свои в общежитии сдаем коменданту. А как же платье? „Возьми, Вера", — говорила я, когда мы уходили из города.

Не взяла. Сгорело в том зареве платье.

Все время мы шли и оборачивались. Казалось, что нам печет в спину. Всю ночь не останавливались, а с рассветом вышли на работу. Сказали нам рыть противотанковые рвы. Семь метров отвесная стена и три с половиной метра вглубь. Копаю, а лопата огнем горит, песок кажется красным. Стоит перед глазами наш дом с цветами и сиренью...

Жили мы в шалашах на залидном лугу между двух рек. Жара и сырость. Комаров тьма. Перед сном выкурим их из шалашей, а с рассветом все равно просачиваются, спокойно не поспишь.

Увезли меня оттуда в санчасть. Там на полу впокат мы лежали, Много нас заболело тогда. Температура высокая. Озноб. Лежу на полу — плачу. Открылась дверь в палату, доктор с порога (дальше и пройти нельзя было, матрацы вплотную лежали) говорит: „Иванова, плазмодий в крови". Это у меня, значит.

Она не знала, что для меня страха большего не было, чем этот плазмодий, с того раза, как я о нем в учебнике еще в шестом классе прочитала. А тут репродуктор заиграл: „Вставай, страна огромная..." Впервые я тогда услышала эту песню.

Привезли меня в Козловку — недалеко от Рославля, — выгрузили на лавку, сижу, держусь изо всех сил, чтобы не упасть, слышу будто во сне:

— Эта?

— Да, — сказал фельдшер.

— Ведите в столовую.

И вот я в кровати. Вы можете понять, что это такое, не на земле у костра, не в плащ-палатке под деревом, а в госпитале, в тепле, в кровати. Семь дней я не просыпалась. Говорят, сестры будили и кормили меня, а я не помню. А когда через семь дней проснулась сама, пришел врач, осмотрел и сказал:

— Организм крепкий, справится.

И я опять уснула.

На войне самым трудным было сон побороть. Изю дня в день недосыпать приходилось, и наступал такой момент, когда владеть собой человек уже не мог. В работе не замечаешь, а чуть передышка — с ног и валишься. На посту ходила без остановки взад-вперед и стихи вслух читала, старалась, чтобы за два часа не повторяться”.

Фронт был не только на фронте. Солдатом на моей земле стал каждый.

Со слов Франи Васильевны Адашкевич:

“Когда Минск начали бомбить, мы пытались уйти из города. И я запомнила, что среди беженцев не было мужчин, шли женщины и дети, старики. Никогда я не видела столько детей. Не знаю, отчего такое впечатление осталось. Может, потому, что детей старались спасти в первую очередь., Но никогда больше я столько детей не видела...

Что я делала в первые дни оккупации? Патроны собирала и в выварке для белья, в кастрюлях в землю закапывала. Оружие собирала, полно в лесах его было, и это делала не я одна. Мы знали, что если будем живы, все

это нам пригодится. Мириться с тем, что фашист ходит по твоей земле, никто не хотел”.

Из рассказа подпольщицы Марии Васильевны Жлоба:

“Мы вывозили раненых из Минска. Я шла на высоких каблуках, стеснялась, что малая ростом. Каблук один сломался, а тут кричат: „Десант!“ И я босиком бегу, а туфли в руке, жалко, очень красивые туфли.

Когда нас окружили и видим, что не вырвемся, то мы с санитаркой Дашей поднялись из канавы, уже не прячемся, стоим во весь рост: пусть лучше головы снарядом сорвет, чем они возьмут нас в плен, будут издеваться. И раненые, кто мог встать, тоже встали...

Когда я увидела первого фашистского солдата, я не смогла слово выговорить, у меня отнялась речь. А они идут, молодые, веселые, и улыбаются. И где бы они ни остановились, где бы ни увидели колонку или колодец, начинали мыться. Рукава у них всегда закатаны. И моются, моются... Кровь вокруг, крики, а они моются, моются... И такая ненависть поднималась изнутри, что еле сдерживаешься. Я пришла домой, я две рубашки поменяла. Так я хотела, так все внутри протестовало против того, что они здесь. Я не могла спать ночами.”

Вспоминает подпольщица Мария Тимофеевна Савицкая-Радюкович из горда Слуцка:

“Немцы въехали в деревню на мотоциклах. Я глядела на них во все глаза: они были молодые, веселые, все время смеялись. Они хохотали! Сердце останавливалось, что они здесь, на твоей земле, и еще смеются.

Я только мечтала, чтобы я отомстила, чтобы я погибла и обо мне написали книгу. Готова была все сделать для своей Родины.

— Но у вас был маленький ребенок?

— Дочку я родила в сорок третьем. На болоте родила, в стогу сена. Пеленочки на себе сушила, положу за пазуху, согрею и опять пеленаю. Вокруг все горело, жгли деревни вместе с людьми... Девять деревень сожгли в нашем Гресском районе (был такой до войны, теперь вся его территория вошла в Слуцкий район).

Я сама огарки собирала, собирала подруге семью. Косточки находили, и где остался кусочек одежды, хоть краечек какой, узнавали, кто это. Подняла я один кусочек, она говорит: „Мамина кофта...“ И упала. Кто в простынку, кто в наволочку косточки собирал. Что у кого было чистое. И в могилку общую клали. Только косточки белые...

После этого на какое бы задание меня ни посылали, я шла. Я хотела как можно больше помощи оказать. Ничего не жалела.

Ребенок у меня был маленький, три месяца, я с ним на задание ходила. Комиссар меня отправлял, а сам плакал: „Душа болит“. Медикаменты из города приносила, бинты, сыворотку... Между ручек и между ножек положу, пеленочками перевяжу и несу. В лесу раненые умирают. Надо идти. Никто не пройдет, везде немецкие и полицейские посты, одна я проходила.

Теперь так рассказать трудно... Чтобы была температура, ребеночек плакал, солью его натирала. Он тогда красный весь, по нем сыпь, он из шкуры вылезит. Подхожу к посту: „Тиф, пан... Тиф...“. Они кричат, чтобы скорее

уходила: „Век!.. Век...” И солью натирала, и чесночек клала. А дитяtko маленькое... С трех месяцев я с ним ходила на задание... Еще грудью кормила...

Как пройдем посты, войду в лес, плачу-плачу. Кричу! Так дитяtko жалко. А через день-два опять иду. Надо...”

Сидела рядом с Марией Тимофеевной ее подруга Мария Михайловна Матусевич-Заяц, вместе с которой они были в подполье, затем в партизанах. Слушала, плакала. О своем тоже без слез не могла рассказывать.

“За три дня до войны родила я сыночка... Антона... Люди кричат: „Война!”, а мы в роддоме детей рожаем. И что я запомнила — мальчиков все рожали.

С первых дней, как пришли немцы, мы старались в лесу каждый патрон подобрать. Оружие собирали. Мама не пускала: „Куда ты с дитем на руках? Бога не боишься? ” — „А эти бога бояться. — отвечала я. — Посмотри, что делают с нашими людьми...”

Выведут молодых мужчин с хаты и возле порогов расстреляют. У нас двое соседских хлопцев так положили. Возле самой хаты. Возле самого порога...

Я была комсомолка. И не могла сидеть сложа руки. Листовки разносила, сведения собирала. И все с ребенком на руках. Две головы несла немцам. Сколько слез моих было? Река.

Сыночек погиб. Без меня погиб, но по моей вине, я в партизанах была. Их с мамой сожгли. Я прибежала к нашей хате... Земля еще теплая была... Одно, что я нашла: граммочку костной золы... Я ее уже знала...



После войны, когда родила снова мальчика, молила бога, чтобы я его успела вырастить, чтобы он меня своими ручками обнял и узнал, что я его мать. Такая я была больная от войны...”

Партизанка Вера Иосифовна Одинец:

“И такая ненависть, и такая ненависть. Мы же видели, что они творили на нашей земле. В сердце была только ненависть. Я столько крови и трупов видела на дорогах. Я видела, как на глазах у матери убивали ребенка. По мертвым уже не голосили...”

Из рассказа минской подпольщицы Натальи Николаевны Акимовой:

“Работала я в Новинках — больнице для душевнобольных. Тут лечили людей, и тут же они работали. Была большая ферма, триста гектаров земли, парники. Было триста больных. Минск бомбили. Наш дом сгорел, сгорела вся улица. Помню, что мы пришли на место нашего дома, и там осталась только дека от рояля, а две китайские вазочки стояли целые посреди пожарища.

Главврач больницы сразу пошел в военкомат. Но больных нельзя было бросить на произвол судьбы. Я осталась. Город заняли фашисты. Прикрепили к нам, к этой земле, к этой ферме группу СС. Главным был немец Вернер. Он один раз мне говорит: „Дайте пойдём посмотрим вместе, что делают на постах ваши люди“. Возле одного поста подбегает к нам больная и просит закурить. Наши больные очень свободно себя вели, они этим отличались. Он отмахнулся от нее. Тогда она бросилась ему на шею — и целовать, и он, оскорбленный за свою арийскую чистоту, тут же хватает пистолет, больная еще висит у него на шее, а он выстрелил ей в затылок.

Могу вам показать даже место, где это было, там, где вторая палата сейчас у нас находится. Я бросилась к нему: что-то кричала, что-то говорила, что он забыл, где находится, что это больные. Меня всю трясло. Меня увели куда-то в другую комнату, и этот Вернер пришел туда. Он начал мне что-то доказывать через переводчика. Что, мол, я напрасно расстраиваюсь, должна понять: надо очиститься от балласта.

Что было потом?.. Подъехали машины-душегубки. Туда загнали всех больных и повезли. Ослабленных больных, которые не могли передвигаться, снесли и сложили в бане. Закрыли двери, всунули в окно трубу от машины и всех их отравили. Потом, прямо как дрова, эти трупы бросили в машину.

Главный, который командовал, видя, что я бьюсь буквально в истерике, сказал, чтобы меня привели в его кабинет. И даже начал объяснять свое поведение: „Вы сейчас так переживаете, а потом будете сами рады, что вас освободили от балласта. Ведь это безнадежные люди, кому они нужны. Бросьте свои женские сантименты.“. Они делали это, как обычную работу, совершенно спокойно.

Вот какие это были люди. Разве можно было допустить, чтобы такие чудовища ходили по нашей земле?”

Десятки, сотни таких рассказов в моих блокнотах. Жизнь в воспоминаниях спрессовывается, память выхватывает самое-самое. И мой сегодняшний мир как бы “взорван” этой памятью прошлого.

Несколько строк из письма, которое пришло из Киева от бывшей партизанки Елены Федоровны Ковалевской:

“Мы уходили в один день все трое: отец, мой муж и я, а брат уже воевал. Мама оставалась только с коровой...”

С войны вернулась я одна. Мы с мамой запрягли корову и поехали в лес за дровами...”

Из рассказа гомельской подпольщицы Софьи Васильевны Осиповой-Выгонной:

“Только я окончила институт. Еду домой с чемоданом, а навстречу мне мужчины-новобранцы идут на войну. Решаю, что если мужчин будет мало, то и я пойду...”

Придя домой, увидела плачущую мать и расстроенного отца. Мать обняла меня, поцеловала и сказала: „Как хорошо, что ты пришла, будем вместе! Что будем делать? “ Я ответила, что будем бороться.

В эту же ночь фашистские самолеты бомбили город, бомбы падали на спящих жителей. А утром я запомнила, что природа находилась в полном контрасте с тем, что переживали люди. Солнце поднималось и освещало все на родной земле. Только мы перестали улыбаться. Каждый понимал, что пришло время стать солдатом.”

Другая гомельская подпольщица Ольга Андреевна Емельянова вспоминала:

“Война, а я беременная. Все говорят, что надо уходить, эвакуироваться. А я думаю: нет, как это я уйду куда-то со своего родного места? Я должна рожать. Куда я буду нести своего ребенка? На десятый день войны родила...”

Мать нашу парализовало сразу, когда она увидела, что фашисты здесь. И была одна мысль — найти пар

тизанский отряд. Дороже Родины ничего не было в нашей душе”.

О первых днях войны рассказывает Анна Семеновна Дубровина-Чекунова, гвардии старший лейтенант, летчик четвертого гвардейского Новгородского бомбардировочного авиаполка:

“У меня была специальность, нужная фронту. И я ни секунды не размышляла, не колебалась. Ушла на фронт.

Помню, что вынесла цветы з своей комнаты и попросила соседей:

— Поливайте, пожалуйста. Я скоро вернусь.

А вернулась через четыре года.

Девушек много уходило на фронт. Девчонки, которые оставались дома, нам завидовали, а женщины плакали. Одна из девушек, которая ехала со мной, стоит, все плачут, а она стоит. Потом взяла и помочила себе глаза. А то, мол, неудобно, все плачут, а я нет. Разве мы понимали, что такое война? Молодые были...”

Военфельдшер Мария Афанасьевна Гарачук:

“Окончила медучилище... Приехала домой, у меня был больной отец. И тут — война. Запомнила, что было утро, что еще роса на листве деревьев не высохла, а уже сказали — война! И вот эта роса, которую я вдруг увидела на деревьях, когда так сказали, мне и на фронте вспоминалась.

Несмотря ни на что, мы верили в победу, даже отступая, верили. О себе некогда было думать: буду убита, буду ранена или останусь жива. На себя не было ни минуты. Только раненые и раненые в глазах. Помню, лежим где-то в пшенице, день солнечный. Автоматы немецкие

та-та-та-та — я тишина. Только слышишь, как пшеница шумит. Опять немецкие автоматы та-та-та-та... И думаешь: услышишь ли ты когда-нибудь еще, как пшеница шумит.

...Ташу раненого. И вдруг слышу, явственно различаю детский плач. Сильный призыв ребенка. Я чуть с ума не сошла, так носилась по полю — где, кто, неужели? Пока под разбитым танком не нашла пятилетнюю девочку. Когда я увидела эту девочку, увидела кровь на ее щеке, это было страшно. Страшно: что дети горят в огне."

Со слов гомельчанки Анны Константиновны Антуськовой:

"В детстве особенно сильно повлиял на формирование моего характера мой дядя. Они вместе с моим отцом воевали в армии Буденного. Дядя любил рассказывать о своих боевых товарищах, петь песни о гражданской войне и о героях гражданской войны. Именно от него я впервые услышала: „Там вдали за рекой", „По долинам и по взгорьям", „Красная армия всех сильнее...". И это от него любовь к песням гражданской войны осталась во мне и по сей день.

Перед войной как раз я успела окончить школу медсестер и была направлена на должность медсестры в Недойский врачебный медучасток Буда-Кошелевского района Гомельской области. Там же я была избрана секретарем колхозной комсомольской организации, насчитывающей семьдесят комсомольцев. Мы организовали самодеятельность. Это была самая веселая и счастливая пора в моей жизни. Но она была короткая. Ее оборвала война. Помню, как сейчас, утро двадцать второго июня...

Мы возвращались с концерта. С музыкой и песнями подъехали к правлению колхоза и тут узнали о войне.

Сразу же все умолкли. Задумались, стали серьезными и почти все взрослыми. Видно было, что все готовы хоть в ту минуту встать на защиту Родины. В тот же вечер я получила повестку на мобилизацию в армию, так как состояла как медработник на военном учете. Настал час расставания с моими товарищами. Многие плакали. Я боялась плакать, чтобы не посчитали меня трусом, не подумали, что я не хочу идти на фронт, боюсь. А я не боялась, я внутренне была готова. Вот умом еще не все осознавала, а душой была готова...”

О том, что в деревне Перевоз Березинского района живет Любовь Ивановна Любчик, подпоручик Войска Польского, командир взвода автоматчиков, я узнала из газетного очерка.

До Березино доехала на новеньком “Икарусе”. Вышла, говорят: “В сторону Перевоза автобусы не ходят. Такая грязь, что не всегда молоковоз или почтовая машина пройдет”. Почтовая, как выяснилось, уехала с утра, а молоковоз может довезти только до соседней деревни, где находится центр колхозной усадьбы. Оттуда еще четыре километра — то уже как придется: или пешком, или на коне, если кто будет, подвезут. Мне повезло — лесник ехал в Перевоз по своим делам, весело подкатил под самый дом: “Э-э, Любчик, что-то воевал ты, воевал, а корреспонденты до твоей жинки едут...”.

Затопили вместе с Любовью Ивановной печь, начистили и сварили картошки. Сели за стол.

И я еще раз услышала:

“...Эвакуировалась в Саратов. Где-то за три месяца выучилась там на токаря. По двенадцать часов стояли у станков. А в мыслях было одно — попасть на фронт. Пошли с подружкой в военкомат, но не признались там,

что работаем на заводе. Тогда бы нас не взяли. А так взяли.

Направили в Рязанское пехотное училище. Выпустили оттуда командирами пулеметных отделений. До Варшавы дошла... И все пешочком..."

Здесь мне вспоминается рассказ партизанской медсестры, а ныне экскурсовода Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Веры Сергеевны Романовской. Хотя рассказывает она не о событиях начала войны, но они все вспоминают как бы об одном, и в каждом рассказе обнаруживаешь новые, неожиданные детали, которые все точнее и подробнее передают атмосферу тех дней и лет.

Вера Сергеевна Романовская:

"Наш партизанский отряд соединился с частями Красной Армии, и после парада нам сказали, чтобы сдали оружие и шли работать. А у нас не укладывалось в сознании: как это — еще идет война, еще только одна Белоруссия освобождена, а мы должны отдать оружие. Каждый из нас хотел идти воевать дальше. И мы пришли в военкомат, все наши девчонки... Я сказала, что я медсестра и прошу отправить меня на фронт. Мне пообещали: „Хорошо, мы вас возьмем на учет, и если вы потребуетесь, то мы вас вызовем. А пока идите работайте".

Жду... Не вызывают... Снова иду в военкомат... Много раз ходила. И наконец мне откровенно сказали, что нет такой надобности, уже достаточно медицинских сестер. Надо вот кирпичи в Минске разобрать... Какие у нас были девчонки, спрашиваете? У нас была Чернова, уже беременная, она несла мину на боку, где рядом билось сердце ребенка. Вот и разбирайтесь с этим, что это были за люди. Нам зачем в этом разбираться, мы такими были.

Нас воспитали, что Родина и мы — то одно и то же. Или другая моя подруга, она водила по городу свою девочку, а у той под платицем тело было обернуто листовками, и она поднимала ручки и жаловалась: „Мама, мне тесно... Мама, мне тесно..." А на улицах везде немцы, полицаи.

И даже вот дети... Их мы забрали к себе в отряд, но это же дети. И когда блокада, все видят, что угрожает опасность, их решили отправить за линию фронта, так они из детприемника бежали на фронт. Их ловили по дорогам. Они опять бежали и опять на фронт...

История еще сотни лет будет разбираться: что это такое? Вы представляете, беременная идет с миной... Ну, ждала же она ребенка... Любила, хотела жить... Но она шла..."

Как найти слова, чтобы это назвать? Толстой называл это скрытой теплотой патриотизма. Они говорят о себе проще: "Нам зачем в этом разбираться, мы такими были. Нас воспитали, что Родина и мы — это одно и то же". А нам это надо понять, нам в этом надо разобраться, потому что мы их дети, внуки.

Слушаю и пытаюсь представить... Нет, не себя на их месте. Какое у меня право говорить здесь о себе? Если примеряюсь своим "я" к их "они", то для того, чтобы не только записать, а пережить: как это было? Представляю, вижу, как они грузятся в прокуренные солдатами теплушки — девчонки, подстриженные под мальчиков, одетые в одинаковую форму, как неуклюжи, нелепы в толстых шинелях не по росту, как стесняются друг перед дружкой слез и долгих материнских объятий: как же — они на фронт едут!



Сами теперь вспоминают, что пожилые люди ехали молча, сосредоточенно, а они, молодые, смеялись, пели песни. Это кажется удивительным, когда начинаешь расспрашивать, как они уходили на фронт, что запомнилось больше всего, ответ один: пели любимые песни. Что знали они о войне? А что можно знать о войне в семнадцать-восемнадцать лет? Вот что, например, вспоминает фельдшер Мария Васильевна Тихомирова. За месяц до войны она окончила медучилище, по распределению попала в одну из сельских больниц Ленинградской области. Успела только приехать, поселиться, как:

“...Вызвали в военкомат и сказали: „Вот вам два часа времени, соберетесь, и отправляем вас на фронт“. Я собралась, сложила все в один маленький чемоданчик.

— Что вы взяли с собой на войну?

— Конфеты.

— Как?

— Целый чемодан конфет. Мне там, в той деревне, куда направили, дают подъемные. Деньги были, и я на все эти деньги купила целый чемодан шоколадных конфет. А наверх положила фотографию курса, где все мои девочки. Пришла в военкомат. Военком спрашивает: „Куда вас направить?“ Я ему говорю: „А подруга моя куда пойдет?“ Мы с ней вместе в Ленинградскую область приехали, она работала в соседней деревне за пятнадцать километров. Он смеется: „Она точно так же спросила“.”

А в памяти Тамары Илларионовны Давидович из райцентра Березино Минской области, старшего сержанта, шофера остался такой случай:

“... Окончила я курсы шоферов. Шестимесячные. Не спрашивали, что я учительница (я до войны в педтехни-

куме училась). Кому в войну нужны учителя? Нужны солдаты. Нас много девочек было, целый автобат.

А однажды на учениях... Я не могу это без слез почему-то вспоминать. Была весна. Мы отстрелялись и шли назад. И я нарвала фиалок. Маленький такой букетик. Нарвала и привязала его к штыку. Так и иду.

Пришли в лагерь. Командир построил всех и вызывает меня. Я выхожу... И забыла, что у меня фиалки на винтовке. А он меня начал ругать: „Солдат должен быть солдат, а не сборщик цветов..." Ему было странно, как это в такой обстановке можно о цветах думать.

Но я фиалки не выбросила. Я их тихонько сняла и в карман засунула. Мне за эти фиалки дали три наряда вне очереди...

Другой раз стою на посту. В два часа пришли меня сменять, а я не пошла. Говорю своему сменщику: „Ты днем постоишь, а сейчас я". Согласна была простоять всю ночь, до рассвета, лишь бы послушать птиц.

Когда мы уходили на фронт, шли по улице, люди стояли стеной: женщины, старики, дети. И все плакали: „Девчонки идут на фронт". Нас шел целый батальон девушек... Едем в эшелоне, а какое у нас сознание? Еще детское. Стоим в тамбуре с другой девочкой. Ребята приглашают: „Девочки, вы же голодные. У нас сухари есть". А мы отказываемся: „Не пойдем". Мы должны быть независимыми..."

А вот как передает свои ощущения первых дней войны хирург Вера Иосифовна Хорева:

“Ехала я на фронт и думала, что ненадолго. Взяла одну юбку, притом любимую, две пары носок и одни туфли. Из Воронежа мы отступали, но я помню, как мы

пошли в магазин, и я купила там себе туфли на высоких каблуках. Вот помню, что отступали, страшно, везде грязь, а я зашла в магазин, и мне почему-то захотелось купить туфли. Как сейчас помню, такие изящные туфельки... И духи еще купила... Трудно было сразу отказаться от обычной своей жизни, которой до этого жила. Война началась, а я же была еще девчонкой..."

Почему среди массы фактов я выбираю эти два: чемодан конфет и фиалки, привязанные к штыку? Наверное, потому, что та девочка, которую хочу понять, среди знакомых вещей становится для меня реальнее и ближе. Как бы там ни было, но именно этот легкомысленный чемодан конфет и три наряда вне очереди за фиалки действуют на мое сегодняшнее воображение сильнее, чем количество подорванных эшелонов, сбитых самолетов, сожженной техники врага, захваченных трофеев. Мы уже знаем: эшелонов, самолетов, техники было уничтожено ровно столько, сколько надо было, чтобы победить. Не описание военных операций, а подробности человеческой жизни на войне волнуют и трогают сегодня больше всего. Война повысила значительность каждого факта жизни, каждой мелочи быта, там быт и бытие сомкнулись.

Как же эти обыкновенные девушки становились необыкновенными солдатами? Они были готовы к подвигу, но не были готовы к армии. И армия, в свою очередь, не была готова к ним, потому что в большинстве девушки шли добровольно. На них не рассчитывали, даже не ждали: "Стою перед военкомом малюхочка-малюхочка. „А кто это тебе сказал, что девчат а армию будут брать?" — удивился он. Это было в первые дни войны... Год прохо

дит, а я упорно и неотступно думаю, чем могу помочь, но ничего, кроме единственных теплых варежек для посылки на фронт, не могу отдать. Валенки у меня тридцать четвертого размера, не отошлешь. Опять иду в военкомат...” — вспоминает Любовь Ивановна Осмоловская, рядовая, разведчица.

Не сразу и нелегко далась им солдатская наука. Потребовалось обуть кирзачи сорокового размера или американские ботинки с длинными обмотками, “гусеницами”, как они их называли, шинель, обрезать косы (об этой потере ни одна не забывала упомянуть, как о самой жестокой, резко разграничившей их девичье прошлое и солдатское настоящее), привыкнуть к форме, научиться различать, кто в каком звании, поражать “цель”, ползать по-пластунски, наматывать портянки, не спать по несколько суток, в считанные секунды надевать противогаз, копать окопы... Существовала та будничная вещественность войны, о которой они, когда просились на фронт, не подозревали.

Вспоминает Нонна Александровна Смирнова из грузинского села Обча, рядовая, зенитчица:

“Разместили нас в вагоне, и начались занятия. Все было не таким, как нам представлялось дома. Надо было рано вставать, ни минуты ты не бываешь одна. А в нас еще жила прежняя жизнь. Мы возмущались, когда командир отделения, младший сержант Гуляев, имевший четырехклассное образование, учил нас уставу и произносил неправильно отдельные слова. Нам казалось: чему он может научить?..

После карантина, перед принятием присяги, старшина привез обмундирование: шинели, пилотки, гимнастерки, юбки, вместо комбинации — из бязи пошитые по-муж

ски две рубахи с рукавами, вместо обмоток — чулки и американские тяжелые ботинки с металлическими подковами во весь каблук и на носках. В роте по своему росту и комплекции я оказалась самой маленькой, рост сто пятьдесят три сантиметра, обувь тридцать четвертого размера и, естественно, военной, промышленностью такие мизерные размеры не шились, а уж тем более Америка нам их не поставляла. Мне достались ботинки сорок второго размера, надевала и снимала их, не расшнуровывая, через голенища, тяжелые, и я в них ходила, волоча ноги по земле.

От моего строевого шага по каменной мостовой высекались искры, и ходьба была похожа на что угодно, кроме строевого шага. Страшно вспомнить, каким мучительным был первый марш.

Командир увидел, как я иду, вызвал меня:

— Смирнова, как ты ходишь строевым? Что, тебя не учили, почему ты не поднимаешь ноги? Объявляю три наряда вне очереди...

Я ответила:

— Есть, товарищ старший лейтенант, три наряда вне очереди!— повернулась, чтоб идти, и ботинки остались на полу, ноги были в кровь стерты голенищами.

Тогда и выяснилось, что ходить по-другому я уже не могла. Ротному сапожнику Паршину дали приказ сшить мне сапоги из старой плащ-палатки, тридцать шестого размера..."

Они пришли из юности, из вольной жизни, часто вели себя еще по-детски, а тут воинская дисциплина.

Снова вспоминает москвичка Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик:

“Мы были такие девчонки, как и вы, не думайте, что мы были другие. Дисциплина, уставы, знаки различия — вся эта военная премудрость не давалась нам сразу. Стоим, охраняем самолеты. А в уставе говорится, что если кто идет, надо останавливать: „Стой, кто идет?“ Подружка моя увидела командира полка и кричит: „Стойте, кто идет? Вы меня извините, но я буду стрелять!“ Представляете? Она кричит: „Вы меня извините, но я буду стрелять!“.”

А капитан авиации, тоже москвичка Клавдия Ивановна Терехова рассказывала:

“...Девушки приехали в училище с прическами. У меня тоже косы вокруг головы. А как их промыть? Сушить где? Вы их только помыли, а тревога, вам надо бежать. Наш командир Марина Раскова велела всем косы состричь. Девчонки стригли и плакали. А Лиля Литвяк, впоследствии прославленная летчица, никак не хотела со своей косой расстаться.

Я иду к Расковой:

— Товарищ командир, ваш приказ выполнен, только Литвяк отказалась.

Марина Раскова, несмотря на свою женскую мягкость, могла быть очень строгим командиром. Она меня отправила:

— Какой ты парторг, если не можешь добиться выполнения приказа! Кругом шагом марш!..

Платья, туфельки на каблуках... Как нам жалко их, в мешочки позапрятавали. Днем в сапогах, а вечером хоть

немножко в туфельках перед зеркалом. Раскова увидела — и через несколько дней приказ: всю женскую одежду отправить домой в посылках.

Зато новый самолет мы изучили за полгода вместо двух лет, как это было в мирное время. Для этого и требовалось, чтобы девушки чувствовали себя солдатами, чтобы они ни на что другое не отвлекались. Легко это? Едем на машинах в баню, а по городу идут женщины в туфельках, в платочках. У них другая, у них прежняя жизнь. Вижу: сидят мои девчонки грустные...

В первые дни тренировок погибло два экипажа. Поставили четыре гроба. Все три полка, все мы плакали навзрыд.

Выступила Раскова:

— Подруги, вытрите слезы. Это первые наши потери. Их будет много. Сожмите свое сердце в кулак...

Потом, на войне, хоронили без слез. А теперь, видите, плачу. Тогда перестали плакать. Это я вам прямо говорю.

Летали мы на истребителях. Сама высота была страшной нагрузкой для всего женского организма, иногда живот прямо в позвоночник прижимало. А девочки наши летали и сбивали асов, да еще каких асов! Знаете, когда мы шли, на нас мужчины смотрели с удивлением: летчицы идут. Они восхищались нами. У меня лучшее, что было в жизни, это то, что я летала..."

Пройдя шестимесячные, а то и трехмесячные курсы, они уже имели удостоверение медсестер, окончив по ускоренным программам снайперскую школу, летное или саперное училище, зачислялись снайперами, летчиками, саперами. Они уже имели красноармейские книжки, но

солдатами еще не были. Все это пока напоминало школу, учебу, то, в чем у них был опыт, но не войну и не фронт, о чем у них были только книжные, часто совершенно романтические представления.

Необычные солдаты представляли перед военной комиссией. Направляют такого солдата в партизанский отряд, а он спрашивает: "А как маме оттуда писать в Москву?.."

Вера Владимировна Шевалдышева, старший лейтенант, хирург:

"Осенью меня вызвали в военкомат, и полковник спрашивает: „Прыгать умеете?". Я призналась, что боюсь. Долго он агитировал за десантные войска: красивая форма, шоколад каждый день. Но я с детства боялась высоты. „Хотите в зенитную артиллерию?" А очень я знаю, что это такое — зенитная артиллерия. Тогда он предлагает: „Давайте направим вас в партизанский отряд...". — „А как маме оттуда писать в Москву?" Он берет и пишет красным карандашом на моем направлении: „Степной фронт..."

В поезде влюбился в меня молодой капитан. Всю ночь в нашем вагоне простоял. Он уже был обожженный войной, несколько раз раненый. Смотрел-смотрел на меня и говорит: „Верочка, только не опускайтесь, не становитесь грубой. Вы такая сейчас нежная... Я уже всего повидал...!". И дальше что-то в таком духе, что, мол, трудно выйти чистым из войны...

Месяц добирались мы с подругой до четвертой гвардейской армии Второго Украинского фронта. Догнали, главный хирург вышел на несколько минут, посмотрел на нас, завел в операционную: „Вот ваш операционный стол...". Санитарные машины одна за другой подходят,



машины большие, „студебеккеры“, раненые лежат на земле, на носилках. Мы спросили только: „Кого брать первыми?“. — „Тех, кто молчит...“ Через час я уже стояла за своим столом, оперировала. И пошло... оперируешь сутками, после чуток подремлешь, быстренько протрешь глаза, умоешься — и опять за свой стол. И через два человека третий — мертвый. Не успевали всем помочь...

На станции в Жмеринке попали под страшную бомбежку. Состав остановился, и мы побежали. Замполит наш, вчера ему вырезали аппендицит, а он сегодня уже бежал. Всю ночь сидели в лесу, прятались, а состав разнесло в щепки. Под утро на бреющем полете немецкие самолеты стали прочесывать лес. Куда денешься? В землю, как крот, не полезешь. Я обхватила березу и стою: „Ох, мама-мамочка!.. Неужели я погибну? Выживу, буду самым счастливым человеком на свете...“. Кому потом ни рассказывала, как за березу держалась, все смеялись. Ведь что было в меня попасть? Стою во весь рост, береза белая...

День Победы в Вене встретила. Мы поехали в зоопарк, очень в зоопарк хотелось. Можно было поехать посмотреть концентрационные лагеря. Не хотелось... Сейчас удивляюсь, почему не поехала, а тогда не хотелось- ...”

Из воспоминаний рядовой полевого банно-прачечного отряда Светланы Васильевны Катыхиной:

“...Нас было трое: мама, папа и я. Первым уехал на фронт отец. Мама хотела пойти вместе с отцом, она медсестра, но его в одну сторону направили, ее — в другую. А мне было только шестнадцать лет, меня не хотели брать. Я ходила-ходила в военкомат, и через год меня

взяли.

Мы долго ехали поездом. Вместе с нами возвращались солдаты из госпиталей, были там тоже молодые ребята. Они рассказывали нам о фронте, и мы сидели, открыв рот, слушали. Говорили, что нас будут обстреливать, и мы сидим, ждем: когда же обстрел начнется? Мол, приедем и скажем, что уже обстрелянные. Помню, что один, ну, мальчишка, а на гимнастерке новенький орден. И мы себе совсем не так войну представляли, как увидели. Нас не к винтовкам, а к котлам приставили, к корытам. Девочки все моего возраста, до этого родители нас любили, баловали. Я была единственный ребенок в семье. А тут тягаем дрова, топим печки. Потом золу эту берем и в котлы вместо мыла, а белье грязное, вшиво-е...”

Труднее всего было выдержать в первые дни, недели, месяцы на фронте, когда чувства и ощущения у человека остались еще прежние, из мирной жизни: еще страшно то, что страшно, еще ненормально то, что нормально. Выдержать надо было не кому-нибудь, а девочке, которую до войны мать еще баловала, жалела, считая ребенком. Этой девочке — ленинградка Софья Константиновна Дубнякова назовет ее “чертовой тургеневской барышней”, вложив в это сравнение все противоречие между женским естеством и тем, что пришлось делать, пережить, увидеть на войне женщине, — надо было стать другим человеком, с другими эмоциями, другим слухом, зрением.

Софья Константиновна Дубнякова, старший сержант, санинструктор:

“Самые тяжелые ранения, сказали нам, в голову и в живот. И если бомбежка, обстрел, мы старались прятать

живот и голову. Где-то возле разбитой машины подобрали подушку от сиденья и ею прикрывались. Голову прятали в колени...

Я до сих пор помню своего первого раненого. Лицо помню... У него был открытый перелом средней трети бедра. Представляете, торчит кость, осколочное ранение, все вывернуто. Я знала теоретически, что делать, но когда я к нему подползла и вот это увидела, мне стало плохо, меня затошнило. И вдруг слышу: „Сестричка, попей водички...“. Это мне это раненый говорит. Я эту картину помню как сейчас. Как он это сказал, я опомнилась: „Ах, — думаю, чертова тургеневская барышня! Раненый человек погибает, а ее, нежное создание, затошнило...“. Я развернула индивидуальный пакет, закрыла им рану, и мне стало легче, и оказала, как надо, помощь.

Смотрю теперь фильмы о войне: медсестра на передовой, она идет аккуратненькая, чистенькая, не в ватных брюках, а в юбочке, у нее пилоточка на хохолке... Ну, неправда!.. Разве мы могли вытащить раненого вот такие. Не очень-то в юбочке наползаешь, когда одни мужчины вокруг. А по правде сказать, юбки нам в конце войны только выдали, как нарядные. Тогда же мы получили и трикотаж нижний вместо мужского белья. Не знали, куда деваться от счастья. Гимнастерки расстегивали, чтобы видно было...”

Из воспоминаний минчанки Анны Ивановны Беляй, ветерана сорок восьмой армии:

“Бомбежка. Все бросились в овраг. И я бегу. Слышу чей-то стон: „Помогите...“, Но бегу... Через несколько минут до меня что-то доходит, я чувствую на плече санитарную сумку. И еще... стыд. Куда девался страх! Бегу на

зад: стонет раненый солдат. Бросаюсь к нему перевязывать. Затем второго, третьего...”

А Ольгу Васильевну Корж, санинструктора кавалерийского эскадрона, поразило то, что уже не поражало других, — убитый человек. Семнадцатилетняя девочка запомнила его на всю жизнь:

“На войне я думала: никогда ничего не забуду. Но забывается... А эту картину помню до мельчайших подробностей... Молодой такой, интересный парень. И лежит убитый. Я представила, что будут хоронить с почестями, а его берут и тащат к орешнику. Вырыли могилу... Бег гроба, без ничего зарывают в землю, прямо так и засыпали. Солнце такое светило, и на него тоже... Лето. Не было ни плащ-палатки, ничего, его положили в гимнастерке, галифе, как он был, и все это еще новое, он, видно, недавно прибыл. И вот так положили и зарыли. Ямка была очень неглубокая, только чтобы он лег. И рана небольшая, она смертельная — в висок, но крови мало, и человек лежит, как живой, только очень бледный.

За обстрелом началась бомбежка, и бомба попала в ящик со снарядами, эти снаряды рвались во все стороны... Самолеты висят над нами. Тут хотя бы в землю человека положить. А как мы в окружении людей хоронили? Тут же, рядом, возле окопчика, где мы сами сидим, зарыли — и все. Бугорок только оставался. Его, конечно, если следом немцы идут или машины, тут же затопчут. Обыкновенная земля оставалась, никакого следа. Часто хоронили в лесу под деревьями... Под этими дубами, под этими березами...

Я в лес до сих пор не могу ходить. Особенно, где растут старые дубы или березы... Не могу там сидеть...”

Начинают рассказывать тихо, а к концу почти кричат. Потом сидят подавленные, растерянные. И ты чувствуешь себя виноватой, знаешь, что уйдешь, а они будут глотать таблетки, пить успокоительное. Дочь или сын уже смотрят на тебя умоляюще, делают знаки: "Может, хватит? Ей нельзя расстраиваться...". И одно только тебе оправдание, что останутся их живые голоса, сбереженные магнитофонной лентой, и пусть хрупким, но все-таки более вечным, чем самая крепкая человеческая память, листом бумаги. Но все равно тяжело сидеть и слушать, а им рассказывать еще тяжелее.

Мария Терентьевна Дрейчук, старший сержант, сан-инструктор в батальоне морской пехоты:

"Увидела первого убитого, наклонилась, поняла, что убитый, и стала плакать. Стою и плачу, пока ребята не подбежали. Бой тяжелый, раненых много, а рота прорвалась и быстро ушла вперед. Меня оставили в яме, большая яма от бомбы, с тяжелыми ранеными. Они все брюш- няки, один за одним умирают. Я оплакиваю каждого.

У одного нога висела на штанине, а он кричит: „Перевяжи ногу!". Отрезала штанину, он просит: „Сестричка, положи мне ногу!.."."

А вот что запомнила врач Минской республиканской стоматологической поликлиники Мария Селивестровна Божок, в войну медсестра:

"Самое невыносимое для меня были ампутации... Часто такие высокие ампутации делали, что отрежут ногу, и я ее еле держу, еле несу, чтобы положить в таз. Помню, что они очень тяжелые. Возьмешь тихонько, чтобы раненый не слышал, и несешь, как ребенка... Особен

но, если высокая ампутация, далеко за колено. Я не могла привыкнуть. Я сны видела, что ногу несу...

Маме я ничего не писала об этом. Я писала, что все хорошо, что я тепло одета, обута. Она же троих на фронт отправила, ей было тяжело..."

Из письма, которое пришло из целинного поселка Ленинградский от саниструктора Марии Петровны Смирновой (Кухарской), награжденной высшим знаком Международного Красного Креста — золотой медалью "Флоренс Найтингейл":

"Родилась и выросла я в Одесской области. В сорок первом году окончила десятый класс Слободской школы Кордымского района. Когда началась война, в первые же дни побежала в военкомат, отправили домой. Еще дважды ходила туда и дважды получала отказ. Двадцать восьмого июля шли через нашу Слободку отступающие части, и я вместе с ними без всякой повестки ушла на фронт.

Когда впервые увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за бойцом, кричала так, что, казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла... Через десять дней меня ранило, осколок вытащила сама, перевязалась сама.

Двадцать пятого декабря сорок второго года наша триста тридцать третья дивизия пятьдесят шестой армии заняла высоту на подступах к Сталинграду. Немцы решили ее во что бы то ни стало вернуть. Завязался бой. На нас пошли немецкие танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад, на ничейной земле остался раненый лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. Поползли две овчарки-санитарки (я их там увидела впервые), но их то

же убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост, сначала тихо, а потом все громче запела нашу любимую довоенную песню „Я на подвиг тебя провожала“. Умолкло все с обеих сторон — и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на санки-волокуши и повезла к нашим. Иду, а сама думаю: „Только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляют“. Но не раздалось ни одного выстрела, пока не дошла до наших...

Формы на нас нельзя было напасть: всегда в крови. Мой первый раненый — старший лейтенант Белов, мой последний раненый — Сергей Петрович Трофимов, сержант минометного взвода. В семидесятом году он приезжал ко мне в гости, и дочерям я показала его раненую голову, на которой и сейчас большой шрам. Всего из-под огня я вынесла четыреста восемьдесят одного раненого. Кто-то из журналистов подсчитал: целый стрелковый батальон...”

Усовершенствовалась техника человеческого уничтожения, а способы спасения были все те же — раненых таскали на себе. Я не видела, как это делают под огнем. Но на моих глазах однажды здоровые, сильные мужчины разгружали вагоны с зерном, таскали мешки по шестьдесят-восемьдесят килограмм (столько же весит в среднем и человек), на них рубашки были мокрые, хоть выкручивай. Грубое сравнение, но оно делает зримой незнакомую мне работу. И эту деталь тоже: раненый человек тяжелее своего веса, а в это время еще стреляют, бомбят.

“Придя на передовую, мы оказались выносливее тех, что постарше. Я не знаю, чем это объяснить. Таскали на себе мужчин, в два-три раза тяжелее нас. Его самого тащишь и его оружие, а на нем еще шинель, сапоги. Вз-

валишь на себя восемьдесят килограммов и тащишь. Сбросишь... Идешь за следующим, и опять семьдесят-восемьдесят килограммов... И так раз пять-шесть за одну атаку. А в тебе самой сорок восемь килограммов — балетный вес. Просто не верится, как это мы могли..." (Стрелкова А.М., военный фельдшер.)

Вера Сафроновна Давыдова до войны успела окончить Московский историко-архивный институт, а точнее — дипломы им вручили шестого июля сорок первого года. Сразу же попросилась на фронт. С диверсионной группой была заслана в тыл врага, прошла партизанскими тропами всю Беларусь. После войны работала в Институте истории партии при ЦЙК КПРБ.

"Как историк я долго занималась войной, — рассказывала Вера Сафроновна. — И, конечно, среди вопросов, которые я себе задавала, был и этот: что заставило женщину пойти на войну? Я думаю, что это наша национальная черта. Не может наша женщина купать ребенка, готовить обед, когда видит, что гибнет ее страна, гибнет ее народ. Ну, а во-вторых, к началу войны уже сыграть свою роль эмансипация, уравнение нас в правах с мужчинами.

Например, мы на второй день войны побежали из института в военкомат: „Забирайте нас на фронт!" Хотя представления не имели, что такое фронт, что такое война. Нас, конечно, отправили: „Идите и сдавайте государственные экзамены".

Мы сдали экзамены и пришли опять проситься на фронт. Девчонки просились... Хотя, конечно, война — это не женская работа. Вот мужчина превращал ее в работу. А женщина не могла приспособиться к этой работе, несмотря на свою выносливость, во много раз превосходящую мужскую, несмотря на свою способность к адап



таци, более гибкую, чем у мужчин, потому что она мать, она должна защитить, сохранить ребенка, природа это учла. Но все равно она не могла привыкнуть к войне...

Вот мы в сорок второй году перешли линию фронта, остановились у какого-то кладбища. Немцы, мы знали, находятся в пяти километрах от нас. Это была ночь, они все время бросали осветительные ракеты, парашютные. Эти ракеты горят долго и освещают далеко всю местность. Взводный привел меня на край кладбища, показал, откуда бросают ракеты, где кустарник, из которого могут появиться немцы. Я не боюсь покойников, с детства кладбища не боялась, но мне было двадцать два года, я первый раз стояла на посту, и я за эти два часа поседела. Первые седые волосы, целую полосу я обнаружила у себя утром. Я стояла и смотрела на этот кустарник, он шелестел, двигался, мне казалось, что оттуда идут немцы...

Разве это женское дело — стоять ночью на посту на кладбище? Мы совершенно иначе в эмоциональном плане все воспринимаем. Мужчины проще ко всему относились, они как-то готовы были к этой мысли, что надо стоять на посту, надо стрелять... А для нас это все равно было неожиданностью в силу нашей женской природы. Конечно, мы старались себя там приспособить, применить, но для нас все это было тяжело вдвойне.

У мужчины от природы другой взгляд на вещи. Вот дочь моей подруги недавно высказывала обиду на своего мужа: „Ах, он не вспомнил, что в этот день мы десять лет назад с ним поженились. Он меня разлюбил...“. Да он просто не придает этому значения: это было, это прошло, это уже для него само собой разумеющееся. У него другой уровень эмоционального восприятия. Говоря о жен

щине на войне, это обязательно надо учитывать, постичь эту нашу женскую психологию.

Но в экстремальных условиях женщина, это хрупкое, эмоциональное создание, оказывалась сильнее мужчины, выносливее. Делаем переход в тридцать-сорок километров... Лошади падают, мужчины падают, а женщина идет, поет песни. Девчонки таскали с поля боя крепких мужиков, которые, когда были раненые, становились еще тяжелее. В это трудно сегодня поверить..."

Прошли годы, и Вера Сафроновна, глядя в прошлое глазами и его участника и его историка, все равно готова удивиться: как это она смогла, как это они смогли? Смогли пойти. Смогли выдержать. Смогли воевать. Уже сам по себе этот акт женского самопожертвования в нравственном смысле бесценен.

Вспоминает Нина Владимировна Ковеленова, старший сержант, санинструктор стрелковой роты:

"Меня на фронт не брали: мало лет, мне только шестнадцать, до семнадцати еще далеко. А взяли у нас фельдшера, ей принесли повестку. Она сильно плакала, у нее дома мальчик маленький оставался. Я пошла в военкомат: „Возьмите меня вместо нее...". Мама не пускала: „Нина, ну сколько тебе лет? Может, там и война скоро кончится". Мама есть мама. А кто Родину защищать будет?

Бойцы кто сухарик, кто сахару кусочек мне оставит. Жалели. Я не знала, что у нас „катюша" есть, в прикрытии за нами стоит. Начала она стрелять. Она стреляет, гром вокруг стоит, все горит... И настолько это меня поразило, настолько я испугалась этого грома, огня, шума,

что упала в лужу, пилотку потеряла. Бойцы хохочут: „Ты что, Ниночек?.. Ты что, милая?“.

Атаки рукопашные... Я что запомнила? Я запомнила хруст... Начинается рукопашная: и сразу этот хруст — хрящи ломаются, кости человеческие трещат. Когда атака, я с бойцами иду, ну, чуть-чуть позади, считай — рядом. Все на твоих глазах...

Тогда я не повоевала, а домой в Тулу приехала и все время кричала. Ночью мама с сестрой сидят надо мной и плачут...”

Со слов Нины Алексеевны Семеновой, рядовой, связистки:

“Прибыли мы к Сталинграду. Там смертные бои шли. И вот с одного берега Волги нам надо переправиться на другой. Нас никто слушать не хочет: „Что? Девчонки?.. Кому вы к черту тут нужны! Нам стрелки и пулеметчики нужны, а нее связисты“. А нас много, восемьдесят человек. К вечеру девчат, которые побольше были, взяли, а нас вдвоем с одной девочкой не берут, потому что маленькие. Хотели в резерве оставить, но я такой рев подняла. Все рвались в бой, только провинившихся оставляли. Их так наказывали.

Когда мы только-только приехали на фронт, ничего не боялись. А вот когда нам дали отдых, мы стояли во втором эшелоне, вот тогда уже был страх. Летит снаряд — уже знаешь: твой или не твой, если мина — наша или не наша... Уже по звуку определяли. Свистит — иди смело, если слышал звук и не свистит — беги в сторону, обязательно накроет. А поначалу мы ничего этого не знали. В первом бою офицеры сталкивали меня с бруствера,

я высовывала голову, чтобы все самой видеть. Какое-то любопытство было, детское любопытство...”

Их жалели, оберегали, насколько можно было жалеть и оберегать в той обстановке. Но обстоятельства подчас так невероятно изменяли чувства, что жалость скрывалась за жестокостью. Как, например, в этом случае, о котором вспомнила Екатерина Михайловна Рабчаева, рядовая, санинструктор:

“Первого раненого тащил, у самой ноги подкашивались. Тащу и шепчу: „Хотя б не помер... Хотя б не помер...”, перевязываю его, и плачу, и что-то говорю ему, жалею. А мимо проходил командир. И он накричал на меня, даже злое что-то такое сказал, ну как мужчины в таких случаях говорят...”

— Почему он накричал на вас?

— Нельзя было так жалеть, плакать, как я. Выбьюсь из сил, а раненых много.

“Едем, лежат убитые, стриженные, и головы зеленые, как картошка от солнца...”

Я еще ничего не знаю, ничего не понимаю. Молодая... А мы отступаем... Самолетов немецких столько, что они и небо закрыли, и землю закрыли. Ночь... Лес был как бритвой срезан. И остаются убитые, и остаются наши раненые...

И даже слово „страшно” не то слово, чтобы все им передать...” (Мария Борисовна Ковнацкая, военная медсестра.)

В рассказе рядовой, санитарки Натальи Ивановны Сергеевой тоже было об этом:

“Раненых нам доставляли прямо с поля боя. Один раз двести человек раненых в сарае, а я одна. Вот не помню, где это было... В какой деревне... Столько лет прошло... Помню, что четыре дня я не спала, не присела, каждый кричал: „Сестра... Сестренка... помоги, миленькая!..“. Я бегала от одного к другому, и один раз я споткнулась, и упала, и тут же уснула. Проснулась от крика, командир, молоденький лейтенант, тоже раненый, приподнялся на здоровый бок и кричал: „Молчать! Молчать, я приказываю!“. Он понял, что я без сил, а все зовут, им больно: „Сестра... Сестричка...“, Я как вскочила, как побежала — не знаю куда, чего. И тогда я первый раз, как пришла на фронт, заплакала...”

Повторов нет, у каждой начиналось по-своему: свой первый бой, свой первый раненый, свой первый убитый... И хочется оставить все, как Вере Сергеевне Романовской хочется сохранить в музее любую мелочь из партизанского быта: деревянную кружку, коптилку из гильзы, женское белье, сшитое из парашютов. “Недавно одна партизанка, — рассказывала она,— принесла в музей блузку из парашюта, бюстгальтер из парашюта, какие мы шили в отрядах. Она хранила все эти сорок лет, а когда тяжело заболела, испугалась, что вдруг умрет, принесла к нам в музей. А в музее посмеялись: зачем, кому то нужно? Что тут героического?..”

Я смотрю на стопку писем и гору магнитофонных кассет на моем столе, они свидетели, что у героического — тысяча лиц.

# “Одна я вернулась к маме...”

Еду в Москву к Нине Яковлевне Вишневской. То, что знаю о ней, пока занимает всего одну страничку в блокноте: в семнадцать лет ушла на фронт, воевала санинструктором в первом батальоне тридцать второй танковой бригады пятой армии, с которым участвовала в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. После войны работала на комсомольской работе. Помогли найти ее следопыты из Борисова, собравшие большой материал о тридцать второй танковой бригаде, освобождавшей их родной город. После нескольких газетных публикаций писем стало приходить много, особенно от пионеров. Так совершенно неожиданно у меня вдруг появились добровольные помощники.

Сразу встал вопрос: как выбирать среди десятков адресов? Когда только начинала, записывала всех, кого встречала. Скоро стало понятно, что записать всех невозможно, нужен какой-то другой принцип отбора и накопления материала. Рассортировав имеющиеся адреса, сформулировала его для себя так: стараться записывать женщин разных военных профессий. Ведь каждый из нас видит жизнь через дело, которым занимается. Логичным было предположить, несмотря на всю условность такого сравнения, что медсестра видела одну войну, пекарь — другую, десантница — третью, летчица — четвертую, командир взвода автоматчиков — пятую... У каждой из них был на войне как бы свой радиус обзора; у одной — операционный стол: “Столько видела отрезанных рук и ног... Даже не верилось, что где-то есть целые мужчины. Каза

лось, что все они или раненые, или погибли...” (Демченко А.С., старший сержант, медсестра); у другой — котлы походной кухни: “После боя, бывало, никого не оставалось... Котел каши, котел супа наваришь, а некому отдать...” (Зинина И.Н., рядовая, повар); у третьей — кабина летчика: “Наш лагерь стоял в лесу. Я прилетела с полета и решила пойти в лес, это уже лето, земляника была. Прошла по тропинке и увидела: лежит немец, убитый... Знаете, мне так страшно стало. Я никогда до этого не видела убитого, а уже год воевала. Там, наверху, другое... Все горит, рушится... Когда летишь, у тебя одна мысль: найти цель, отбомбиться и вернуться. Нам не приходилось видеть мертвых. Этого страха у нас не было...” (Бондарева А.Г., гвардии лейтенант, старший летчик). А у партизанки война до сих пор ассоциируется с запахом горящего костра: “Все на костре — и хлеб пекли и варили, угли останутся — положим кожухи, валенки сушить, что у кого было...” (Высоцкая Е.Ф.).

Санинструкторами в танковых частях были в основном мужчины, а тут вдруг — девчонка!

Получив письмо от Нины Яковлевны Вишневской, сразу собираюсь в дорогу.

Нас в купе трое. Чай. А за чаем, как это водится, разговор.

— Оно бы надо к чаю чего-нибудь сообразить, да нельзя. Врачи запретили. С сердцем плохо... Физических нагрузок, говорят, мало. Нервных больше, чем надо, а физических не хватает.

— Меня тоже недавно прихватило. Хорошо, дача есть. Кто чем спасается. Один бегаёт по утрам, другой гири таскает, а я — дачей...

— Дочка у меня врач... Невропатолог. Говорит: люди мало сегодня улыбаются, мало радуются. А без этого, оказывается, организму нашему вредно. Нельзя...

— Все некогда... Бежим куда-то... А после войны, когда помоложе были: ничего нет, сахар не всегда для чая имели, а соберемся — весело. Часто собирались. Песни пели... А теперь даже молодые редко, чтобы компанией, вместе...

Запоминаю: Николай Борисович — тот, кто жалуется на сердце. Второй — Кочетков: "Меня по фамилии зовут. Родители учудили — сестру Электрикой назвали, младшего брата Рубином, а меня — Мир. Мир Калистратович... Спасибо, что Приемником не нарекли... Но такое время было, что технику боготворили. Теперь уже космические корабли делаем, а не приемники, но в моде другие имена: Ксения, Наталья, Евдокия..."

Оба воевали — орденские колодки на пиджаках.

— Молодежь не понимает тех трудностей...

— Понимает... Это мы зря на них.

— Нет, они не хотят понимать, потому что мы им легкую жизнь устроили. Сами хватили шилом патоки, а их старались от всего оградить. Что они знают о нас? О нашей жизни?..

Этот вопрос, конечно же, и ко мне обращен. Рассказываю, к кому еду, зачем...

— Я вам вот что, милая, доложу, — нервно забарабанил ложечкой по стакану Николай Борисович, в про



шлом, узнаю, командир саперного батальона. — Когда ко мне пришли две девчонки, командиры саперных взводов, какой-то дурак их прислал из отдела кадров, я тут же отправил их обратно, хотя они были страшно недовольны. Они хотели идти на передний край командирами саперных взводов и делать минные проходы.

— Почему же вы их отправили? — спрашиваю.

— По ряду причин. Первая — у меня было достаточно хороших сержантов, которые могли сделать то, для чего послали этих девчонок, вторая — я их отлично знал, это были студентки из моего архитектурного института. Мы вместе учились. Я считал, что незачем женщине лезть на передний край. Хватает нас, мужиков. Еще знал, что причину занятым людям массу хлопот: надо будет делать этим девчонкам отдельный блиндаж, обставлять их командную деятельность кучей всякого рода девичьих дел.

— Значит, ваше мнение, что девушки только лишние хлопоты приносили на войне?

— Нет, я этого не сказал. Если вспомнить историю, то во все времена русская женщина не только провожала на битву мужа, брата, сына, горевала, ждала их, но в трудное время сама становилась рядом с ними. Еще Ярославна поднималась на крепостную стену и лила расплавленную смолу на головы врагов. Но у нас, у мужчин, было чувство вины, что девчонки воюют, и оно у меня осталось... Вот вам один случай. Мы отступаем. А это осень, дожди идут сутками. Возле дороги лежит убитая девушка... Санинструктор... Это была красивая девушка, у нее длинная коса, и она вся в грязи... И такая неестественность этой смерти и того, что женщина здесь, с на-

ми, посреди такого ужаса, грязи, хаоса. Я много видел смертей, а помню это...

— Надо ли об этом сегодня вспоминать? — удивляется Кочетков. — Когда я слышал, что наши медицинские сестры, попав в окружение, отстреливались, защищая раненых бойцов, потому что раненые беспомощны, как дети, я это понимал, но когда две женщины ползут кого-то убивать со “снайперкой” на нейтральной полосе — это все-таки “охота”... Хотя я сам был снайпером. И сам стрелял... Но я же мужчина...

— Но она убивала врага, а не просто человека на улице?

— Не знаю, не знаю, — нетерпеливо перебивает меня Кочетков. — В разведку я, может быть, с такой и пошел, а в жены бы не взял... Нет... Чтобы моя жена была снайпером — этого я представить себе не могу. Мы привыкли думать о женщине как о матери, невесте. Мне младший брат рассказывал, как вели по нашему городу пленных немцев, ну и они, мальчишки, палили по колонне из рогаток. Мать увидела и дала ему затрещину. А шли молокососы, из тех, которых Гитлер последними подбирал. Брату было семь лет, но он запомнил, как мать наша смотрела на этих немцев и плакала: “Чтобы ослепли ваши матери, как они вас таких на войну пустили!”. Война — дело мужское. Мужчин, что ли, мало, о которых можно написать?

— Но девчонки были на войне не потому, что им нравилось убивать. То была критическая ситуация для страны, для народа. Когда профессора просились в ополчение... — разволновался Николай Борисович. — Заметьте, девчонки шли добровольно, а трус сам на фронт не пойдет. Это были смелые, необыкновенные девчонки.

Что такое, например, вытащить раненого с поля боя? Я вам сейчас расскажу... Мы поднялись в атаку, а нас давай косить из пулемета. И батальона не стало... Все лежали... Они не были все убиты, они были раненые. Немцы бьют, огня не прекращают... Совсем неожиданно для всех из траншеи выскакивает сначала одна девчонка, потом вторая, третья... Они стали перевязывать и оттаскивать раненых, даже немцы на какое-то время онемели от изумления. К часам десяти вечера все девчонки были тяжело ранены, а каждая спасла максимум пять-шесть человек. Награждали их скупой, в начале войны наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? Тогда его у нас не хватало. Винтовку, автомат, пулемет — это тоже надо было тащить. В сорок первом был издан приказ номер двести восемьдесят один о представлении к награждению за спасение жизни солдат: за пятнадцать тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием — медаль "а боевые заслуги", за спасение двадцати пяти человек — орден Красной Звезды, за спасение сорока — орден Красного Знамени, за спасение восьмидесяти — орден Ленина. А я вам рассказал, что значило спасти в бою пять-шесть человек...

Кочетков вышел курить в коридор. Мы остались с Николаем Борисовичем вдвоем.

— Среди фронтовых девчонок было много красивых, — продолжал он. — Но мы не видели в них женщин, хотя, на мой взгляд, это были чудесные девушки. Однако мы смотрели на них, как на друзей. — Они вам не нравились?

— Что значит "не нравились?" Это были наши подружки, которые выволакивали нас с поля боя. Меня два

жды вытаскивали раненого. Как я мог к ним плохо относиться? Но могли ли бы вы выйти замуж за брата? Это были наши сестренки...

— А после войны?

— Кончилась война, они оказались страшно незащищенными... Вот моя жена. Она — чудесная женщина, мы с ней дружно живем тридцать пять лет. И она к военным девушкам плохо относится. Считает, что они ехали на войну за женихами, что у них у всех там были романы. Хотя на самом деле, у нас же искренний разговор, это честные были девчонки. Но после войны каждый из нас ушел в свою жизнь...

— Николай Борисович задумывается. — Этого вам не понять. После грязи, после вшей, после смертей хотелось чего-то красивого. Красивых женщин... У меня был друг, его на фронте любила одна прекрасная, как я сейчас понимаю, девушка. Медсестра. Но он на ней не женился, он демобилизовался и нашел себе другую, посмазливее. И он несчастлив со своей женой... Он теперь вспоминает ту, она бы ему другом была. Но после фронта он жениться на ней не захотел. Он ее четыре года только в стоптанных сапогах и мужском ватнике видел... А хотелось скорее забыть войну. Мы старались забыть все. И девчонок своих тоже забыли... Такой вот неожиданный разговор вышел у меня в поезде.

...Сразу из метро попадаю в обычный московский дворик. Зимой они почему-то меньше похожи друг на друга, чем летом. Словно в каждом поселился невидимый художник и красит белой краской деревья, скамейки, игровые площадки, качели. А поскольку даже невидимые художники работают каждый в отдельности, дворики получаются разные. У того, кто работал здесь, качели напо

минают большой барабан, деревья стоят, как необметанные стога, — то ли художник спешил, то ли рука не поспевала за мысль и настроением. Для меня встреча с человеком начинается раньше, чем войду в дом. На воображаемый портрет накладывается и этот дворик и удивленный голос по телефону: “Приехали? И сразу ко мне? Уточнить в Совете ветеранов ничего не будете? У них все данные обо мне есть”. Тороплюсь представить, угадать. А жизнь всякий раз испытывает прочность моих романтических представлений. Не щадит их.

Дверь открывает невысокая полная женщина. Одну руку по-мужски протягивает мне для приветствия, за другую держится маленький внук. По его невозмутимости догадываюсь, что в этом доме привыкли к частому приходу незнакомых людей.

Нина Яковлевна ведет меня в свою комнату.

— Жалко, что не предупредили, я не приготовилась...

— А может, и лучше, что не готовились. Вспомнится самое-самое... — У меня вырезки есть газетные. О нашей тридцать второй танковой бригаде много писали. Я вам дам эти материалы...

В большой комнате свободно, как бывает свободно в служебном помещении. Никаких излишеств: книги, большей частью мемуары, много увеличенных военных фотографий, висит на лосином рогу танкошлем, на полированном столике ряд маленьких танков с дарственными пластинками: “От воинов Н-ской части”, “От курсантов танкового училища”... Рядом со мной на диване “сидят” три куклы — в военной форме. И даже шторы и обои в комнате защитного цвета.

— Соседки удивляются: “Зачем ты дома музей сделала?”  
А я уже без этого не могу, — говорит Нина Яковлевна.

Отсылает внука в соседнюю комнату, и я включаю магнитофон.

Нина Яковлевна Вишневская, старшина, санинструктор танкового батальона:

“В танковые войска девчонок брали неохотно. Можно даже сказать, что совсем не брали. Как я попала? Жили мы в городе Конаково Калининской области. Я только успела сдать экзамены за восьмой класс и перейти в девятый. Мы тогда не понимали, что такое война, для нас это игра какая-то была. Любопытство...

Жили мы в коммунальной квартире, жило там много семей, и каждый день уходили на войну люди: дядя Петя, дядя Вася... Мы их провожали, и нас, детей, больше всего одолевало любопытство. Мы шли за ними до самого поезда, и когда играла музыка, женщины плакали, — все это нас не пугало, а, наоборот, развлекало. И первое, что хотелось, — это сесть на поезд и уехать. Война, как нам представлялось, была где-то далеко. Мне, например, нравились военные пуговицы, как они блестят. Я уже ходила на курсы сандружинниц, но все это было как какая-то игра... Потом закрыли школу, и нас мобилизовали на строительство оборонительных сооружений. Разместили в сараях, в чистом поле. Мы даже гордились, что едем на какое-то дело, связанное с войной. Зачислили нас в батальон слабосильных. Работали с восьми утра до восьми вечера, по двенадцать часов в сутки. Копали противотанковые рвы. А были все девчонки и мальчишки по пятнадцать-шестнадцать лет... И вот однажды во время ра

боты мы услышали голоса, кто кричал: „Воздух!“, кто кричал: „Немцы!“. Взрослые побежали прятаться, а нам интересно, что такое немецкие самолеты, что такое немцы. Они пролетели мимо, но мы ничего не рассмотрели. Через некоторое время они развернулись и уже пролетели ниже. Мы увидели черные кресты. Страху никакого не было, было опять только любопытство. И вдруг они открыли пулеметный огонь и начали строчить, и на наших глазах падали свои ребята, с которыми вместе учились и работали. У нас наступило какое-то оцепенение, мы никак не могли понять: что это такое? Мы стояли и смотрели, и уже взрослые подбегали к нам и бросали на землю, а у нас все равно страха не было...

Скоро немец подошел совсем близко к городу, где-то километрах в десяти был. Мы с девчонками побежали в военкомат: ну, тоже надо идти защищать, никто другой за нас не пойдет. Брали не всех, брали девушек выносливых, сильных, и прежде всего тех, кому исполнилось восемнадцать лет. Какой-то капитан отбирал девушек для танковой части. Меня, конечно, он слушать не стал, потому что мне было семнадцать лет, и я была маленькая.

— Пехотинца поранит, — объяснял он мне, — он на землю упадет. Можно к нему подползти, на месте перевязать или в укрытие оттащить. А танкист не то... Если его ранит в танке, то его оттуда надо вытащить через люк. А разве ты такого парня вытащишь? Ты знаешь, какие танкисты все здоровые. Когда на танк придется лезть, по нему стреляют, пули, осколки летят. А ты знаешь, что такое, когда танк горит?

— А разве я не такая комсомолка, как все? — чуть не плачу я.

— Ты, конечно, тоже комсомолка. Но очень маленькая...

А моих подруг, с которыми я училась на курсах сандружинниц и в школе — они были рослые, сильные девушки, — их взяли. Мне было обидно, что они уезжают, а я остаюсь

Родителям я, конечно, ничего не сказала. Пришла провожать, и девчонки меня пожалели: спрятали в кузове под брезентом. Ехали на открытой полуторке, сидим все в разных платках — у кого черный, у кого синий, красный! Шура Киселева даже гитару с собой взяла. Едем, уже показались окопы, солдаты увидели нас и кричат: „Артисты приехали! Артисты приехали!" И нам было оскорбительно даже, что мы едем на фронт воевать, а нам вдруг говорят: „Артисты".

Подъехали к штабу, капитан дал команду построиться. Вышли все, я последняя стала. Девчата с вещами, а я так. Поскольку я неожиданно попала, то вещей никаких у меня не было. Вместо платка мамина кофта на голове. Шура дает мне свою гитару: „Ну, что ты будешь без ничего"...

Выходит начальник штаба, капитан докладывает ему:

— Товарищ подполковник! Двенадцать девушек прибыли в ваше распоряжение для прохождения службы.

Тот посмотрел и говорит:

— Да ведь тут не двенадцать, а целых тринадцать.

Капитан свое:



— Нет, двенадцать, товарищ подполковник, — настолько он был уверен, что двенадцать. А когда повернулся, посмотрел, сразу ко мне: — А ты откуда взялась?

Я говорю:

— Воевать приехала, товарищ капитан.

— А ну-ка пойдя сюда!

— Я вместе с подругой приехала...

— С подругой хорошо вместе на танцы ходить. А здесь война... Давай-ка сюда поближе.

Как была у меня мамина кофта на голове, так я в ней и подошла к ним. Показываю удостоверение сандружинницы, прошу:

— Вы не сомневайтесь, дяденьки, я сильная, я медсестрой работала, я кровь сдавала... Вы, пожалуйста...

Посмотрели они на все мои документы, и подполковник приказал:

— Отправить домой! С первой попутной машиной!

А пока придет машина, временно назначили меня в медсанвзвод. Я сидела и делала марлевые тампоны. Как только увижу, что какая-то машина подходит к штабу, тут же — в лес. Сажу там час, два, машина ушла — возвращаюсь...

И так было три дня, пока наш батальон в бой не пошел. Первый танковый батальон тридцать второй танковой бригады... Все ушли в бой, а я готовила землянки для раненых. Полчаса не пошло, как раненых стали привозить... И убитых... В этом бою погибла и одна наша девчонка. Ну, и про меня забыли, уже привыкли. Начальство уже не вспоминало...

Теперь что? Теперь надо в военное одеться. Дали нам всем вещевые мешки, чтобы мы вещи свои туда убрали. А вещмешки новенькие. Я ляпочки отрезала, донышко распорол и надела на себя. Получилась военная юбка... Нашла где-то гимнастерку не очень рваную, подпоясалась ремнем и решила похвастаться девчонкам. И только я перед ними покрутилась, как в нашу землянку заходит старшина, а за ним идет командир части.

Старшина:

— Смир-рно!

Заходит подполковник, старшина к нему:

— Товарищ подполковник, разрешите обратиться! С девчатами чепе. Я им вещмешки выдал, чтобы они вещи свои уложили, а они сами туда залезли.

И тут меня узнал командир части:

— А, так это ты, „заяц"! Ну, что ж, старшина, надо обмундировать девчат.

Уже про машину, что надо уезжать, никто не вспомнил. Выдали нам обмундирование. У танкистов брезентовые штаны, да еще с накладкой на коленях, а нам дали тонкие, как из ситца комбинезоны. А земля напополам с металлом перемешана, камни все выворочены — опять мы оборванные ходим, потому что мы не в машине сидим, а по этой земле ползаем. Танки часто горели. Танкист, если останется живой, весь в ожогах. И мы обгорали, потому что вынимаешь горящего, в огонь лезешь. Очень трудно человека вытащить из люка, особенно башенного стрелка.

...Мы пришли необученные, кто в каком звании — не понимали, и старшина нас все время учил, что теперь мы

настоящие солдаты, должны приветствовать любого выше нас по званию, ходить подтянутыми, шинель на застежках.

Но солдаты, глядя, что мы такие молодые девчонки, любили подшутить над нами. Послали меня однажды из медсанвзвода за чаем. Я прихожу к повару. Он на меня смотрит:

— Чего пришла?

Я говорю:

— За ча-ем...

— Чай еще не готов.

— А почему?

— Повара в котлах моются. Сейчас помоются, будем чай кипятить...

Я приняла это вполне серьезно, взяла свои ведра, иду обратно. Встречаю врача:

— А чего ты пустая идешь?

Я отвечаю:

— Да повара в котлах моются. Чай еще не готов.

Он за голову схватился:

— Какие повара в котлах моются?..

Вернул меня, выдал хорошенько этому повару, налили мне два вера чаю.

Несу чай, а навстречу мне идут начальник политотдела и командир бригады. Я тут же вспомнила, как нас учили, чтобы мы приветствовали каждого, потому что мы рядовые бойцы. А они идут двое. Как же я их двоих буду приветствовать? Иду и соображаю. Поравнялись, я став

лю ведра, обе руки к козырьку и кланяюсь одному и второму. Они шли, меня не замечали, а тут остолбенели от изумления:

— Кто тебя так учил честь отдавать?

— Старшина учил, он говорит, что каждого надо приветствовать. А вы идете двое и вместе...

Все для нас, девчонок, в армии было сложно. Очень трудно давались нам знаки отличия. Когда мы прибыли в армию, еще были ромбики, кубики, шпалы, и вот сообрази, кто там по званию. Скажут — отнеси пакет капитану. А как его различить? Пока идешь, даже слово „капитан" из головы вылетит. Прихожу:

— Дяденька, а дяденька, мне дяденька велел вам отдать вот это...

— Какой еще дяденька?

— В синих брюках и зеленой гимнастерке...

Запоминалось не то, что этот лейтенант, а тот капитан, нам запоминалось другое: красивый или некрасивый, рыжий или высокий... „А, вот, высокий!" — вспоминаешь.

Конечно, когда я увидела обгоревшие комбинезоны, обгоревшие руки, обгоревшие лица, я поняла, что такое война. Танкисты выскакивают из горящих машин, на них все горит, а кроме этого у них часто были перебиты руки или ноги. Это были очень тяжелые раненые. Он лежит и просит: умру — напиши моей маме, напиши моей жене... У нас уже было что-то большее, чем страх.

Когда танкисты саму меня подобрали с покалеченными ногами и привезли в село, это было село Желтое на

Кировоградчине, хозяйка хаты, где размещался медсан- взвод, причитала:

— Яки ж молоденький хлопчик!..

Танкисты смеются:

— Яки ж то хлопчик, бабка, то ж дивка!

А она села надо мной и разглядывает:

— Яка ж то дивка? Яка ж то дивка? То ж хлопчик молоденький...

Я стриженная, в комбинезоне, в танкошлеме — хлопчик... Она на полатах мне место уступила и даже поросенка зарезала, чтобы я быстрее поднялась. И все жалела:

— Неужто мужиков не хватило, что дитэй таких побрали... дивчаток...

В восемнадцать лет на Курской Дуге я была награждена медалью „За боевые заслуги" и орденом Красной Звезды, в девятнадцать лет — орденом Отечественной войны второй степени. Когда прибывало новое пополнение, ребята приходили молодые, конечно, для них это было удивление. Я от них не отличалась, им тоже по восемнадцать-девятнадцать лет, и они иной раз с насмешкой спрашивали: „А за что ты получила свои медали?.. А была ли ты в бою?" Или, например, поддевают: „А пули пробивают броню танка?".

Одного такого я потом перевязывала на поле боя, под обстрелом, я и фамилию его запомнила — Щеголеватых. У него была перебита нога... Я ему шину накладываю, а он у меня прощения просит:

— Сестричка, прости, что я тебя тогда обидел...

А что мы знали тогда про любовь? Если что было, то школьная любовь, а школьная любовь еще детская. Я помню, как мы были в окружении... Нас со всех сторон жмут и жмут. Мы уже решаем: ночью или прорвемся, или погибнем. Думалось, что, вернее всего, погибнем... Не знаю, рассказывать вам это или не рассказывать...

Сидим мы, ждем ночи, чтобы все-таки сделать попытку прорваться, и лейтенант Миша Т., комбат был ранен, и он выполнял обязанности комбата, лет ему было девятнадцать, не больше... И он мне говорит:

— Ты хоть пробовала?

— Чего пробовала? — А есть хотелось страшно.

— Не чего, а кого... Бабу!

А до войны пирожные такие были.

— Не-е-ет...

— И я тоже еще не пробовал. Вот умрешь и не узнаешь, что такое любовь... Убьют нас ночью...

— Да что ты, дурак! — До меня дошло, о чем он.

Страшно было не то, что тебя убьют, а то, что умрешь, не узнав жизни, ничего не изведав. Это было самое страшное. Мы шли умирать за жизнь, еще не знали, что такое жизнь."

И опять возвращается к самому больному, к самому мучительному.

"...Санструкторы в танковых частях гибли быстро. Для нас место в танке не предусмотрено, вцепишься поверх брони, и только об одной мысли, чтобы не затянуло ноги в гусеницы. И надо следить, где танк загорится... Туда бежать, ползти... На фронте нас было пятеро подру

жек: Люба Ясинская, Шура Киселева, Тоня Бобкова, Зина Латыш и я. Конаковские девчата — звали нас танкисты. И все девчонки погибли...

Перед боем, в котором Любу Ясинскую убили, мы с ней сидели вечером, обнявшись, разговаривали. Это был сорок третий год. Дивизия наша подошла к Днепру. Она мне вдруг говорит: „Ты знаешь, я в этом бою погибну... Вот есть у меня какое-то предчувствие. Ходила к старшине, просила дать новое белье, а он пожалел: „Ты же недавно получила“. Пойдем утром попросим вдвоем.“. Я ее успокаиваю: „Мы уже два года с тобой воюем, нас теперь пули боятся“.

Но утром она меня все-таки уговорила пойти к старшине, выпросили мы у него пару нового белья. И вот у нее эта новая рубашка нижняя. Белоснежная, тут с завязочками такая... Она вся была залита кровью... Вот это сочетание белого с красным, с алой кровью, — до сего времени у меня в памяти. Она себе так это и представляла...

Мы несли ее вчетвером на плащ-палатке, она такая тяжелая сделалась. Положили всех ребят, у нас в том бою много людей погибло, а Любу сверху. До меня никак не доходило, что ее уже нет, что она мертвая. Думаю: хоть что-нибудь возьму у нее на память. А у нее на руке было колечко, какое оно, золотое или простое, — не знаю. Я его взяла. Хотя ребята мне говорили: не смей, мол, брать, плохая примета. И вот когда уже прощаться, каждый по обычаю бросает горсть земли, я тоже бросила, и это колечко у меня слетело туда же, в могилу... К Любе... И я тогда вспомнила, что она очень любила это колечко... У них в семье отец всю войну прошел, живой

вернулся. И брат с войны пришел. Мужчины вернулись... А Люба погибла...

Шура Киселева, она была у нас самая красивая, сгорела. Она прятала тяжелораненых в скирдах соломы, начался обстрел, солома загорелась. Шура могла сама с пастись, но для этого надо было бросить раненых — из них никто не мог двигаться... Раненые сгорели... И Шура вместе с ними...

Только недавно узнала я подробности гибели Тони Бобковой. Она заслонила от осколка мины любимого человека. Осколки летят — это какие-то доли секунды... Как она успела? Она спасла лейтенанта Петю Бойчевского, она его любила. И он остался жить.

Через тридцать лет Петя Бойчевский приехал из Краснодара и нашел меня на нашей фронтовой встрече, и все это мне рассказал. Мы съездили с ним в Борисов и разыскали ту поляну, где Тоня погибла. Он взял землю с ее могилы, а потом написал мне, что похоронил ее на могиле своей матери. „У меня две матери, — писал он, — та, что меня родила, и Тоня, которая спасла мне жизнь...“

Ушло нас пять девчонок из одной школы, а одна я вернулась к маме. Почему я вернулась? Девчонки погибли, а я вернулась... Вон всех их портреты висят...

Много езжу, рассказываю о них... Пишу... Сын мне говорит: „Тебе всегда некогда“. Я ни одной нашей фронтовой встречи не пропускаю. Какая больная ни буду, приползу... Я этим живу... От встречи до встречи...“

И вдруг совсем неожиданно Нина Яковлевна переходит на стихи:

Нет ничего прекраснее, поверьте,



А было всяко в жизни у меня,  
Чем заслонить товарища от смерти  
И вынести его из-под огня...

— Люблю стихи, — признается смущенно. — Я и сама на фронте писала и сейчас пишу. Девочкам нравились...

Это тоже удивительно, но многие из них писали на фронте стихи. Они и теперь старательно переписываются, хранятся в семейных архивах — неумелые, трогательные, но полные искреннего чувства, к которому у меня от общения и многих встреч уже выработалось отношение, как к документу. В этом чувстве-документе я слышу время, вижу поколение.

Но рассказ Нины Яковлевны еще не окончен:

“Десять лет назад Ваню Позднякова разыскала. Мы думали: он погиб, а он, оказывается, жив. Его танк, он был командиром, два немецких танка под Прохоровкой уничтожил, и его подожгли. Экипаж погиб, один Ваня остался — без глаз, весь обожженный. Мы отправили его в госпиталь, но не думали, что будет жить. Я его нашла через тридцать лет. Помню, поднимаюсь по лестнице, ноги подкашиваются: он, не он? Дверь открыл сам и руками меня трогаем, узнает: „Нинка, ты? Нинка, ты?“ Представляете, через столько лет узнал.

Мать его совсем старенькая, он с ней жил, она сидит с нами за столом и плачет. Я говорю:

— Чего ж вы плачете? Радоваться надо, что однополчане встретились.

Она мне отвечает:

— У меня три сына на войну ушло. Два погибли, а Ваня живой домой вернулся.

А у Вани нет обоих глаз...

Я у него спросила:

— Ваня, последнее, что ты видел — это прохоровское поле, танковый бой... Что ты вспоминаешь о том дне?

И знаете, что он мне ответил?

— Об одном только жалею, что рано дал команду экипажу покинуть горевшую машину. Все равно ребята погибли. А мы могли еще один немецкий танк подбить...

Это единственное, о чем он жалеет до сего времени..."

Наша встреча с Ниной Яковлевной имела продолжение, но уже письменное. Сняв с магнитофонной ленты ее рассказ, я, как и пообещала, переслала ей один экземпляр. Через несколько недель из Москвы приходит увесистая заказная бандероль. Раскрываю: газетные вырезки, статьи, официальные отчеты о военно-патриотической работе, которую ведет ветеран войны Нина Яковлевна Вишневская. Возвращен и посланный мной материал, от него ничего не осталось — весь исчерканный: выброшены веселые строки о поварах, которые в котлах моются, и даже безобидное: "Дяденька, а дяденька, мне дяденька велел вам отдать вот это..." А на полях, где рассказывалась история про лейтенанта Мишу Т., стояло три возмущенных вопросительных знака.

Не раз я с этим потом встречалась, с этими двумя правдами, живущими в одном человеке. Или если в квар

тире, например, кроме рассказчицы оказывался еще кто-то из родных или знакомых, соседей, она рассказывала менее искренне и доверительно, чем если бы мы были с ней вдвоем. И даже определилась закономерность: чем больше слушателей, тем суховатее, неинтереснее рассказ. Вот так же, как и с Ниной Яковлевной: одну войну она рассказывала мне — “как дочке, чтобы вы поняли, что нам, совсем девочкам, пришлось пережить”, другая предназначалась для большой аудитории — “как другие рассказывают и как в газетах пишут...”

Я читала письмо Нины Яковлевны и вспоминала, как мы пили чай по-домашнему, на кухне. Она рассказывала. Мы обе плакали.

# В нашем доме две войны живет

Маленький дом на улице Каховской в Минске. “В нашем доме две войны живет”, — скажут мне, когда только откроют дверь. Воевала в морской части на Балтике старшина первой статьи Ольга Васильевна Подвышенская. В пехоте сержантом был ее муж Саул Генрихович.

Вдвоем с Саулом Генриховичем рассматриваем семейный альбом. Ольга Васильевна в это время говорит по телефону с дочкой.

— Проводит вечерний инструктаж, — смеется Саул Генрихович.

Через стеклянную дверь слышно:

— Кашляет? А у меня была целый день и ни разу не кашлянула. Дай ей горячего чая с малиновым вареньем и заверни горлышко моим шарфом...

Бабушкин шарф, конечно, самое верное лечение.

— Неужели это я? — кончив телефонный разговор, возвращается к нам Ольга Васильевна и берет в руки снимок, на котором она в матросской форме, с боевыми наградами. — Сколько смотрю на эти фотографии, столько удивляюсь. Саул показал внучке, пять лет ей тогда было. Она у меня спрашивает: “Бабушка, ты сначала была мальчиком, да?”. Представляете?.. — И тут же грустнеет. — Разве надеялись мы тогда, что доживем до внуков? А в прошлом году поехали на встречу — все наши уже бабушки и дедушки. Целый батальон бабушек и дедушек... Представляете?..

Все время это “представляете”. Видно, любимое. И, глядя на нее, быструю, по-девчоночьи смешливую, чуть что — и раскатился мелкий бисер хохотка, действительно хочется представить, какой же она была тогда, в сорок первом...

— Ольга Васильевна, вы сразу ушли на фронт?

— Нет, я вначале эвакуировалась. Всю дорогу по составу стреляли, бомбили, самолеты летали низконизко. Я помню, как из вагона выскочила группа мальчишек из ремесленного училища, они все были в черных шинелях. Это такая мишень! — Их всех расстреляли, самолеты шли над самой землей... Было такое чувство, что расстреливали и считали... Представляете?..

Мы работали на заводе, там кормили, нам было неплохо. Но сердце горело... В июне сорок второго получила повестку. Нас, тридцать девушек, через Ладогу на открытых баржах под обстрелом переправили в блокадный Ленинград. В Ленинграде в первый же день:, что я запомнила, — белые ночи и отряд моряков, идут в черном. Обстановка чувствуется напряженная, населения никакого нет, только работают прожектора и идут матросы, как в гражданскую войну, опоясанные лентами, что-то из кино. Представляете?..

Город был кругом обложен, очень близко. На третьем номере трамвая можно было доехать до завода Кирова, а там уже начинался фронт. Как погода ясная, так и артобстрел. Причем били прямой наводкой, били, били, били... Большие корабли стояли у пирса, их, конечно, замаскировали, но все равно не исключалась возможность поражения. Мы стали дымозавесчиками. Был организован Отдельный отряд дымомаскировки, которым командовал бывший командир дивизиона торпедных катеров

капитан-лейтенант Александр Николаевич Богданов. Девушки были в основном со средне-техническим образованием или пришли с первых курсов института. Наша задача — уберечь корабли, прикрывать их дымом. Начнется обстрел, моряки говорят: “Скорей бы девчата дым повесили. С ним поспокойнее”. Выезжали на машинах со специальной смесью, а все в это время прятались в бомбоубежище. Мы же, как говорится, вызывали огонь на себя. Немцы ведь били по этой дымовой завесе...

У нас питание, знаете, блокадное, но выдерживали как-то... Ну, во-первых, молодость, это важно, а во-вторых, мы удивлялись самим ленинградцам. Мы же были хоть чем-то обеспечены, хотя бы минимально, а там же люди шли и падали. К нам приходило несколько детей, и мы их подкармливали из своих скудных пайков. Это были не дети, это были какие-то маленькие старички. И мы держались. Работали наравне с мужчинами. Зимой, когда Ленинград остался без топлива, нас отправили ломать дома в один из районов города, где еще стояли деревянные постройки. Самый тяжелый момент — когдаходишь к дому... Дом стоит хороший, там вымерли люди и уехали, и надо его сломать. И, наверное, полчаса никто не мог поднять лом. Все стояли. Только когда командир подойдет и всадит лом, тогда мы начинали валить.

Были на лесозаготовках, таскали ящики с боеприпасами. Помню, тащила один ящик, так и грохнулась... Это одно, а второе — сколько трудностей для нас было, как для женщин. Например, такое. Я потом стала командиром отделения. Все отделение из молодых мальчишек. Мы целый день на катере. Катер небольшой, там нет никаких гальюнов. Ребятам по необходимости можно через борт, и все. Ну, а что мне делать? Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кричат:

“Старшина за бортом!” Вытащат. Вот такая элементарная мелочь. А сам вес оружия? Это для женщины тоже тяжело. Нам сначала дали винтовки, а винтовки были выше нас самих. Девчонки идут, а штыки над нами на полметра. Представляете?..

Мужчине было легче ко всему приспособиться. А мы тосковали, страшно тосковали по дому, по маме, по уюту. У нас была одна москвичка, Наташка Жилина, ее наградили медалью “За отвагу” и как поощрение — отпустили домой на несколько дней. Так когда она приехала, мы ее обнюхивали. Ну, буквально становились в очередь и обнюхивали, говорили, что она домом пахнет. Такая тоска была до дому...

Сидели, если была минута отдыха, что-то вышивали, какие-то платочки. Дадут нам портянки, а мы из них шарфики сделаем, обвяжем. Хотелось заняться чем-то женским. Вот этого женского нам не хватало. Просто не вмоготу было. Ищешь любой предлог, чтобы иголку в руки взять, зашить что-нибудь, хотя бы на какое-то время приобрести свой естественный вид.

Мне кажется, что в войну мы как-то закаменели, никто по-настоящему ни разу не засмеялся, не порадовался. Нет, мы, конечно, и смеялись, и радовались, но все это было не то, не так, как до войны. И сколько была война, столько человек находился в каком-то особом состоянии, из которого нельзя было выйти. Представляете?

Так неожиданно это “представляете”. Но оно напоминает мне, зачем я здесь, в этом доме. Магнитофон запишет слова, оставит интонацию, а еще надо “записать” глаза, лицо, руки и то, как они волнуются, движутся. И то, как идет Ольге Васильевне трогательно-девичий по

крой блузки с горошковым галстуком. Как эмоциональный Саул Генрихович, волнуясь, начинает не уместиться на узком для него стуле и пересаживается на диван, где, широкий, тяжеловатый, рядом с миниатюрной, как статуэтка, женой кажется еще больше. Глядя на них двоих, трудно, почти невозможно представить, что они оба были на войне.

Но они были.

— Вот мы прошли войну, — говорил Саул Генрихович, — но у нас вроде две войны... Мы начнем вспоминать, я чувствую, что она свою войну запомнила, а я свою. Вот и у меня что-то такое было, как она вам о доме рассказывала или как они выстраивались в очередь и обнюхивали девчонку, вернувшуюся из дому. Но я этого не помню... А еще она вам о бескозырках не рассказала. Оля, как же ты забыла?

— Не забыла, — вдруг напряглась Ольга Васильевна. — Рассказывать трудно... До ночи шла атака. Утром я вышла, а по Морскому каналу плыли бескозырки... Это где-то наших сбросили в Неву. Сколько я стояла, столько эти бескозырки плыли.

— Я многое из ее рассказов запомнил и, как теперь говорят, "усек" для внуков. Часто им не свою, а ее войну рассказываю. Им она интереснее, вот что я заметил, — признается Саул Генрихович. — У меня больше конкретного военного знания, а у нее чувства. А чувства всегда ярче. Я хочу сказать, что это же самое я, например, чувствовал и на войне. У нас тоже в пехоте были девушки. Стоило хотя бы одной из них появиться среди нас, как мы подтягивались. Вы себе не представляете... — И тут же: — Это словечко я тоже у нее подхватил. Но вы себе



представить не можете, как хорош женским смех на войне, женский взгляд!

Была ли на войне любовь? Была! И те женщины, которых мы встретили там, прекрасные жены, верные подруги. Кто поженился на войне, это самые счастливые люди, самые счастливые пары. Вот мы тоже полюбили друг друга на фронте. Не буду отрицать, что было и другое, потому что долгая была война и много нас было на войне. Но я больше помню светлого, чистого... А это, как говорится, не для печати. В этом мы сами себе боимся признаться... Не у всех наших дочерей сложились личные судьбы. Неудачно многие замуж повыходили. И вот почему: их мамы, фронтовички, воспитали так, как они сами воспитывались на фронте, по той морали. А на фронте человек сразу был виден, какой он. И девочки их представления не имели о том, что в жизни может быть по-иному, чем в их доме. Их не предупредили о подлости, которая есть. И вот эти девочки, выходя замуж, легко попадали в руки проходимцев, те их обманывали, потому что обмануть их ничего не стоило. Так случилось со многими детьми наших фронтовых друзей. И с нашей дочерью тоже...

— Детям мы почему-то о войне не рассказывали, — задумывается Ольга Васильевна. — Я и орденские колодки не носила. Был случай, когда сорвала их и больше не прикалывала. Я работала директором хлебозавода. Прихожу на совещание, и начальник, тоже женщина, увидела мои колодки и при всех высказала, что ты, мол, нацепила колодки, что ты себя показываешь. У самой был трудовой орден, она его носила, а мои военные награды ей почему-то не понравились. Потом, когда мы остались одни, я все ей высказала по-морскому, ей было неудобно, но у меня-то пропала охота носить награды. И теперь не но

шу. Хотя горжусь, что была на фронте, что это моя заслуга. Но после войны не сразу заговорили о фронтовиках. Внучка наша знает о нас все, она интересуется, мы ей рассказываем, ей сочинения в школе дают на эту тему. А вот детям мы не рассказывали, и они нас не спрашивали...

Мы, фронтовики, очень благодарны журналистке Вере Ткаченко, которая первая в газете "Правда" подняла вопрос о том, что есть женщины-фронтовички, которые остались одинокими, не устроили свою жизнь и до сих пор не имеют квартир, что мы перед ними все виноваты. И тогда как-то понемножку стали на женщин-фронтовичек обращать внимание. Этим женщинам было по сорок-пятьдесят лет, а они жили в общежитиях. Им стали давать отдельные квартиры. Моя подруга... Не буду называть ее фамилии, вдруг обидится... Она была трижды ранена. Кончилась война, пошла в медицинский институт. Никого из родных у нее не было, она бедствовала, мыла полы, чтобы прокормиться. Никому не хотела говорить, что инвалид, она все документы порвала. Я спрашиваю: "Зачем ты порвала?" Она отвечает: "А кто бы меня замуж взял?". "Ну, что же, — говорю, — правильно сделала". А она плачет: "Мне бы эти бумажки теперьгодились. Болею тяжело..."

На празднование тридцатипятилетия Победы в Севастополь было приглашено сто моряков — ветеранов Великой отечественной войны со всех флотов, в их числе — три женщины. Две из них — это мы с подругой. И адмирал флота каждой из нас поклонился, всенародно спасибо сказали руку поцеловал.

— А почему вы не рассказывали о войне своим детям?

Ольга Васильевна молчит. Говорит Саул Генрихович:

— Мы еще, наверное, тогда не понимали, не осознавали того, что сделали. Через десятки лет жизнь заставила задуматься о давно пережитом. А тогда война была слишком близко и слишком страшной, чтобы о ней вспоминать. Детей хотелось уберечь от этого ужаса.

— Забыть хотелось?

— Невозможно, даже если б хотел. У меня сестра есть. Ей семьдесят пять лет, она осталась вдовой. И двое сыновей не вернулось с войны. Один подорвался на гранате, от второго пришло письмо, единственное и последнее: "Едем весело, едем на фронт. Все хорошо". И только после войны она получила справку: пропал без вести. Она даже не знает, на каком направлении, в каком месте. Надеется найти братскую могилу, а пока ходит к Вечному огню. Я ведь солдатом был, я не из нежных, но я плачу, когда думаю ней. А вы говорите — забыть...

В День Победы, помнишь, Оля, как встретили мы сгаренькую-старенькую мать и висел у нее на шее такой же старенький плакатик: "Ищу Кульнева Томаса Владимировича, пропал без вести в 1942 году в блокадном Ленинграде". По лицу видно, что ей давно за семьдесят. Это же сколько лет она его ищет? Я бы эту фотографию показывал всем, кто говорит сегодня: мол, сколько можно вспоминать о войне... А вы говорите — забыть...

— А я хотела забыть... Я хочу забыть... — медленно, почти шепотом, словно для самой себя, выговорила Ольга Васильевна.

— Как у нее бессонница, так и знай — войну вспомнила... Я по сравнению с ней ничего не сделал для Побе

ды, я мужчина, я был обязан. А их, девчонок, которые выдержали такую войну, их на руках носить надо. Это вам скажет любой фронтовик. Надо ли было пускать девушек на войну? Не знаю... Но они были на войне и сделали великое дело. Они, как и мы, носили кирзовые сапоги, тяжелые шинели, спали на снегу. Умирали от пуль и осколков. Запомнил, как идет Девятого мая по Ленинскому проспекту женщина, и у нее на праздничном платье только одна медаль. Но медаль — “За отвагу”! Она идет и стесняется. И у меня такое чувство — подойти к ней и обнять: “Дорогая моя, тебе за твою медаль до земли поклониться надо...” Мы все в долгу перед ними...

Они запоминаются мне вдвоем, как и на фронтовых снимках.

# “Телефонная трубка не стреляет...”

— Будем есть пироги. С утра хлопочу... — весело встречает меня Валентина Павловна Чудаева. И тут же предупреждает мою растерянность. — Расскажу, расскажу... Еще наплачусь... Я уже ругала своих девчонок: зачем мой адрес дали? У меня с сердцем и так плохо, на таблетках сижу. Но сначала давай пироги попробуем. С черемухой... Как у нас в Сибири... — И уже кому-то другому, погромче, чтобы услышал: — Ждем корреспондента... Иди глянь, кто пришел. Голос по телефону серьезный, а сама-то девчонка. — А для меня: — Не слушай... Не слушай... Это у меня характер такой: что подумаю, то и скажу.

— Дай человеку приглядеться. А то набросилась сразу... Солдат, да и только! — доносится из кухни.

— Да что там! Своя девчонка, поймет. — Но какие-то еще сомнения остались: — Корреспонденты у вас все такие молодые? Или это мне попался? — Тут же начинает успокаивать: — Это я молодой не стану, а ты старой успеешь. Успеешь... Давай проходи. У нас просто... Не обижаешься, что “ты” говорю? Еще фронтовое: “А ну, девчонки! Давай, девчонки!..”. Хрусталя, видишь, не нажили... Все, что скопили с мужем, в коробочке из под конфет вместились: пару орденов да медали. Лежат в серванте, потом покажу. — Проводит в комнату. — Мебель, видишь, тоже старая. Менять не хотим, привыкли. Дочка смеялась, теперь ругается. Вам, молодежи, чтобы все новое, посовременнее...

Освоиться за столом мне помогает Александра Федоровна Зенченко, комсомольский работник в блокадном Ленинграде.

— Дружим с ней, знаете, сколько? — знакомит нас Валентина Павловна. — Столько лет, сколько после войны прошло...

— Вы ее только не перебивайте, — предупреждает меня Александра Федоровна. — Если остановится, плакать начнет. Я уже знаю...

— Чай-то давно готов? Схожу принесу...

— Посиди... Я сама...

Ах, как не хочется возвращаться туда, назад, даже памятью! Страшно.

Валентиина Павловна Чудаева, сержант, командир зенитного орудия:

“Что побудило меня, девчонку из далекой Сибири, пойти на фронт? Из Сибири, с конца света, что называется. А насчет конца света мне раз на встрече один представитель ООН задал вопрос. Он как-то ко мне пристально присматривался в музее, я даже смущаться начала. Потом подошел, через переводчика попросил, чтобы госпожа Чудаева дала ему интервью. Я, конечно, разволновалась очень. Думаю: что мне ему говорить? Буду говорить то, о чем в музее рассказывала. Но его, видно, не это интересовало. Первым делом он, конечно, сделал мне комплимент: „Вы сегодня так молодо выглядите... Как это вы могли пройти войну?“ Я ему говорю: „Это доказательство того, как вы понимаете, что мы очень юными пошли на фронт“. А его другое волновало.

Он задает мне вопрос, что, мол, в его понятии Сибирь — это конец света. „Нет, — догадываюсь я, — вас, видно, все-таки волнует: не было ли у нас тотальной мобилизации, почему я, школьница, пошла на фронт?“. Он кивает головой, что, мол, да. „Хорошо, — говорю, — я вам отвечу на этот вопрос“. И вот я вам расскажу все, что ему говорила... всю мою жизнь...

Я не помню своей матери. Она рано погибла. Отец был уполномоченным Новосибирского укома, в двадцать пятом его направили в деревню, откуда он родом, за хлебом. Страна очень нуждалась, а кулаки прятали хлеб, гноили. Мне было тогда девять месяцев. Мать захотела на родину вместе с отцом, и он ее взял. Она меня прихватила и сестричку, не было куда нас деть. Папа там батрачил, у того кулака, которому вечером на собрании пригрозил: мы знаем, где хлеб лежит, если сами не отдадите, найдем и заберем силой.

Кончилось собрание, все родные собрались, а у папы было пять братьев, все они потом не вернулись с Великой Отечественной войны, как и отец. Ну, значит, сели они в застолье — традиционные сибирские пельмени. Лавки вдоль окон стоят... И мать попала в простенок, одним плечом — к окну, другим — к отцу, а отец сидел, где как раз не было окна. Апрель месяц... В Сибири в это время еще заморозки бывают. Матери, видно, холодно стало. Я это уже потом, взрослой поняла. Она встала, накинула кожух отца и начала меня кормить грудью. В это время раздался выстрел из обреза. Стреляли-то в отца, по кожуху метили... Мать успела только сказать: „Па...“ и выронила меня на горячие пельмени... Было ей двадцать четыре года...

И в этой же деревне потом председателем сельсовета был мой дедушка. Его отравили стрихнином, в воду насыпали. У меня фотография сохранилась, как дедушку хоронят. Полотнище над гробом, и на нем написано: „Погиб от руки классового врага“.

Отец мой — герой гражданской войны, командир бронепоезда, действовавшего против мятежа чехословацкого корпуса. В тридцать первом году он был награжден орденом Красного Знамени. В то время этот орден имели единицы, особенно у нас, в Сибири. Это был большой почет, большое уважение. У отца на теле девятнадцать ран, не было живого места. Мать рассказывала — не мне, конечно, а родным, — что отца белочехи приговорили к двадцати годам каторги. Она попросила свидания с ним и была в это время на последнем месяце беременности Тасей, моей старшей сестрой. Там, в тюрьме, был такой длинный коридор, ей не дали пойти к отцу, ей сказали: „Большевистская сволочь! Ползи...“. И она за несколько дней до родов ползла по этому длинному цементному коридору к отцу. Вот как ей сделали свидание. Она отца не узнала, он весь был седой...

Могла я равнодушно сидеть, когда враг снова пришел на мою землю, если я росла в такой семье, с таким отцом, который рядом? Ему много пришлось пережить... На него донос был в тридцать седьмом году, его хотели оклеветать. Но он добился приема у Калинина, и его доброе имя восстановили. Отца знали все...

И вот представляете себе, — сорок первый год. У меня последний школьный звонок. У нас у всех были какие-то планы, свои мечты, ну, девчонки ведь. После выпускного вечера мы поехали по Оби на остров. Мы уезжали, город как город был, все нормально. Такие весе



лые, счастливые... Еще, как говорится, нецелованные, у нас еще даже мальчиков не было. Возвращаемся с острова, рассвет встретили... Город весь бурлит, люди плачут. Кругом: „Война! Война!“ Везде радио включено. До нас ничего не доходило. Какая война. Мы такие счастливые, такие планы строили: кто куда пойдет учиться, кто кем станет... И вдруг война! Взрослые плакали, а мы не пугались, мы уверяли друг друга, что не пройдет и месяца, как „дадим по мозгам фашистам“, — до войны все пели эту песню. Что воевать будем на чужой территории... Мы начали все понимать, когда в дома стали приходиться похорошки.

Отца моего на фронт не брали. Но он ходил и ходил в военкомат. Потом отец ушел. Это при его здоровье, при его седой голове, при его легких: у него был туберкулез. И возраст у него какой? Но он ушел. Ушел в стальную, или, как ее называли, сталинскую дивизию, там было много сибиряков. Нам тоже казалось, что без нас война не война, мы тоже должны воевать. Тут же оружие нам давай! Мы побежали в военкомат. И десятого февраля я ушла на фронт. Мачеха очень плакала: „Валя, не уходи... Что ты делаешь? Ты такая маленькая, такая худая, ну какой ты вояка?“. Я была рахитичная, долго, очень долго. Это после того, как маму убили. Я о пяти лет не ходила... А тут откуда силы взялись!

Два месяца нас везли в теплушках. Две тысячи девушек, целый эшелон. С нами были командиры, они нас учили. Мы изучали связь. Приехали на Украину, и нас там первый раз бомбили. А мы были как раз в санпропускнике, в бане. Когда мы шли мыться, там дядечка дежурил, он за баней смотрел. Мы его стеснялись, ну, девчонки, совсем молоденькие. А как стали бомбить, мы все вместе к тому дядечке, только б спастись. Кое-как оделись, я за-

вернула голову полотенцем, у меня красное полотенце было, выскочили. Старший лейтенант, тоже мальчишка, кричит:

— Девушка, в бомбоубежище! Бросьте полотенце! Демаскируете...

А я от него убегаю:

— Ничего не демаскирую! Мне мама не велела с сырой головой ходить.

Он потом после бомбежки меня нашел:

— Почему меня не слушаешься? Я твой командир.

Я ему не поверила:

— Еще не хватало, что ты мой командир...

Поругалась я с этим молоденьким лейтенантом. Мальчишка, на годок какой старше меня.

Шинели нам дали большие, толстые, мы в них, как снопы, не ходим, а валяемся. Сначала даже сапог на нас не было. Сапоги есть, но размеры-то все мужские. Потом заменили нам сапоги, дали другие — головка сапог красная, а голенища — кирза черная. Это уже мы форсили!

Все худые, маленькие, гимнастерки висят на нас. Кто умел шить, немного на себя подогнали. А нам же еще что-то нужно. Девчонки ведь! Ну, старшина начал нам обмер делать. И смех и грех. Приезжает комбат: „Ну, что, старшина все ваши принадлежности выдал?“ Старшина говорит: „Обмерял... Будут...“

И стала я в зенитной части связистка. На капэ дежурила, на связи, И, может быть, так бы и до конца войны осталась связисткой, если б не получила извещение, что погиб отец. Я начала проситься: „Хочу мстить, хочу

рассчитаться за все то зло, что мне принесли фашисты". Хотела убить, отомстить, стрелять хотела... Хотя мне доказывали, что телефон в артиллерии — это очень важно. Но телефонная трубка сама не стреляет... Я написала рапорт командиру полка. Он отказал. Я тогда, не долго думая, обратилась к командиру дивизии. Приезжает к нам полковник Красных, выстроил всех и спрашивает: „Где тут та, что хочет быть командиром орудия?". А я стою: маленькая, шея худая, тонкая, а на этой шее автомат висит, автомат тяжелый, семьдесят один патрон... И, видно, такой у меня жалкий вид был... Он посмотрел: „Что хочешь?". А я ему говорю: „Стрелять хочу". Не знаю, что он подумал. Он долго так на меня смотрел, потом повернулся круто и ушел. „Ну, — думаю, — все, отказ". Прибегает командир: „Разрешил полковник"...

Окончила краткосрочные курсы, очень краткосрочные — три месяца училась. И вот я командир оружия. И, значит, меня — в тысяча триста пятьдесят седьмой зенитный полк. Первое время из носа и ушей кровь шла, расстройство желудка наступало полное... Ночью еще не так страшно, а днем очень страшно. Кажется, что самолет прямо на тебя летит, именно на твое оружие. На тебя идет. Сейчас он всю, всю тебя превратит ни во что. Это все не для девчонки... У нас сначала „восьмидесятипятки" были, они себя хорошо под Москвой показали, они пошли потом против танков, нам дали „тридцатисемимиллиметровки". Это на Ржевском направлении. Там такие бои шли... Весной лед тронулся на Волге... И что мы видели? Мы видели, как плывет льдина и на льдине два-три немца и один русский солдат... Это они так погибали, вцепившись друг в друга. Они вмерзли в эту льдину, и эта льдина вся была в крови. Вы представляете, вся матушка Волга была в крови..."

И вдруг остановилась посреди вдоха, как на лету, попросила: “Не могу... Дайте передохну... Трудно... Саша заставила две таблетки успокаивающие выпить, так хоть не плачу...”

“А я блокадный Ленинград вспомнила, слушая Валю, — заговорила Александра Федоровна. — Особенно один случай, который всех нас потряс. Нам рассказали, что какая-то пожилая женщина каждый день открывает окно и из ковшика выплескивает на улицу воду, и с каждым разом это у нее получается все дальше и дальше. Сначала подумали: ну, наверное, сумасшедшая, чего только не было в блокаду, — и пошли к ней выяснить, в чем дело. И послушайте, что она сказала: „Если придут в Ленинград фашисты, ступят на мою улицу, я буду их шпарить кипятком. Я старая, ни на что больше не способна, так я буду их шпарить кипятком.“. И она тренировалась... Это была очень интеллигентная женщина. Я даже сейчас помню ее лицо.

Она избрала тот способ борьбы, на который у нее еще доставало сил. Вы представьте себе тот момент... Это враг уже был рядом, возле Нарвских ворот шли бои, обстреливались цеха Кировского завода... И таких случаев, когда человек искал, что все-таки сделать для борьбы даже тогда, когда казалось, уже ничего не мог, было много. И это потрясало больше всего...”

“С войны я вернулась калеккой, — продолжает свой рассказ Валентина Павловна. — Меня ранило осколком в спину. Рана была небольшая, но меня отбросило далеко в сугроб. А я что-то несколько дней не сушила валенки, то ли дров не было, то ли моя очередь сушить не подо

шла, печка маленькая, а нас вокруг нее много. И пока меня нашли, я сильно отморозила ноги. Меня, видимо, снегом забросало, но я дышала, и образовалась трубка. Нашли меня собаки. Разрыли снег и шапку-ушанку мою санитарам принесли. Там у меня был паспорт смерти, у каждого были такие паспорта: какие родные, куда сообщать в случае смерти. Меня откопали, положили на плащ-палатку, был полный полушубок крови... И никто не обратил внимания на мои ноги...

Шесть месяцев я лежала в госпитале. Хотели ампутировать ногу, ампутировать выше колена, потому что началась гангрена. И я тут немножко смалодушничала, не хотела оставаться жить калекой. Зачем мне жить? Кому я нужна? Ни отца, ни матери. Обуза в жизни. Ну кому я нужна, обрубок! Задушусь... И я попросила у санитарки вместо маленького полотенца большое... А меня в госпитале все дразнили: „А здесь бабушка, бабушка старая лежит". Потому что, когда начальник госпиталя увидел меня первый раз, спросил: „Ну, а сколько же тебе лет?" Я ему скоренько: „Девятнадцать... Девятнадцать скоро будет...". Он засмеялся: „О! Старая, старая, Это уже возрас-

И санитарка тетя Маша меня так дразнила. Она мне говорит: „Я тебе дам полотенце, поскольку тебя к операции готовят. Но я буду за тобой смотреть. Что-то не нравятся, девка, мне твои глаза. Не надумала ли ты чего плохого?". Я молчу... Но вижу, что и правда: готовят меня к операции. Я хотя и не знала, что такое операция, ни разу не резанная, это теперь географическая карта на теле, но тоже догадалась. Спрятала большое полотенце под подушку и жду, когда никого не станет, когда это все заснут. А кровати были железные, думаю: Завяжу полотенце за кровать и задушусь. Но тетя Маша не отошла от

меня всю ночь. Сберегла она меня, молодую. До утра никуда не ушла...

А мой палатный врач, молодой лейтенант ходит за начальником госпиталя и просит: „Дайте я попробую. Дайте я попробую...“, А тот ему: „Что ты попробуешь? У нее уже один палец черный. Девчонке девятнадцать лет. Из-за нас с тобой погибнет“. Оказывается, мой палатный врач был против операции, он предлагал другой способ, новый по тем временам. Специальной иглой вводить под кожу кислород. Кислород питает... Ну, я точно не скажу как, я не медик...

И он, этот молодой лейтенант, уговорил начальника госпиталя. Не стали они мне ногу резать. Стали лечить этим способом. И через два месяца я уже начала ходить. На костылях, конечно, ноги, как тряпки, нет никакой опоры. Я их не чувствовала, я их только видела. Потом научилась ходить без костылей. Мне говорили: родилась во второй раз. После госпиталя был положен отдых. А какой отдых? Куда? К кому? Поехала я в свою часть, на свое оружие. Вступила там в партию. В девятнадцать лет...

День Победы встретила в Восточной Пруссии. Уже пару дней было затишье, никто не стрелял, а среди ночи вдруг сигнал: „Воздух“. Мы все вскочили. И тут кричат: „Победа! Капитуляция!“ Капитуляция — это ладно, а вот победа — это до нас дошло: „Война кончилась! Война кончилась!“. Все начали стрелять, кто из чего, у кого что было: автомат, пистолет... Из орудия стреляли... Один слезы вытирает, второй пляшет: „Я живой, я живой!“. Командир потом говорил: „Ну что ж, демобилизации не будет, пока за снаряды не заплатите. Что вы сделали? Сколько вы снарядов выпустили?“. Нам казалось, что на

земле будет всегда мир, что никто никогда не захочет войны, что все снаряды должны быть уничтожены. Чтобы даже никогда о войне не говорили...

А как захотелось домой! Пусть там и папы не было, и мамы не было. Но земной поклон моей мачехе... Она меня как мать встретила. Я ее после мамой звала. Она меня ждала, очень ждала. Хотя начальник госпиталя успел ей написать, что мне ампутировали ногу, что меня привезут к ней такую. Чтобы она приготовилась. Обещал, что я немного у нее поживу, а потом меня заберут... Но она хотела, чтобы я вернулась домой живой.

Она меня ждала...

Мы в восемнадцать-двадцать лет ушли на фронт, а вернулись в двадцать — двадцать пять. Сначала радость, а потом страшно: а что мы будем делать на гражданке? Подружки институты успели окончить, а кто мы? Ни к чему не приспособленные, без специальности. Все, что знаем — война, все, что умеем, — война. Хотелось скорее отделаться от войны. Из шинели быстренько сшила себе пальто, пуговицы перешила. На базаре продала кирзовые сапоги и купила туфельки. Надела первый раз платье, слезами обливалась. Сама себя в зеркале не узнала, мы же четыре года — в брюках. Кому я могла сказать, что я раненая, контуженая. Попробуй скажи, а кто тебя потом на работу возьмет? И что говорить, у меня ноги больные, я была очень нервная...

Мы молчали как рыбы. Мы никому не говорили, что мы фронтовички. Так между собой связь держали, переписывались. Это потом чествовать нас стали, приглашать на встречи, а тогда мы молчали. Даже награды не носили. Мужчины носили, это победители, герои, женихи, у

них была война, а на нас смотрели совсем другими глазами.

На фронте мужчины относились к нам изумительно, они оберегали нас, я не встречала в мирной жизни, чтобы они так относились к женщинам. Когда отступали, ляжем отдохнуть — земля голая, они сами в гимнастерках лягут, а нам отдадут свои шинели: „Девчонок... Девчонок надо укрыть...". Найдут где-то кусочек ваты, бинта: „На, возьми, тебе пригодится...". Сухарик последний поделят. Кроме добра, кроме тепла, мы ничего другого не видели. И нам было так обидно, когда после войны надо было прятать свои солдатские книжки...

Мы с мужем, когда демобилизовались и приехали в Минск, не имели ни простыни, ничего. Он тоже фронтовик, командир батальона. Нашли карту, она хорошая была, на бязи. Мы ее отмачивали... Вот эта бязевая простыня — первая простыня у нас была. Потом, когда дочка родилась, на пеленки ее пустили. Карту эту... Как сейчас помню, политическая карта мира... Муж как-то пришел: „Пойдем, мать, я видел выброшенный старый диван...". И мы ночью ходили за тем диваном — ночью, чтобы никто не видел. Как мы радовались этому дивану!

Все-таки мы были счастливые. Мы не унывали. Отоварим карточки и звоним друг другу: „Приходи, я сахар получила. Будем чай пить"... Ничего над нами не было, ничего под нами не было, не было этих ковров, ничего... И мы были счастливы. Мы были счастливы, что мы живы остались. Что мы дышим, смеемся, живем... Нас грело чувство любви и сострадания к людям. Как-то очень нужен был человек человеку, мы очень нуждались друг в друге. Хотя это были трудные, теперь оглянешься, — очень трудные годы.



Сейчас, конечно, нас подняли, оценили. И меня часто приглашают выступать, рассказывать. Недавно выступала перед молодыми итальянцами. Мне сказали, что это дети богатых родителей. И вот они меня расспрашивали. У какого врача я лечилась? Почему-то они выясняли, не обращалась ли я к психиатру? И какие сны снятся? Снится ли мне война? И не было ли мне на войне страшно? Я им отвечала, что каждый человек хочет жить, в каждом таится страх смерти, но есть такие моменты, когда ты не ощущаешь: есть страх или нет. Ты видишь, что в твой дом пришел враг, и тогда ты побеждаешь свой страх. Они реагировали таким образом, что советская женщина для них — загадка. Еще их интересовало: вышла ли я замуж после войны? Почему-то они думали, что нет. Я им в тон говорю: „Все трофеи везли с войны, а я мужа везла... Есть у меня дочка. Теперь внуки растут...". Конечно, я хотела больше детей, но не было ни здоровья, ни сил, ни средств. Что тут говорить... И учиться не смогла. Работала до пенсии лаборанткой в политехническом институте.

Работа мне нравилась, всегда с молодежью. Стареешь медленнее...

Был у меня два года назад в гостях наш начальник штаба Иван Михайлович Гринько. Он уже на пенсии. За этим же столом сидел. Я тоже пирогов напекла. Говорят они с мужем, вспоминают, девчонок наших называют. А я как зареву: „Почет, говорите, уважение. А девчонки-то многие одинокими остались, не у всех и сейчас есть отдельные квартиры. Всю жизнь в коммуналке. Кто их пожалел? Защитил? Да знаете ли вы?..". Одним словом, праздничное настроение я им испортила...

Начальник штаба вот на вашем месте сидел. „Ты мне покажи, — говорил, — кто тебя обижал. Я ему рас-

скажу, какие вы были девчонки!". Прощение просил: „Валя, я ничего тебе не могу сказать, кроме слез". Да что теперь. Теперь уже поздно..."

Перед уходом, как я ни отказываюсь, мне напакуют пакет с пирогами: "Это сибирские. Особенные.". И дают длинный список с адресами и телефонами: "Ты уж, пожалуйста, всех наших девчонок найди. Обязательно отзовутся, мы народ не избалованный. Я хоть и отболею после нашей встречи, но рада, что ты послушала. Пусть память останется..."

# **“Нас награждали маленькими медалями...”**

Памятный май восьмидесятого. Позади уже два года поисков, встреч, десятки писем разсланы в разные концы страны. Моя личная почта стала напоминать военкоматскую или музейную: “Привет от летчиц авиаполка Марины Расковой...”, “Пишу Вам по поручению партизанок бригады „Железняк“...”, “Поздравляют... минские подпольщицы... Желаем успеха в начатой работе...”, “Обращаются к Вам рядовые полевого банно-прачечного отряда...”. И я живу теперь как бы в двух поколениях — в том, что было молодо в сорок первом и в своем, кому двадцать и тридцать сейчас. Ношу в своем сознании две реальности, два человеческих мира, которые пересекаются и расходятся, поочередно укрупняются или уменьшаются, сливаются воедино. Моя память — это уже их память. Их память — моя память.

Иногда я слышу: сколько можно писать о войне? Да, я думала о том, что знание, которым наполняю блокноты, нагружаю свою душу, тяжело и невыносимо для человека. У нас, живущих в такой усовершенствованный технический век, что нам грозит уже не одна из войн, подобных тем, которые знало человечество, а экологическая катастрофа, осталась надежда, что самое сильное оружие, самое непобедимое — человеческая память. Память! Но какие сложные, какие запутанные ее линии, ее чертежи! — все больше убеждаюсь с каждым днем поиска. Куда посложнее чертежей самой адской машины, ко

торую изобрели или хотят изобрести, чтобы убивать уже не сотни, не тысячи, а сразу миллионы человек, и вместе с ними их память, эту нематериальную материю, без которой мы, люди, перестали бы быть людьми. Как уловить ее, овеществить в слове?

На просьбу о встрече мои адресаты откликаются охотно, за все время было только несколько категорических отказов: “Нет, это как страшный сон... Не могу!.. Не буду!..”. Или: “Не хочу вспоминать! Ничего не помню... Не хочу помнить!..”. А вот написать свои воспоминания решаются не все, да и не у всех получается, это трудное дело — доверить бумаге свои чувства и мысли, и переписка, против ожидания, дает только адреса и новые имена.

“Металла во мне хватает, — написала Валентина Дмитриевна Громова, санинструктор. — Осколок от ранения под Витебском ношу в легком в трех сантиметрах от сердца. Второй осколок — в правом легком. Два — в области живота...

Ушла на фронт совсем девчонкой, вернулась инвалидом. Как могла, старалась не сдаваться болезням. Окончила „вечерку“, заочный техникум, а вот институт культуры закончить не удалось. Всему виной подорванное здоровье.

Живу одиноко. Из-за последствий ранений и контузии мне нельзя было иметь детей. Приезжайте, поговорим, написать обо всем не сумею...”

“Я приехала с фронта, и врачи не пустили меня учиться. Проклятая война. Проклятая контузия...

Много я поскиталась. Детей у меня не было. Мужа тоже. Все из-за войны. А наград больших не имею, толь

ко несколько медалей. Не знаю, будет ли интересна вам моя жизнь, но хотелось бы кому-нибудь ее рассказать...” (Воронова В.П., телефонистка).

Из письма Александры Леонтьевны Бойко, младшего лейтенанта, танкиста:

“...Жили мы с мужем на Крайнем Севере, в Магадане. Муж работал шофером, я — контролером. Как только началась война, мы оба попросились на фронт. Нам ответили, что работайте там, где вы нужны. Тогда мы послали телеграмму на имя товарища Сталина, что вносим пятьдесят тысяч рублей на построение танка и желаем вдвоем идти на фронт. Нам пришла благодарность от правительства. И в сорок третьем году меня с мужем направили в Челябинское танко-техническое училище, которое мы окончили экстерном.

В лагерях получили танк. Мы оба были старшими механиками-водителями, а в танке должен быть только один механик-водитель. Командование решило назначить меня командиром танка „ИС-122“, а мужа — старшим механиком-водителем. И так мы прошли всю войну. Освобождали Прибалтику, Польшу, Чехословакию, Германию. Оба были ранены и награждены.

Было немало девушек-танкисток на средних танках, а вот на тяжелом — я одна. Иногда думаю: рассказать бы кому-нибудь из писателей свою жизнь, целая книга получится...”

Написал Иван Арсентьевич Левицкий, бывший командир пятого дивизиона семьсот восемьдесят четвертого зенитно-артиллерийского полка:

“...В сорок втором году меня назначили командиром дивизиона. После знакомства комиссар полка сказал: „И

учтите, капитан, что вы принимаете не обычный, а „девичий“ дивизион. В нем половина состава девушки, люди, требующие особого подхода, особого внимания и заботы“. Я, конечно, знал, что в армии служат девушки, но плохо себе это представлял. Мы, кадровые офицеры, несколько настороженно относились к тому, как „слабый пол“ овладеет военным делом, которое всегда было мужским. Ну, скажем, медицинские сестры — это было привычно. Они хорошо себя зарекомендовали еще в первую мировую войну, затем в гражданскую. А что будут делать девушки в зенитной артиллерии, где надо таскать пудовые снаряды? Как разместить их на батарее, где всего одна землянка, а в состав расчетов входят и мужчины? Им придется часами сидеть на приборах, а они железные, сиденья на оружиях тоже железные, а это же девушки, им же нельзя. Где они будут, наконец, мыть и сушить волосы? Возникла масса вопросов, такое это было необычное дело...

Стал ходить на батареи, присматриваться. Признаюсь, что малость не по себе было: девушка на посту с винтовкой, девушка на вышке с биноклем — я ведь с передовой пришел, с фронта. И такие разные они — застенчивые, боязливые, жеманные и решительные, с огоньком. Подчиняться военной дисциплине умеют не все, женская натура противится армейскому порядку. То она забыла, что ей приказано было сделать, то получила из дому письмо и все утро проплакала. Накажешь, а другой раз отменишь наказание — жалко. Мысли были такие: „Пропал я с этим народом!“.

Но скоро мне пришлось отказаться от всех своих сомнений. Девушки стали отличными солдатами. Они даже были точнее, въедливее в работе, чем мужчины. А точность в артиллерии — дело великое. От города Горького,

где мы формировались, дошел я со своим „девичьим“ дивизионом до Познани. У танкиста — броня, у пехотинца — окопчик, а у зенитчика — ничего, оборудуя боевые порядки, он прячет от поражения все, кроме себя. Он не роет щелей, не делает блиндажей, он не уходит от оружия даже тогда, когда самолет пикирует на батарею. Это был жестокий путь, давно хочу о нем рассказать кому-нибудь или написать...”

Адреса самые разные — Москва, Киев, город Апшеронск Краснодарского края, Витебск, Волгоград, Ялуторовск, Галич, Смоленск... Кроме растерянности, ничего другого не испытываю, когда, получив очередное письмо, ищу на карте незнакомый город или поселок: как же туда добраться, когда и как встретиться? Является спасительная идея: собрать как можно больше женщин вместе. Но как? И тут на помощь приходит случай. В один из дней почта приносит приглашение от ветерана шестьдесят пятой армии генерала П.И. Батова:

“...Собираемся мы обычно шестнадцатого-семнадцатого мая в Москве на Красной площади. Уже много лет так у нас заведено. И традиция и обряд. Приезжают все, кто еще в силах. Едут из Мурманска и из Караганды, отовсюду. Одним словом, ждем...”

Стоит в Александровском саду мемориал. Красный камень памяти... Течет к нему медленная река прозрачных майских цветов: если бы удалось посмотреть сверху, то они бы напомнили костер, так их много. И меня несет этим потоком, в волнах тихих, счастливых разговоров: “Мария, ты? Не узнал бы, но глаза твои... Прежние...”, “А это сын, Федор? В тебя весь. И невестку привез, и внука? Целым взводом явился сержант...”, “Ваня, помнишь, а? Помнишь, как мы тут в сорок первом шли. У тебя портя

нок не было, а женщина подошла и шарф свой сняла. Помнишь?”, “Розы кишиневские... Отойдут, маленько подвяли в самолете. Но свои хочю положить...”.

А вокруг живет, хлопочет будничная и праздничная Москва. Она привыкла к этим торжественно-печальным шествиям и скорее бы удивилась, если бы их не стало, а не тому, что они есть. Нет удивления даже на совсем юных лицах. Ловлю себя на мысли, что в нашем поколении, которое не воевало, не видело в глаза ни одного взрыва, кроме тех, что гремят в карьерах, когда добывают камень, память о войне живет генетически: слишком близко — меньше одной человеческой жизни — и слишком страшно то, что было. В обычной толпе она растворена, запрятана, а сейчас отделилась от всего остального мира, как отделяется стихия — большая вода или большой огонь, у которых тогда своя жизнь, по своим законам. И здесь — своя.

Вечером гостиница “Москва”, где поселились ветераны шестьдесят пятой армии, напоминает недавнее праздничное фойе Дома Советской Армии. Везде обнимаются, плачут, фотографируются. Тут нет знакомых и незнакомых, тут все свои. Если заметят твою молодость, то только с одним вопросом: “Чья дочка?”.

Ваша!

На седьмом этаже в пятьдесят второй комнате собрался госпиталь пять тысяч двести пятьдесят седьмой. Во главе стола Александра Ивановна Зайцева, военный врач, капитан: “Девчата не дадут мне соврать — весь год живем этим днем, чтобы встретиться. У меня и дети есть, и внуки, а все равно дороже моих фронтовых девчонок у



меня никого нет. Дети мои это знают, они не обижаются”.

Александра Ивановна знакомит меня со всеми. Я записываю: хирург Галина Ивановна Сазонова, врач Елизавета Михайловна Айзенштейн, хирургическая медсестра Валентина Васильевна Лукина, старшая операционная сестра Анна Игнатьевна Горелик, медсестры Надежда Федоровна Потужная, Клавдия Прохорова Бородулина, Елена Павловна Яковлева, Ангелина Николаевна Тимофеева, Софья Камалдиновна Мотренко, Тамара Дмитриевна Морозова, Софья Филимоновна Семенюк, Лариса Тихоновна Дей кун.

Тут свои и чужие, кто зашел на разговор.

“Саша правду сказала. Вот мне завтра нужно уезжать. Так обидно. Просила у начальства дать еще один день, пусть за свой счет, не дали. Начальство у нас молодое, оно не понимает, что значат для нас эти встречи.”

Но тут же о другом. О том далеком, что и через десятки лет собрало их вместе, соединило.

“Помните, девчата: едем в теплушках, и солдаты смеются, как мы держим винтовки. Держим не так, как оружие держат, а вот так... Сейчас даже и не покажу... Как кукол держим...”

“Люди плачут, кричат: „Война!“ А я думаю: „Какая война, если у нас завтра в институте экзамен? Экзамен — это так важно. Какая может быть война?”

А через неделю начались бомбежки, мы уже спасали людей. Три курса мединститута — это уже что-то в такое время. Но в первые дни я столько увидела крови, что начала ее бояться. Вот тебе и полврача, вот тебе и „пятер

ка" по практическим. Но люди вели себя исключительно, и это воодушевляло.

Помните, девочки, я вам рассказывала. Кончилась бомбежка, вижу, что земля впереди меня шевелится. Бегу туда и начинаю копать. Руками почувствовала лицо, волосы... Это была женщина... Откопала ее и начала плакать. А она, когда открыла лицо, не спросила, что у меня, что со мной, она спросила:

— Где моя сумочка?

— Что вам сейчас сумочка? Найдется.

— У меня там лежит партбилет.

Вы понимаете? Она не спросила, что с ней, цела ли она, а где ее партбилет. Я сразу начала искать ее сумочку. Нашла. Она положила ее себе на грудь и закрыла глаза. Скоро подошла санитарная машина, и мы ее погрузили. Я еще раз проверила, как ее сумочка. А вечером прихожу домой, рассказываю маме и говорю, что должна уйти на фронт."

"Я помню, как мы ехали на фронт. Полная машина девчонок, такая большая крытая машина. Была ночь, темно, и ветки стучат по брезенту, и такое напряжение, кажется, что это пули, нас обстреливают..."

"Я была мамина дочка, никогда не выезжала из своего города, и я попала младшим врачом в минометную батарею. Что со мной делалось! Начнут минометы стрелять, я сразу глухая. Такое чувство, что тебя всю обжигает. Сяду и шепчу: „Мама, мамочка... Мамочка...", Стояли мы в лесу, утром выйдешь — тихо, роса висит. Неужели это война? Когда так красиво, когда так хорошо..."

Нам сказали одеть военное, а я метр пятьдесят. Влезла в брюки, и девочки меня наверху ими завязали. И я ходила в своем платье, а от начальства пряталась. Ну и меня за нарушение военной дисциплины посадили на гауптвахту.”

Прошу вспомнить, что было самое трудное, тяжелее всего. Отвечают: работа. Ежедневная, на пределе физически сил: “Никогда бы не поверила, что смогу спать на ходу. Идешь в строю и спишь, натолкнешься на впереди идущего, проснешься на секунду, дальше спишь. А однажды в темноте меня не вперед, а в сторону качнуло, я и пошла в поле, иду и сплю. Пока в какую-то канаву не упала, тогда проснулась — и бегом догонять своих”. Военная статистика свидетельствует, что стоит за этим таким обыкновенным словом — работа: раненых, контуженых, обожженных было множество, но из ста раненых бойцов семьдесят два снова возвращались в строй. Потери среди медиков переднего края занимали второе место после потерь в стрелковых батальонах. Им же запомнились не цифры — было ли время тогда считать? Им запомнилось другое.

“Сутками стояли у операционного стола. Стоишь, а руки сами падают. Бывает, уткнешься головой прямо в оперируемого. У нас отекали ноги, не вмещались в кирзовые сапоги. До того глаза устанут, что трудно их закрыть.”.

“День и ночь работали, были голодные обмороки. Есть что поесть, но некогда...”,

“Не забуду: привезли раненого, сняли с носилок, говорят: „Нет, он мертвый“. Я встала на колени перед ним, когда он вздохнул. Реву и кричу: „Врача! Врача!“. Врача поднимают, трясут, а он опять падает, как сноп, так

крепко спит. Не смогли его разбудить даже нашатырем. Он перед этим трое суток не спал”.

И еще запомнилось:

“Это был лыжный батальон, там одни десятиклассники. Их из пулемета построчили... Его такого привозят, он плачет. И мы такого же возраста, как они, но уже старше себя чувствовали. Обнимешь его: „Дитя милое...“, А он: „Побывала бы ты там, не сказала бы тогда — дитя...“, Он умирает и кричит всю ночь: „Мама! Мама!..“ Там было курских два парня, мы из звали „курские соловьи“. Придешь будить, он спит, у него слюна на губах. Совсем махонькие...”

Откуда же у них, у девочек, бралось это чувство, что они старше своих одноклассников-мальчиков? Откуда вдруг в девчоночьем сердце этот опыт женской жалости, который только с годами приходит, с прожитыми чувствами? Отвечают:

“Женщина от жалости взрослеет. Я была девчонкой, меня бы саму еще пожалеть, но столько увидела и пережила уже в первый год войны, что чувствовала себя взрослой женщиной. Когда вот такому мальчишке на твоих глазах отрежут руку или ногу, детское быстро выветрится из головы. И он всю ночь кричит: „Дошли? Дошли? Вперед, ребята...“, А ему пошевелиться нельзя. Не было одинаковых ран. Каждого война калечила по-своему... У одного, помню, вся грудь вывернута. Умирает... Делаю последнюю перевязку и еле держусь, чтобы не зареветь. Скорей, думаю, кончить и где-нибудь забиться в угол и нареветься. А он мне: „Спасибо, сестричка...“, и протягивает в руке что-то маленькое, металлическое. Я посмотрела: скрещенные сабля и ружье. „Зачем отдаешь?“ — спрашиваю. „Мама сказала, что этот талисман спасет ме-

ня. Но он мне уже не нужен. Может, ты счастливее меня..." — сказал так и отвернулся к стенке.

Другой позовет: „Сестричка, у меня нога заболела". А ноги нет... Больше всего боялась носить мертвых, ветерок подымет простынь, и он на тебя смотрит. Не могла носить, если был с открытыми глазами, возьму прикро- ю..."

“Привезли раненого, полностью забинтованный, у него было ранение в голову, он чуть только виден. Немножко. Но, видно, я ему кого-то напомнила, он ко мне обращается: „Лариса... Лариса... Лорочка...", По всей видимости, девушку, которую он любил. Я знаю, что я этого товарища никогда не встречала, а он зовет меня. Я подошла, никак не пойму, все присматриваюсь. „Ты пришла? Ты пришла?". Я за руки его взяла, нагнулась... „Я знал, что ты придешь...". Он что-то шепчет, я не могу понять, что он говорит. И сейчас не могу рассказывать, когда вспомню этот случай, слезы пробиваются. „Я, — говорит, — когда уходил на фронт, не успел тебя поцеловать. Поцелуй меня...". И вот я нагибаюсь над ним и поцеловала его. У него из глаза слеза выскочила и поплыла в бинты, спряталась. И все. Он умер..."

Сидит возле меня женщина. Лицо красивое, строгое, какие бывают у старых учительниц. Сидит отрешенно, будто и не на людях, а сама с собой, долго отмалчивается. Судьба та же, что и у остальных. Только память своя.

“Люди не хотели умирать. Мы на каждый стон отзы- вались, на каждый крик. Меня один раненый, как почув- ствовал, что умирает, вот так за плечо обхватил, обнял и не отпускает. Ему казалось, что если кто-то возле него рядом, если сестра рядом, то от него жизнь не уйдет. Он просил: „Еще бы пять минуток пожить, еще бы две ми

нутки...". Одни умирали неслышно, потихоньку, другие кричали: „Не хочу умирать!". Человек умирает, но все равно не думает, не верит, что он умирает. А ты видишь, как из-под волос идет желтый-желтый цвет. Как тень идет, опускается ровно под одежду... И человек лежит мертвый, и на лице какое-то удивление, будто он лежит и думает: как это я умер? Неужели я умер? До последнего момента говоришь ему, что нет-нет, разве можно умереть. Целуешь его, обнимаешь: что ты, что ты? Фамилии вот стерлись, ушли из памяти, а лица остались..." Разговор перестал быть общим. Разветвился, понесся в разные стороны, как это обычно случается, когда собирается много людей. "А помнишь...", "Помните...", "Было...". Кто-то еще постучал, зашел в комнату. Следующих предупредили, что надо приходиться со своими стульями.

— А можно со своим самоваром и домашним пирогом?

— Можно.

И уже кипит на столе самовар, привезенный по такому случаю с другого конца города.

"Наше фронтовое братство", — сказал кто-то И меня пронзил согретый дыханием двух десятков людей трепетный смысл этих, казалось бы, привычных слов. Для них они не отвлеченный поэтический треп, это их молодость, их понятие о верности, о дружбе, о жизни вообще, если хотите. Они ведь и сегодняшнюю нашу жизнь оценивают оттуда, из прошлого, мерками того сурового и высокого времени.

Мне кажется, что я уже не различаю лиц и голосов, а вижу и слышу хор. Женский хор памяти, потому что мужчины за столом молчат, тоже слушают. Какой ценой

спасалась человеческая жизнь, женщины лучше расскажут. Так решили они.

“Отец думал, что он нас эвакуировал, что мы сохранены. Но мы с мамой поступили работать в госпиталь. Я мало была подготовлена, помогала переносить раненых. Мама меня потащила на курсы: „Давай окончим и будем квалифицированными медсестрами“. А до войны она была лаборанткой в институте ветеринарии.

Как стали бомбить Саратов, в госпитале провели беседу, что Родина в опасности. Мы как раз кончали вот эти курсы, и мама мне сказала, что нам надо ехать на фронт вместе. Мама добровольно подала заявление и взяла с собой меня и младшую сестренку. У нее подготовка — только шестимесячные медицинские курсы, но она со своими способностями быстро стала операционной сестрой. Мама удочерила чужую девочку, мы с ней были как сестры, втроем ревновали маму друг к другу. А мама относилась к нам одинаково А ведь это в таких условиях...”

“Когда отрезают руку или ногу, крови нет... А есть белое чистое мясо, кровь потом. Я и сейчас не могу разделывать курицу, если белое чистое мясо. У меня соленосолено во рту делается...”

Но больше всего потрясала жестокость врага, не вмещающаяся в обычное человеческое сознание, даже по отношению к ним, женщинам. Наперебой рассказывают:

“Мы отступаем, нас бомбят. Сверху хорошо видно, что едут санитарные обозы, на наших машинах красные кресты. Но фашистские летчики летали низко-низко, гонялись за каждым человеком. Мы прячемся в лесу. А он летит на тебя. Я его вижу, его лицо. И он видит, что дев

чонки, как мы прячемся за сосны, и он нас расстреливает буквально в упор и еще нагло улыбается. Такая дерзкая, страшная улыбка и красивое лицо фашистского летчика, — я это запомнила.”

“Они разбомбили нас и давай ходить над дорогой на бредущем полете. Я бегу, а один самолет за мной: я в кукурузу — он туда, я к лесу — он меня тянет к земле. Я в лес вскочила — то ли в ямку какую-то, то ли в листья. У меня кровь из носа от страха, не знаю, жива я или не жива, начала шевелить ногой, рукой: да нет, жива. С того времени я очень боялась самолетов. Он еще где-то, а я уже боюсь, я уже ни о чем не думаю, а одно только, что он летит, где мне спрятаться, куда мне забиться, чтобы не видеть и не слышать. И до сих пор звука самолета не переносу. Летать на самолете не могу. Так и осталось от войны это у меня...”

И такое помнят:

“Стоял на станции наш эшелон с ранеными и эшелон с лошадьми. И вот началась бомбежка. Мы стали открывать раненых, чтобы они уходили, а они все бросились спасать горящих лошадей. Когда раненые люди кричат, страшно, но нет ничего страшнее, когда ржут раненые лошади. Они же ни в чем не виноваты, они за людские дела не отвечают. И никто не побежал в лес, а все бросились спасать лошадей. Я что хочу сказать? Я хочу сказать, что несмотря на страшную войну, люди не озверели. Фашистские самолеты низко летали. Я потом думала, что немецкие летчики все видели и им должно быть стыдно...”

“И у меня в войну была такая мысль. Пришли мы в одну деревню, а там возле леса лежат убитые партизаны. Что с ними сделали, я пересказать не могу. Их замучи



ли... А рядом, совсем недалеко, лошади пасутся. Видно, лошади партизанские, даже с седлами. Или они удрали от немцев, а потом вернулись, или их не успели забрать, — не знаю. Лошади мирные, травы много. Я подумала: и как это люди такое страшное при лошадях творили? При животных. Они же смотрели, все видели...”

“Горел лес, горел хлеб... Такой удушливый, едкий дым... Железо горело... К этому запаху тоже надо было привыкнуть...”

“Только придем, только поставим госпиталь, загрузят ранеными, приказ: эвакуироваться. Раненых кого погрузим, а кого — нет. Нет машин, людей нет. Нам говорят: „Оставляйте... Уходите сами...“. Ты уходишь, они на тебя смотрят. Кто может подняться, тот уходит с нами. Не может — остается. И ты ему помочь не можешь, ты боишься на него глаза поднять... Молодая была, плачу- плачу...”

Когда наступали, мы ни одного нашего раненого не оставляли. Мы даже немецких раненых подбирали... И я одно время с ними работала. Привыкну, перевязываю, как будто ничего. А как вспомню сорок первый год, как своих раненых оставляли и что они с ними творили, смотреть на них не могу. Кажется, ни к одному не подойду... Завтра иду и перевязываю...

Что мне запомнилось, врезалось в память? Это тишина, необыкновенная тишина в палатах, где такие тяжелые раненые”.

“Раненые лежат всякие, у которых позвоночник перебит, у них руки работают, а больше ничего. Кал из-под них выгребашь... Он беспомощный. Жалко. Всех жалко.

Не только людей, все живое. Летят птицы, они по своему пути возвращаются... Тоже горят, гибнут...

Бомбежка. Легли в канаву, и коза из деревни прибежала, с нами легла. Просто рядом легла и кричит. Перестали бомбить, она с нами идет и все жметя к людям, ну, живое, тоже боится. Дошли до какой-то деревни и говорим одной женщине: „Возьмите, жалко“. Хотелось спасти...”

Можно ли было победить человека, который в аду, в необъятном ужасе сохранял, берег в себе человеческое, находил силы и чувства запоминать, как страдали птицы, животные, деревья, травы, — все живое? Помогал им, облегчал их участь, сострадал. И если враг был повержен, ранен, пленен, умел простить и ему, да и не только простить, но и перевязать рану, лечить. И это потрясает больше всего, потому что понять подобные чувства сегодня, из мирного времени, нормально и легко, а тогда, когда горела твоя земля, гибли твои товарищи, было мучительно непросто. Женщины же рассказывают об этом, как о чем-то совершенно естественном, не имеющем выбора, если ты человек.

“В моей палате лежал немец и наш обожженный танкист. Я захожу к ним:

— Как себя чувствуете?

— Я хорошо, — говорит наш танкист. — А этот плохо...

— Это же фашист...

— Нет, я ничего, а он плохо.

Под Бобруйском мы захватили немецкий госпиталь. Их не трогали, но раненых там лечили немецкие врачи. И я видела, как врач-немец делал операцию без наркоза.

— Почему, — спрашиваю, — без наркоза?

— Не все ли равно, где он умрет — здесь или у вас.

И это врач. У меня в голове не укладывалось...”

“Мы же даем клятву Гиппократу, мы же медики, мы же обязаны помогать любому человеку, попавшему в беду. Любому...”

Привезли на перевязку эсэсовцев, эсэсовских офицеров. Подходит ко мне сестричка:

— Как мы их будем перевязывать? Рвать или нормально?

— Нормально. Это раненые...

И мы их перевязывали нормально. Двое потом убежали. Их поймали, и чтобы они не убежали снова, я взяла им пуговицы обрезала на кальсонах...”

“Мы спасали людей. Но многие очень жалели, что они медики, что они могут только перевязывать, что не с оружием.”

Если раньше много говорили о доме, о родителях, то в последние месяцы войны каждый из суеверия избегал этих разговоров. Как хотелось верить, что война пощадила хотя бы твой дом, твою мать, твою маленькую сестренку. Хотя бы их. Но и этого они были лишены.

“Я шла на войну, я ничего не боялась. Я представляла так, что если бомбят, то бомбы разрушают только здания, не верила, что меня может убить снарядом или бомбой. Вот что пуля может попасть, в это я верила, это

знала, а что снаряд или бомба — у меня не вмещалось в сознании: как это? Ну, а потом увидела...

У нас попала в плен одна медсестра, так через день мы отбили ту деревню и нашли ее: глаза выколоты, грудь отрезана. Ее посадили на кол... Мороз, и она была белая-белая, и волосы все седые... А девочке было девятнадцать лет... И мы всегда патрон для себя держали — умереть, но не сдаться в плен. Весь страх был только в плен не попасть, а остальное все не страшно.

Я под конец войны боялась писать домой письма. Не буду, думаю, писать, а то вдруг меня убьют и мать будет плакать, что война кончилась, а я погибла перед самой Победой. Никто об этом не говорил, но все об этом думал. Уже чувствовали, что скоро мы победим, уже весна началась."

День этот пришел. И как ни ждали его, для всех он оказался неожиданным. Спросите у любого, кто воевал: какие дни войны он запомнил? Первый и последний день. И помнят их наиболее ярко, до самых маленьких мелочей. Вот таких трогательных деталей:

"Когда пришли и сказали: „Кончилась война!", я взяла и села на стерильный стол. Мы с врачом договорились, что, когда скажут: „Кончилась война!", мы сядем на стерильный стол. Что-то такое сделаем, невозможное. Я же никого к столу не попускала. У меня перчатки, я в маске, на мне стерильный халат, и я подавала всем, что надо: тампоны, инструменты... А тут взяла и села на этот стол..."

"О чем мы мечтали? Первое, конечно, — победить, второе — остаться живыми. Одна говорит: „Кончится война, и я нарожаю кучу детей", другая: „Я поступлю в

институт", а кто-то: „А я из парикмахерской не вылезу. Буду красиво наряжаться, за собой смотреть.“

“Мы входили в наши села, а там стояли трубы — и все. На Украине мы приходили в села, где ничего не было, одни арбузы росли, люди ели только эти арбузы, и больше ничего у них не было. Когда мы входили, они несли нам арбузы, единственное, что у них было.

Я вернулась домой. В землянке — мать, трое детей, собачонка у нас вареную лебеду ела. Наварят лебеды, сами едят, дадут этой собачонке. И она ела... У нас до войны столько соловьев было, а после войны два года их никто не слышал, вся земля была перевернута, подняли, как говорится, дедовский навоз. Соловьи на третий год только появились. Где они были? Никто не знает. На свои места они вернулись через три года. Люди дома поставили, тогда соловьи прилетели.”

Была и у них еще целая жизнь впереди, со всеми женскими радостями и печалью. Но, узнав такое, что не забывается, жили они, все время “повернувшись назад”.

“В войну запоминались дни, а потом начали запоминаться годы: когда замуж выходила, когда первый ребенок родился, когда сын институт окончил и женился, когда свою свадьбу серебряную справляла, когда внук появился. Жизнь-то одним мигом пролетела. Война четыре года была, потом вот еще почти сорок лет прожила, а все равно такое чувство, что война — это половина моей жизни. Вот этих четыре года...”

“Как начинаю рвать полевые цветы — войну вспоминаю. Тогда мы цветов не рвали.”

Говорят о детях, о внуках, о заботах, о болезнях своих. Со стороны — так самые обыкновенные женщины.

Матери, бабушки. Но все равно я знаю, что теперь смогу различить их в любом месте, в самой многолюдной толпе, на самом веселом празднике.

— Каждый из мужчин, что сидят за этим столом, был раз или два ранен. И то, что они живы сейчас, что у них дети и внуки есть, разве не наши руки сделали? У нас маленькие медали, но нам их давали за спасение жизни, — взяла слово для последнего тоста Александра Ивановна Зайцева.

В Москве на Девичьем поле на народные средства поставлен памятник медикам — героям Великой Отечественной войны. Ему бы из золота быть! Да, он и есть из золота, только другой пробы, самой высокой — из золота людской благодарности, людской памяти.

# “Это была не я...”

У каждой из рассказчиц своя судьба. Там же, в Москве, на встрече ветеранов шестьдесят пятой армии я увидела Ольгу Яковлевну Омельченко... Все были в весенних платьях, светлых косынках, а она — в военной форме. Лицо ее мне показалось каким-то особенным: на нем лежала неистребимая печать прошлого, мало смягченная временем. Мы познакомились, а потом я приехала к Ольге Яковлевне в Полоцк.

Она была больна, но все равно встала с постели:

— Какой другой раз? Наше поколение уже уходит... Хотела дать вам адрес своей подруги из Винницы, воевали вместе, а вчера позвонили — умерла она. Война нам всем век укоротила.

Уже не раз улавливаю в разговорах этот скрытый упрек: опоздали! Помню несколько своих писем, вернувшихся с припиской: “Адресата больше нет”. Не переехал в другой город, на другую квартиру, как это не раз случалось, а совсем нет. Исчез человеческий голос, растворилась в мире человеческая память. Что унесла она с собой? Уже никто не узнает.

Вспоминала Ольга Яковлевна неожиданно спокойно, почти бесстрастно, что я не сразу смогла понять и объяснить. И этим мучилась, потому что уже привычнее было, когда плакали. Тогда точно знала, где боль. В этих сухих, выцветших глазах она была глубже...

Ольга Яковлевна Омельченко, санинструктор стрелковой роты:

“Мать хотела, чтобы я эвакуировалась вместе с ней, она знала, что я рвусь на фронт, и привязала меня к подводе, на которой лежали наши вещи. Но я тихонько отвязалась и ушла, так эта веревка у меня на руке и осталась.

Все едут. Бегут. Куда деться? В дороге встретила с группой девушек. Одна из них говорит: „Тут моя мама рядом, пойдем ко мне“. Пришли мы ночью, постучали. Открывает ее мать, как глянула на нас, а мы грязные, оборванные, — говорит: „Стойте на пороге“. Мы стоим. Она притащила огромные чугуны, с нас все снимала. Вымыли мы головы золой и полезли на печку, и я сильно уснула. Утром мать этой девушки сварила щи, хлеб испекла из отрубей с картошкой. Каким вкусным показался нам этот хлеб и щи такими сладкими!

И так пробыли мы там четыре дня, она нас подкармливала. Давала понемножку, а то, говорит, объедитесь, умрете. И вот на пятый день она сказала: „Идите“. А перед этим пришла соседка, мы сидели на печке. Мать показала нам палец, чтобы мы молчали. Даже соседям она не призналась, что пришла дочь, говорила всем, что дочь на фронте. А это ее дочь, одна-единственная, и она не жалела эту свою дочь, не могла простить ей позора, что она вернулась.

Ночью она нас подняла, дала нам узелки с едой и вот: „Идите..“.

— И даже не пыталась удержать свою дочь?

— Нет, она ее поцеловала и говорит: „Отец воюет, и ты иди воюй“.

Уже по дороге эта девушка мне рассказала, что она медсестра, попала в окружение.



Долго меня мотало по разным местам, и наконец попала я в город Тамбов, устроилась в госпиталь. В госпитале было хорошо, я после голодовки поправилась, такая полненькая стала. И вот когда мне исполнилось шестнадцать лет, мне сказали, что я могу, как и все медсестры, врачи, сдавать кровь. Начала я сдавать кровь каждый месяц. Получала донорский паек: килограмм сахара, килограмм манки, килограмм колбасы, чтобы восстановить силы. Я дружила с нянечкой тетей Нюрой, у нее было семь человек детей, а муж ее погиб в начале войны. Старшему мальчику было семь лет, он ходил за продуктами и потерял карточку, так я свой донорский паек отдавала им. Сдавала сразу по пятьсот кубиков, по поллитра крови два раза в месяц. Один раз врач мне говорит: „Давай напишем твой адрес, вдруг объявится тот, кому вольют твою кровь“. Мы написали адрес и пристегнули эту бумажку.

И вот через какое-то время, месяца два прошло, не больше, я сменилась после дежурства и пошла, спать легла. Тормошат меня:

— Вставай! Вставай, к тебе брат приехал.

— Какой брат? Нет у меня брата!

Наше общежитие было на последнем этаже, я спустилась вниз, смотрю: стоит лейтенант, молодой, красивый. Спрашиваю:

— Кто тут звал Омельченко?

Он говорит:

— Я звал. — И показывает мне записку, что мы с врачом писали. — Вот... Я твой брат по крови.

Привез мне два яблока, кулечек конфет, тогда конфет нигде нельзя было купить. Боже! Какие это были вкусные конфеты! Пошла к начальнику госпиталя: „Брат приехал...“. Пустили меня в увольнение. Он говорит: „Пойдем в театр“. А я еще ни разу в жизни не была в театре, а тут в театр, да с парнем.

Через несколько дней он уезжал, у него было направление на Воронежский фронт. Когда он пришел попрощаться, я открыла окно и помахала ему рукой. В увольнение меня не пустили: было много раненых.

Ни от кого писем не получала, даже не имела представления, что это такое — получить письмо. И вдруг получаю треугольничек, распечатала, а там написано: „Ваш друг, командир пулеметного взвода... погиб смертью храбрых“. Это тот мой брат по крови. Он сам детдомовский, и, видимо, единственный адрес, который у него был, — это мой. Уезжая, он очень просил, чтобы я оставалась в этом госпитале, чтобы после войны ему легче было меня найти. И через месяц я получаю вот это письмо, что он погиб, и мне так стало страшно. Я решила всеми силами уйти на фронт и отомстить за свою кровь, я знала, что где-то пролилась моя кровь...

Но на фронт уйти не так просто. Три рапорта написала начальнику госпиталя, а на четвертый раз пришла к нему и говорю:

— Если вы меня не отпустите на фронт, то я убегу.

— Ну, хорошо. Я тебе дам направление, раз ты такая упрямая...

Самое страшное, конечно, первый бой. Небо гудит, земля гудит, кажется, сердце разорвется, кожа на тебе вот-вот лопнет. Не думала, что земля может трещать. Все

трещало, все гремело. Мне казалось, вся земля вот так колыхнется. Я просто не могла... Как мне все это пережить... Я думала, что не выдержку. Мне так сильно страшно стало, и вот я решила: чтобы не струсить, взяла комсомольский билет, макнула в кровь раненого, положила себе в карманчик и застегнула. И вот этим самым я дала себе клятву, что должна выдержать, самое главное — не струсить, потому что если я струшу в первом бою, то я уже дальше не ступлю шага. Меня заберут с передовой, отправят в медсанбат. А я хотела быть только на передовой, отомстить за свою кровь лично... И мы наступали, шли по траве, а трава выросла в пояс... Там уже несколько лет не сеяли. Идти было очень тяжело. Это на Курской дуге...

После боя вызвал меня начальник штаба. Какая-то избенка разрушенная, там ничего нет. Я зашла. Стоит один стул, и он стоит. Посадил меня на этот стул и говорит:

— Ну, вот смотрю я на тебя и думаю: что заставило тебя пойти в это пекло? Убьют, как муху. Ведь это же война! Давай переведу хотя бы в санчасть. Ну, хорошо, если убьют, а если останешься без глаз, без рук? Ты подумала об этом?

А я отвечаю:

— Товарищ полковник, я подумала. И об одном прошу: не трогайте меня из роты.

— Ладно, иди! — как крикнет на меня, я даже испугалась.

Бои тяжелые. В рукопашной была... Это ужас. Человек таким делается... это не для человека... Бьют, колют штыком в живот, в глаз, душат за горло друг друга. Вой

стоит, крик, стон... Для войны это и то страшно, это самое страшное. Я это все пережила, все знаю. Тяжело воевать и летчикам, и танкистам, и артиллеристам, — всем тяжело, но пехоту ни с чем нельзя сравнить.

Никому не поверю, если скажет, что страшно не было. Вот немцы поднялись и идут, еще пять-десять минут и атака. Тебя начинает трести... Но это до первого выстрела. А как услышишь команду, уже ничего не помнишь, вместе со всеми поднимаешься и бежишь. И тебе не страшно. А вот на второй день ты уже не спишь, тебе уже страшно. Все вспоминаешь, все подробности, и до твоего сознания доходит, что тебя могли убить, и становится безумно страшно. Сразу после атаки лучше не смотреть на лица, это какие-то совсем другие лица, не такие, как у людей. Я не могу выразить, что это такое. Кажется, что все немножко ненормальные. На них смотреть страшно...

Страшно ли было умереть? Конечно, страшно. Но мы и другое понимали, что умереть в такое время — тоже история. Вот у меня такие чувства были. Я до сих пор не верю, что живая осталась. И раненая, и контуженая, но целая. Глаза закрою, все снова перед собой вижу. Снаряд попал в склад с боеприпасами, вспыхнул огонь. Солдат стоял рядом, охранял, его опалило. Уже это было не человек, а черный кусок мяса.... Он только подскакивает, а все смотрят из окопчиков, и никто ничего, все растерялись. Схватила я простыню, подбежала, накрыла этого солдата и сразу легла на него. Он вот так покидался, пока разорвалось сердце, и затих...

Разнервничалась, в крови вся. Кто-то из старых солдат подошел, обнял, слышу — говорит: „Кончится война, и если она останется жива, с нее человека все равно уже

не будет, ей теперь все". Мол, что я в таком ужасе, пережить его, да еще в таком молодом возрасте. Меня трясло, как в припадке, отвели под руки в землянку.

А тут снова бой начался... Под Севском немцы атаковали нас по семь-восемь раз в день. И я еще в этот день выносила раненых с их оружием. К последнему подползла, и у него рука совсем перебитая. Ему ж нужно срочно отрезать руку и перевязать, иначе перевязку не сделать. А у меня нет ни ножа, ни ножниц. Сумка телепа- лась-телепалась у меня на боку, и они выпали. Что делать? И я зубами грызла эту мякоть. Перегрызла, забинтовала... Бинтую, а раненый: „Скорей, сестра. Я еще повоюю...“, Весь в горячке...

И в этом бою, когда на нас пошли танки, двое струсили. Погибло много наших товарищей. Раненые попали в плен, которых я стащила в воронку. За ними должна была прийти машина... А когда эти двое струсили, началась паника. Цепь дрогнула, побежала. Раненых оставили. Мы пришли потом на то место, где они лежали, кто с выколотыми глазами, кто с животом распоротым. К нашим раненым фашисты не имели жалости...

Я, как об этом узнала, как это увидела, за ночь черная сделалась. Утром построили весь батальон, вывели этих трусов, поставили впереди. Зачитали, что расстрел им. И надо семь человек, чтобы привести приговор в исполнение... Три человека вышли, остальные стоят. Я взяла автомат и вышла. Как я вышла, все за мной... Нельзя было их простить. Из-за них такие смелые ребята погибли. Самые лучшие погибли...

Влюбился в меня командир роты разведчиков. Записочки через своих солдат пересылал. Я пришла к нему один раз на свидание. „Нет, — говорю. — Я люблю чело

века, которого давно нет в живых". Он вот так близко ко мне придвинулся, прямо в глаза посмотрел и пошел. Стреляли, а он шел и даже не пригибался...

Потом, это уже на Украине было, освободили мы большое село. Я думаю: „Дай пройду, посмотрю". Погода стояла светлая, хатки белые. И за селом там — могилки, земля свежая... Тех, кто в бою за это село погиб, там похоронили. Сама не знаю, ну как потянуло меня. А там фотография на дощечке и фамилия. На каждой могилке так... И вдруг смотрю — знакомое лицо... Командир роты разведчиков, который мне в любви признался. И фамилия его...

И мне так не по себе стало. Так страшно. И как раз в это время шли к могиле его ребята, из его роты. Они все знали, они записочки мне носили. Ни один на меня не посмотрел, как будто меня не было. И потом, когда я их встречала, мне кажется, они думали, они хотели, чтобы я погибла. Они не могли видеть меня живой. Вот я чувствовала...

Пришла я с войны и тяжело заболела. Долго по больницам скиталась, пока не попала к старому профессору. Он меня лечил. Говорил, что если бы я ушла на фронт в восемнадцать-девятнадцать лет, организм был бы окрепший, а так как я попала в шестнадцать, это очень ранний возраст, организм сильно травмировался.

„Конечно, лекарство — это одно, — сказал он мне, — можно подлечиться, но, если хотите восстановить здоровье, хотите жить, мой единственный совет: нужно выйти замуж и как можно больше иметь детей. Только это может вас спасти. С каждым ребенком организм будет перерождаться..."

— А сколько вам было лет?

— Как пришла с войны, шел двадцатый год. Конечно, я и замуж-то не думала выходить.

— Почему?

— Я чувствовала себя очень уставшей, намного старше своих сверстников, даже старой. Подружки танцуют, веселятся, а я не могу, я смотрела на жизнь уже другими глазами. Внешне это не было видно, за мной молодые ребята ухаживали, а душа моя была уставшая. Мужчины не все выдерживали, что я видела... Операционная палатка, и вот там такое место, где бросают отрезанные руки, ноги... Однажды вместе со мной зашел в операционную офицер, хотел, чтобы его перевязали. Как открыл, увидел — и р-р-раз... и упал. Мужчина не выдержал.

А бои под Севском... Я вам рассказывала, как вынесла там шестьдесят семь раненых. У меня газетка фронтовая сохранилась, где об этом писали. Обо мне и о нашей первой роте сто восемнадцатого стрелкового полка тридцать седьмой гвардейской дивизии. Такой тяжелый бой, такое напряжение, что из ушей кровь шла. Утром проснулась, как после болезни...

— Замуж вышли?

— Вышла замуж. Родила и воспитала пятерых сыновей. Уже внуки выросли. Так что неплохая мать и неплохая бабушка из меня получилась. А как пришла с войны, думала, что не хватит на это сил.

Я теперь вспоминаю все, и мне кажется, что это была не я, а какая-то другая девчонка..."

Разные чувства борются в моей душе: восхищение и растерянность, удивление и протест, боль и сочувствие. Они заставляют меня еще пристальнее вглядываться в это лицо, вслушиваться в этот голос. И думать о том: каково же им, живущим одновременно в двух временах — в дне вчерашнем и в дне сегодняшнем? Они пережили то, что мы можем только знать. Должны знать! Хотя не всегда, может быть, хотелось бы знать. Но вспомним великого Толстого, который поймал себя на этом чувстве и тут же осудил его: “Только что вы отворили дверь, вид и запах сорока или пятидесяти ампутационных и самых тяжело раненных больных, одних на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас на пороге залы, — это дурное чувство...”.

Мы не их, несущих эту тяжелую память, жалеем, а себя. Чтобы по-настоящему пожалеть, надо не отказаться от жестокого знания, а разделить его, взять часть и на свою душу. К тому же это документ, его не перепишешь, его писали кровью, его писали жизнью на белых листах 41-го, 42-го, 43-го, 44-го, 45-го годов...



# “Я эти глаза и сейчас помню...”

Улица, на которой я живу в Минске, носит имя Героя Советского Союза Василия Захаровича Коржа — участника гражданской войны, героя боев в Испании, партизанского комбрига в Великую Отечественную. В этот день я шла по ней с новым чувством: имя, знакомое по книгам и кинофильмам, столько раз автоматически оставляемое мной на конвертах, телеграммах, вдруг потеряло многозначность и отдаленность символа, обрело человеческую конкретность.

Полчаса езды на троллейбусе в другой конец города, и я увижу его дочерей.

Дверь открыла младшая — Зинаида Васильевна. Те же широкие темные брови и упрямо-открытый взгляд, как и у отца на фотографиях.

— Проходите, ждем вас... Оля приехала из Москвы сегодня утром. И мама наша здесь.

Ольга Васильевна преподает в университете Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Признается, что скучает без родных мест, но приезжает не часто: семья, работа, — все требует времени, сил, особенно в большом городе. А недавно вот внук родился, хлопот прибавилось, потому что трудно быть “работающей бабушкой”.

Память? Лучше бы не вспоминать, потом тяжело от нее уходить, возвращаться в действительный мир. Чем дальше война, тем страшнее, а не наоборот.

Обе они, Ольга Васильевна и Зинаида Васильевна Корж, были санинструкторами в кавалерийских эскадронах. Под большой фотографией отца в старой, тяжелой раме я записывала их рассказ.

Рядом сидела мать — Феодосия Алексеевна. Смотрела то на фотографию, то на дочерей.

— Бомбят. Горит все. Сказали нам эвакуироваться... Долго ехали. Доехали до Сталинградской области. Женщины с детьми в тыл движутся, а мужчины оттуда. Комбайнеры, трактористы, все едут. Один, помню, полная их полуторка, а он встал с досок и кричит: "Мамаши, сестрички!! Уезжайте в тыл, убирайте хлеб, чтобы мы победили врага!". И вот они все свои шапки снимали и смотрят на нас. А мы одно, что успели с собой взять, — это своих детей. Держим их. Кто на руках, кто за руки. Он просит: "Мамаши, сестрички! Уезжайте в тыл, убирайте хлеб...". — А о дочерях Феодосия Алексеевна скажет: — Если бы мы дома были, то я за них бы сильнее боялась, когда они пошли на фронт. А как мы в эвакуации, у чужих людей. У всех беда...

Больше за все время нашего разговора она не проронит ни слова, только еще туже высоко на груди завяжет узлом сухие руки.

Зинаида Васильевна:

— Жили мы в Пинске. Мне было четырнадцать с половиной лет, Оле — шестнадцать, а брату Лене — тринадцать. Олю мы как раз в эти дни отправили в детский санаторий, а с нами отец хотел ехать в деревню. Но в ту ночь он фактически дома не ночевал. Он работал в обкоме партии, ночью его вызвали, а вернулся домой только утром. Забежал на кухню, перекусил что-то и говорит:

— Дети, началась война. Никуда не уходите. Ждите меня...

Ночью мы уезжали. У отца была самая дорогая для него память об Испании — охотничье ружье, очень богатое, с патронташем. Это была награда за храбрость. Он бросил ружье брату:

— Ты самый старший теперь, ты мужчина, должен смотреть маму, сестренку...

Это ружье мы берегли всю войну. Все, что было у нас из хороших вещей, мы продали или обменяли на хлеб, а ружье сберегли. Не могли с ним расстаться. Это была наша память об отце.

Еще он бросил нам на машину большой такой кожух, это у него была самая теплая вещь.

На станции пересели на поезд и, не доезжая до Гомеля, попали под сильный обстрел. После мама с братиком успели вскочить в вагон, а я осталась. Помогала перевязывать раненых, прилепилась к какой-то женщине — она была капитан, врач. И поехала я дальше с ее санитарной частью. Они меня накормили, но скоро спохватились:

— А сколько тебе лет?

Я поняла, что если скажу правду, они меня отправят в какой-нибудь детский дом. Ну, а я хотела воевать. Нам же все время внушали и отец говорил, что воевать мы будем на чужой территории, что это все временно, что война скоро кончится победой. И как это без меня? Такие у меня были детские мысли. Я сказала, что мне шестнадцать лет, и меня оставили, отправили на курсы. Месяца четыре я училась на этих курсах. Училась и все время

ухаживала за ранеными. Училась не в училище, а тут же, в медсанбате. Мы отступали, раненых везли с собой.

Дорогами мы не шли, дороги бомбились, обстреливались. Шли по болотам, по обочинам. Шли вразброд. Шли разные части. Где-то концентрировались, где-то, значит, давали бои. И вот так шли, шли и шли. По полям шли. Какой там урожай! Шли, рожь топтали. А урожай в тот год небывалый, хлеба стояли высокие-высокие. Зеленая трава, солнце такое, а убитые лежат, кровь...

Дошли мы так до Ростова. Там при бомбежке я была ранена. Пришла в сознание в поезде, слышу — пожилой солдат украинец лает молодого: “Жинка твоя так нэ плакала, когда рожала, как ты плачешь”. А мне, когда увидел, что я глаза открыла, говорит: “А ты покричи, милая, покричи. Легче станет. Тебе можно...”. Я маму вспомнила и заплакала.

После госпиталя мне был положен какой-то отпуск, и я попыталась разыскать свою маму. А мама меня искала, и Оля нас искала. Мы нашлись все через одних знакомых в Москве. Все на их адрес написали и так нашлись. Мама жила под Сталинградом в колхозе. И я туда поехала. Это был конец сорок первого года. Леня на тракторе работал, еще совсем ребенок, тринадцать лет. Сначала он был прицепщиком, а когда забрали на фронт всех трактористов, он стал трактористом. И днем и ночью работал. Мама шла за трактором или сидела рядом. Она боялась, как бы он не заснул и не свалился.

Мама с Леней на полу у кого-то спали, через них переступали. Вот такая картина. Скоро приехала Оля, ее устроили счетоводом. Но она писала в военкомат, просилась на фронт, а ей все время был отказ. И мы решили — я уже была вояка, — что мы поедем вдвоем в Сталинград

и там найдем какую-нибудь часть. Маму мы успокоили, обманули, что поедem на Кубань, там у отца были знакомые...

У меня старая шинель, гимнастерка, две пары брюк. Отдала одни Оле, у нее совсем ничего нет. И сапоги у нас тоже одни на двоих. Мама нам связала из овечьей шерсти не то носки, не то то-то похожее на тапки, что-то теплое. Мы шли шестьдесят километров пешком, до самого Сталинграда: одна сапоги оденет, другая — в тапках, потом менялись. По морозу шли, февраль месяц был, обмерзли, голодали. Что мама нам сварила в дорогу? Из костей каких-то холодец и несколько лепешек. И мы такие голодные-голодные...

Добрались до Сталинграда, а там не до нас. Никто нас слушать не хочет. Тогда мы решаем ехать, как мама нам говорила, на Кубань, по папиному адресу. Влезли в какой-то товарняк: я надела шинель, сижу, а Оля в это время под полками. Потом мы переодеваемся, и уже я лезу под полки, Оля сидит. Военных не трогали. А у нас же денег никаких...

Попали на Кубань. Нашли знакомых. И там мы узнали, что формируется добровольческий казачий корпус. Это был четвертый кавалерийский казачий корпус, потом он стал гвардейский. Он формировался только из добровольцев. Там были люди всех возрастов: и казаки, которых когда-то Буденный, Ворошилов в атаки водили, и молодежь. Нас взяли. Зачислили в один эскадрон.

Дали нам каждой обмундирование и лошадь. Лошадь свою надо было кормить, поить, ухаживать, все полностью. Хорошо, что у нас в детстве была лошадь и я как-то привыкла к ней, любила. И когда дали мне лошадь, села — и ничего страшного. Не сразу получилось,

но я почему-то не боялась. У меня была маленькая лошаденка, хвост до земли, но быстрая, послушная, и я как-то сразу научилась ездить. Потом уже скакала на венгерских, на румынских лошадях. И настолько я полюбила лошадей, настолько узнала, что и сейчас мимо лошади равнодушно не пройду. Мы под ногами у них спали, она тихонько ножку передвинет, но на человека не станет. И от живого человека, если он только ранен, она никогда не уйдет, не бросит. Очень умное животное. А для кавалериста лошадь — это друг, это спасение.

Первое крещение — это когда наш корпус под станицей Кущёвская участвовал в отражении танков. После Кущёвской битвы — это была знаменитая конная атака кубанских казаков — корпусу присвоили звание гвардейского. Бой был страшный. А для нас с Олей самый страшный, потому что мы еще очень боялись. Я, хотя уже воевала, знала, что это такое, но вот когда кавалеристы пошли лавиной — черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а конь, когда летит, он такую силу имеет; и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов — это было как в страшном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с танками шли — и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали пушки и бежали...

Ольга Васильевна о том бое:

— Я перевязывала раненых, рядом лежал фашист, я думала, он мертвый, и не обратила на него внимания, а он раненый, он хотел меня убить. Я как почувствовала, как кто-то меня подтолкнул, и к нему повернулась. Успела выбить ногой автомат. Я его не убила, но и не перевязала, ушла. У него было ранение в живот...

Зинаида Васильевна продолжает:

— А я веду раненого и вдруг вижу: два немца из-за танкетки выходят. Танкетку подбили, а они, видно, успели выскочить. Она секунда, если бы я не успела очередь дать, они бы меня с раненым расстреляли. Так неожиданно все произошло. Я после боя подошла к ним, они лежали с открытыми глазами. Один, помню, такой красивый, молодой немец. Было жалко, хотя это был фашист, но все равно страшно. Как-то долго это чувство не покидало, и как-то ведь не хочется убивать, понимаете. Кажется, зло, такая ненависть: зачем они пришли на нашу землю, с чем пришли? Но попробуй сам убивать, и это страшно...

Бой кончился. Казачьи сотни снимаются со своих мест, а Оли нет. Я еду за всеми, еду последняя, все оглядываюсь. Уже вечер. А Оли нет... сказали, что они остались подбирать раненых. Я ничего не могла делать, я только ее ждала. Отстану от своей сотни, подожду, потом опять всех нагоняю. Плачу: неужели в первом бою потеряла сестру? Где она? Что с ней? Может, где-нибудь умирает, хочет меня...

Оля нагнала нас ночью. Казаки плакали, когда увидели, как мы встретились. Повисли на шее одна у другой, не можем оторваться. И тогда мы поняли, что нельзя нам, невыносимо быть вместе. Лучше расстаться, чтобы не видеть. Никогда не выдержим, если одна погибнет на глазах у другой. Решили, что я должна проситься в другой эскадрон.

— И вас перевели?

— Да. Мы воевали отдельно, сначала в разных эскадронах, затем даже в разных дивизиях. Только привет передашь, если случай подвернется, узнаешь, жива ли...

На каждом шагу смерть стерегла. Под Араратом... Мы стояли в песках. Арарат был взят немцами. И было рождество, немецкое рождество, и немцы праздновали. Из нас отобрали эскадрон и батарею сорокамиллиметровую. Где-то часов в пять мы двинулись, всю ночь шли. И на рассвете встретили наших разведчиков, разведчики вышли раньше.

Село само лежало внизу. Немцы никогда не думали, что мы в таких песках сможем пройти, и оборона была очень малая. Мы прошли, пробрались через их тылы очень даже тихо. Спустились с горы — сразу взяли часовых и вошли в это село, влетели. Немцы выскакивали совершенно голые, только автоматы в руках. Там у них стояли елки... Они все пьяные... А в каждом дворе было не меньше двух-трех танков. Танкетки стояли, бронетранспортеры... Вся техника. Мы тут же на месте ее подрывали, и это такая стрельба, такой грохот, такая паника... Они все метались, там обстановка была такая, что в своего каждый боялся попасть.

У меня было восемь человек раненых. Вверх, на гору их перетянула. Но мы, видно, сделали одну оплошность: не перерезали связь. И немецкая артиллерия стала нас бить огнем и минометным, и дальнобойным. Я своих раненых скорей на санитарную повозку. Посадила, и они поехали... И на моих глазах снаряд попал в эту бричку, и все разлетелось. Когда я посмотрела, там только один человек живой остался. А тут уже немцы поднимаются на возвышенность... Раненый просит: "Оставь меня,



сестра... Оставь меня, сестра... Я уже умираю, все...”, У него ранение в живот. Его нельзя было везти.

Думала, что лошадь моя от этого раненого вся в крови, а когда посмотрела: она тоже ранена в бок, пакет индивидуальный весь вошел туда. Достала, было у меня несколько кусочков сахара, дала ей этот сахар. Уже со всех сторон стреляют, не поймешь: где немец, где наши. Метров десять проедешь и натыкаешься на раненых... Думаю: надо бричку искать, подобрать всех. Еду и вижу спуск, а внизу — три дороги: и туда дорога, и туда дорога, и прямо дорога. Куда ехать? А я держала повод крепко. Лошадь шла туда, куда я направляла. Ну, а тут, не знаю, какой-то инстинкт мне подсказал, где-то я слышала, что лошади чуют дорогу, и, не доезжая этой развилки, я повод опустила, и лошадь пошла совсем в другом направлении, чем я сама бы поехала. Пошла, пошла и пошла...

Я уже сижу без сил, мне уже все равно, куда она пойдет. Что будет, то будет. Она так шла-шла, а потом веселей-веселей, мотает головой, я уже и повод подняла, держу. Нагнусь и ей рану придержу рукой. Она веселей, веселей, потом: и-и-и-... заржала так, услышала кого-то. У меня опасения: вдруг это немцы. Решила пустить сначала лошадь, но уже сама увидела свежий след: лошади натоптали, от тачанки колесо — прошло не менее пятидесяти человек. И метров через двести-триста лошадь уткнулась прямо в повозку. На повозке были раненые, тут я увидела остатки нашего эскадрона.

Но к нам уже шла помощь, брички, тачанки... Был приказ: забрать всех. Под пулями, под обстрелом собирали своих, всех до единого забрали — и раненых, и мертвых. Я тоже поехала на тачанке. Всех там нашла, и того

раненого в живот, всех их вывезла. Только лошади расстрелянные остались. Уже хорошо рассвело, едешь и видишь — табун целый лежит. Красивые, крепкие лошади...

Вся стена в большой комнате, где мы сидим, увешана увеличенными довоенными и фронтовыми фотографиями сестер. Вот они еще школьницы — в шляпках, с цветами. Снимок сделан за две недели до начала войны. Обычные детские лица, смешливые, чуть усмиренные важностью момента. Вот они уже в казачьих черкесках, кавалерийских бурках. Сфотографировались в сорок втором году. По времени год разницы, а лицо другое, человек другой. А этот снимок Зинаида Васильевна прислала матери с фронта: на гимнастике первая медаль "За отвагу". На этом — сфотографированы в День Победы... Что запоминаю? Запоминаю движение лица: от мягких детских черт — к взрослому женскому взгляду, даже некоторой жестокости, суровости. И трудно поверить, что эта перемена лица совершалась в считанные месяцы, годы. В обычное время на нее бы ушла половина жизни.

Война меняла их. Война формировала, потому что застала в возрасте складывания характера, взгляда на жизнь. Война заставляла их многое увидеть, многое из того, что лучше бы человеку вообще не видеть, тем более женщине. Война заставляла о многом подумать. О добре и зле, например. О жизни и смерти. О тех вопросах, на которые человек научается отвечать в какой-то мере, прожив жизнь. А они только начинали жить. И уже должны были отвечать на эти вопросы...

Ольга Васильевна вспоминает:

— Мы заняли какую-то деревню, и там был оставлен немецкий госпиталь. Первое, что я увидела: во дворе вырыта большая яма, и часть больных лежит расстрелянная — перед уходом немцы сами расстреляли своих раненых. Только одна палата осталась, до этих, видно, не дошли, не успели, а может, потому их бросили, что они все были без ног.

Когда мы вошли к ним в палату, они с ненавистью смотрели на нас: видно, думали, что мы пришли их убивать. Переводчик сказал, что мы раненых не убиваем, а лечим. Тогда один даже стал требовать: мол, они три дня ничего не ели, их три дня не перевязывали... Я посмотрела — действительно, это был ужас. Их давно не смотрел врач. Раны загноились, бинты вросли в тело.

— И вам было жалко их?

— Я не могу назвать то, что испытывала, жалостью, жалость — это все-таки сочувствие, но и зла я им не могла сделать. У нас был такой случай: один солдат — фашисты замучили его семью, сожгли живыми жену, детей — ударил пленного. Не выдержали нервы. Так вот мне это казалось невозможным: я заступилась за того пленного.

— Но вы же знали, как жестоко поступают они с нашими людьми?

— Конечно, знала. Мало сказать, знала, на себе почувствовала. Я и шофер везли машину раненых. По дороге бомбежка. Несколько человек мы успели снять, стащить в канаву. Больше не смогли, самолеты начали кружить и поливать нас огнем. А там было вспаханное поле и в одном месте лежали камни, их собрали с поля. Я отбежала и легла возле этих камней. Думаю: убьет, так об

ложат меня этими камнями, не так страшно будет лежать, как в канаве.

Самолетов шесть было, пять улетело, а один остался, он сделал три круга. Я видела, как летчик дрожит вместе со своим пулеметом... Мне так казалось. Он так низко летал, что казалось, обязательно врежется в землю. Что это девушка лежит, он тоже видел: у меня были длинные светлые волосы. Ну вот почему он так делал? Или другой случай. Когда они выставили перед своими окопами ряд сапог наших солдат с отрезанными ногами. А это были наши товарищи, которые днем раньше погибли...

— А когда при вас ударили, быть может, того самого летчика или того, кто отрезал эти сапоги с человеческими ногами, вы за него заступились. Почему?

— Не так воспитывали. Может быть, потому я так среагировала, что мы всю войну спасали людей. Или если бы я видела, что он на моих глазах что-то зверское совершил, наверное не выдержала бы. Но когда его пленили, когда он побежден, то нет... Хотя помнила, все душа помнила. И как мы наступали: одна цепь наша пошла — полегла, вторая — тоже, много подрывалось на минах. Это были моряки, они лежали долго, трупы вздулись, и из-за тельняшек казалось, что это арбузы. На большом поле... И это какие люди, очень красивые люди. (Плачет.) Я сейчас плачу, а за всю войну ни одной слезы у меня не было, как закаменела.

Зинаида Васильевна:

— В бою под Будапештом. Это была зима... И я тащила, значит, сержанта раненого, командира расчета пулеметного. Сама я была одета в брюки и телогрейку, на мне была шапка-ушанка. Тащу и вижу: черный снег та

кой. Я поняла, что это глубокая воронка, то, что мне и надо. Спускаюсь в эту воронку, а там кто-то живой — я чувствую, что живой, и скрежет какого-то железа... Поворачиваюсь, а фашист раненый, в ноги раненый, лежит, и автомат на меня наставил. А у меня, когда я раненого тащила, волосы из-под шапки выбились, сумка санитарная через плечо и красный крест... Когда я повернулась, он увидел мое лицо, понял, что — это девушка и вот так: “Ха-а-а!”. У него, значит, нервное напряжение спало, и он этот автомат отбросил. Ему безразлично стало...

И вот мы втроем в одной воронке: наш раненый: я и этот немец. Воронка маленькая, ноги у нас вместе. У немца огромные такие глаза, и он смотрит на меня этими глазами: что я буду делать? Автомат он отбросил сразу, понимаете? Наш раненый не поймет, в чем дело, за пистолет хватается, а тот ничего не делает, смотрит только на меня. Я эти глаза и сейчас помню... Перевязываю своего раненого, а немец лежит в крови, он истекает кровью, одна нога у него перебита совсем. Еще немного, и он умрет. И я, не окончив перевязывать нашего раненого, разрываю ему, этому немцу, одежду, перевязываю его и накладываю жгут, и дальше перевязываю нашего. Немец говорит: “Гут... Гут...” — только это слово повторяет. Я перевязала нашего раненого, а потом думаю, что скоро приедет повозка, надо вытащить их обоих. Когда пришла линейка, я погрузила немца вместе с нашими ранеными и повезла.

Ольга Васильевна:

— Женщина на войне... Это что-то такое, о чем еще нет человеческих слов. Если мужчины видели женщину на передовой, у них лица другими становились, даже звук женского голоса их преображал. Как-то ночью я се

ла возле землянки и тихонько запела. Я думала, что все спали, никто меня не слышит, а утром мне командир сказал: "Мы не спали. Такая тоска по женскому голосу...".

А одного танкиста перевязывала... Бой идет, грохот. Он спрашивает:

— Девушка, как вас зовут?

Мне так странно было произносить в этом грохоте, в этом ужасе свое имя — Оля...

Всегда я старалась быть подтянутой, не забывать, что я женщина. И мне часто говорили: "Господи, разве она была в бою, такая чистенькая". Я помню, что очень боялась, что если меня убьют, то я буду некрасиво выглядеть. Я видела много убитых девочек... Мне не хотелось так умереть. Другой раз прячешься от обстрела и не столько думаешь, чтобы тебя не убило, как прячешь лицо, чтобы не изуродовало. Мне кажется, все наши девчонки так думали. А мужчины над нами смеялись, им это казалось забавным. Мол, не о смерти думают, а черт-те о чем...

Зинаида Васильевна:

— К смерти нельзя было привыкнуть. К гибели... Мы уходили от немцев в горы. И оставалось пять тяжелораненых брюшников. У них раны у всех в живот, это раны смертельные, день, два — и они умрут. А забрать их не могли, не на чем было везти. Меня и другого санинструктора Оксаночку оставили с ними в сарае, сказали: "Через два дня вернемся, заберем вас". Пришли за нами через три дня. Трое суток мы были с этими ранеными. Они здоровые, крепкие мужчины. Они не хотели умирать. А у нас только какие-то порошки, больше ничего нет... Они все время просили пить, а им пить нельзя. Умирили они на

наших глазах, один за другим, и мы ничем не могли им помочь...

Первая награда? Меня представили к медали "За отвагу". Но я ее получать не пошла. Я обиделась (смеется). Понимаете, как? Мою подругу наградили медалью "За боевые заслуги", а меня медалью "За отвагу". А она только в одном бою была, а я уже под станцией Кущёвская и в других операциях участвовала. И мне стало обидно: она только в одном бою была, у нее уже "боевые заслуги", много заслуг, а у меня, получается, только "за отвагу", как бы один раз я себя проявила. Приехал командир, ну и смеялся, когда узнал, в чем дело. Объяснил мне, что медаль "За отвагу" — самая большая медаль, это почти орден.

Под Макеевкой, в Донбассе, меня ранило, ранило в бедро. Влез вот такой осколочек, как камушек, сидит. Чувствую — кровь, я индивидуальный пакет сложила, да туда. И дальше бегаю, перевязываю. Стыдно кому сказать, ранило девчонку, да куда — в ягодицу. В шестнадцать лет это стыдно кому-нибудь сказать, признаться... Ну, и так я бегала, перевязывала, пока не потеряла сознание от потери крови. Полные сапоги натекло...

Наши посмотрели, решили, видно: убита. Придут санитары, подберут. Бой пошел дальше. Еще немного, и я погибла бы. Но шли в разведку танкисты и видят — девушка на поле боя. Я без шапки лежала, шапка откатилась. Они послушали — я живая. Привезли в медсанбат.

Оттуда меня в госпиталь, в один, потом в другой. Через полгода комиссовали по состоянию здоровья. Война кончилась, мне было восемнадцать лет, а здоровья уже нет: три ранения, тяжелая контузия. Но я девчонка, я, конечно, это скрывала, про ранения я говорила, а кон

тузию скрывала. И она дала о себе знать. Меня положили в госпиталь. Мне дали инвалидность, ну а я? А я эти документы порвала и выбросила, даже деньги какие-то не стала получать. Там надо было ходить на комиссии, пере-комиссовываться.

В госпитале пришли меня навещать командир эскадрона и старшина. Командир эскадрона мне очень нравился во время войны, но там он меня не замечал. Он был красивый мужчина, ему очень шла форма. Мужчинам всем форма шла. А женщины как ходили? В брюках, косы — не положено, у всех стрижка, чуть ли не под мальчика. Это уже под конец войны нам прически иногда разрешали носить, косы. А в госпитале у меня волосы отросли, я поправилась, и они (весело смеется) оба влюбились в меня сразу. Всю войну вместе прошли, ничего такого не было, а тут вдвоем: и командир эскадрона, и старшина сделали мне предложение.

После войны хотелось скорее забыть войну. Но не все могли сразу перестроиться. Нам с сестрой отец помог. Он был мудрый человек. Он взял наши медали, ордена, благодарности, спрятал и говорит:

— Была война, воевали. А теперь забудьте. То была война, а сейчас другое надо. Туфельки наденьте. Вы у меня красивые... Надо учиться, надо замуж выходить...

Оля как-то не могла сразу к другой жизни привыкнуть, она гордая была. И я помню, как отец говорил матери: "Это я виноват, что девчонки такие малые на войну пошли. Как бы их она не сломала..."

Дали мне за мои ордена и медали какие-то такие специальные талоны, чтобы я могла пойти в военторг и купить что-нибудь. Я купила себе сапожки резиновые, тогда самые модные, купила пальто, платье, ботинки. Ши



нель решила продать. Иду на рынок... Я пришла в шелковом платье... И что я там увидела? Молодые ребята без рук, без ног... Весь народ воевавший... У кого руки целые, ложки самодельные продает. А другой сидит, слезами умывается. Я ушла, я не продала свою шинель.

И сколько я жила в Москве, лет пять, наверное, я не могла ходить на рынок. Я боялась, что кто-нибудь из этих калек меня узнает и скажет: "Зачем ты меня тогда вытащила?". Я вспоминала одного молодого лейтенанта, я чуть сама не погибла, но его вытащила, перевязала ему обе ноги, остановила кровотечение и спасла. А он просил меня: "Не тяни. Добей лучше...", И вот я все время боялась встретить его...

А когда я в госпитале лежала, там лежал молодой, красивый парень. Танкист. Миша... Фамилию сейчас не помню. Ему ноги ампутировали, правую руку, одна левая осталась. Ампутации высокие, ноги взяли по тазобедренный сустав, так что протезы нельзя было носить. Его возили на коляске. Сделали специально для него высокую коляску и вывозили все, каждый, кто приходил. В госпиталь много гражданского населения приходило, помогали ухаживать, особенно за такими тяжелыми ранеными, как Миша. И дети, и женщины, и школьники. Раненым присылали и вещи, и продукты, и теплые письма. В то время каждый участвовал, чем только мог.

Народ не считался ни с чем...

Этого Мишу на руках носили. И он не унывал. Он так хотел жить. Ему только девятнадцать лет было, он совсем еще не жил. Не помню, имел ли он кого из родных, но он знал, что его в беде не оставят, он верил, что его не забудут...

Конечно, война прошла по нашей земле, везде разруха. Когда мы освобождали деревни, они были все сожженные. В одной откуда-то из-под земли вышла нас встречать женщина. Она была одна, как сейчас помню, вынесла тарелку с яйцами. Там лежало пять яиц... Вот такая бедность везде... Только земля у людей осталась...

Мы с Олей не стали врачами, хотя до войны обе мечтали. Могли поступить без всяких экзаменов, у нас была такая возможность, как у фронтовиков. Но столько насмотрелись, как страдали, как умирали люди. Представить, что это еще предстоит, уже не могли... И даже через тридцать лет я дочь отговорила поступать в медицинский, хотя она очень хотела...

Ольга Васильевна:

— А из последних дней на войне вот что запомнилось. Едем мы — и вдруг откуда-то музыка. Скрипка... Вот в этот день для меня кончилась война, не в День Победы, когда все стреляли в небо, обнимались, целовались, а когда я скрипку услышала. Уже недели две прошло, как сказали, что Германия капитулировала, что победа. Это было такое чудо: вдруг музыка. Я как проснулась...

Нам всем казалось, что после войны, после такого человеческого страдания, моря слез, будет прекрасная жизнь. Нам казалось, что все люди будут очень добрые, будут любить друг друга... Ведь у всех было такое великое горе. Оно нас братьями, сестрами сделало! Как мы ждали этот день... День Победы. И он действительно был прекрасен. Даже природа почувствовала, что в человеческих душах творилось. Но люди? Когда я сейчас вижу злых людей, вижу эгоистов, которые только для себя живут, я не могу понять: как же это случилось, как это произошло?

Я вспоминаю ту скрипку, ее тонкий, ее слабенький звук, как звук детского голоса, и мое состояние тогда — как будто я от тяжелого сна отошла. Как прекрасен мир! Как прекрасен человек! Вот тогда я о будущем впервые подумала. Мы все вдруг заговорили о будущем! О любви говорили. Хотелось любить. И хотя мы прошли суровую войну, мы все же сумели родить красивых детей... Вот что самое главное.

Прощаюсь с сестрами Корж и ухожу, унося в сумке "еще одну войну". Нагретый асфальт пахнет мягкими, слегка подсушенными листьями, в песочнице играют вместе дети и бесстрашные городские воробьи, несколько старух, еще полудеревенских и уже полугородских, греются тут же, на осеннем солнце. С чувством облегчения подмечаю каждую черточку знакомого мира под тихим, безопасным небом.

Но завтра, знаю, снова буду звонить, вслушиваться в незнакомый голос, договариваться о новой встрече. И, придя в квартиру, опять буду ловить себя на мысли, что мой магнитофон, как оружие пытки, наматывает бесконечные метры нестерпимо больной военной памяти. А нажать на "стоп", извиниться, отказаться мне уже нельзя. Слишком много доверено теперь и моей памяти.

# “Мы не стреляли...”

Где бы я ни бывала, всегда находила себе добровольных и бескорыстных помощников. Бывшие однополчане или соседи, сослуживцы сообщали по телефону или письмом, приходили в редакцию: “Расскажите всем об этом удивительном человеке”, “Непременно встретьтесь с этой женщиной”, “Узнал о вашем писке, хочу подсказать еще один адрес”.

Всех их объединяла страстная убежденность, что правда тех дней невозвратима, она достояние свидетелей и непосредственных участников войны. Да, о войне пишут и будут писать много, но свидетельства самих участников неповторимы. Их память сохраняет десятки эпизодов, деталей, подробностей ощущений, которые нельзя присочинить, выдумать. Все то происходило либо с самой рассказчицей, либо же на ее глазах. Запоминать, отбирать детали — это своего рода талант. Теперь бы я сказала, что это особенность женской памяти. Женщины видели по-другому, помнят по-другому. Их война имеет и цвет, и звук.

Вот, например, эти три коротеньких рассказа.

Ирина Николаевна Зинина, рядовая, повар:

“До войны я жила счастливо. С папой, с мамой. Папа у меня с финской пришел. Он пришел без одного пальца, и я у него спрашивала: „Папа, зачем война?”.

А война скоро пришла, я еще не подросла, как надо. Из Минска эвакуировалась. Привезли нас в Саратов. Там я в колхозе работала. Вызывает меня председатель сельсовета.

— Я думаю о тебе, девочка, все время.

Я удивилась:

— А что вы, дяденька, думаете?

— Если б не эта проклятая деревяшка! Все это проклятая деревяшка...

Стою, ничего не понимаю. Он говорит:

— Прислали бумагу, надо двоих на фронт, а мне некого послать. Сам бы пошел, да эта проклятая деревяшка. А тебя нельзя: ты эвакуированная. А может, пойдешь? Две девчонки у меня: ты да Мария Уткина.

Мария была такая высокая, девка что надо, а я какая? Я маленькая...

— Пойдешь?

— А мне обмотки дадут?

Мы были оборванные: что мы там успели с собой взять!

— Ты такая хорошенькая, тебе ботиночки там дадут.

Я согласилась.

...Сгрузили нас с эшелона, за нами приехал дядька, здоровый, усатый, и никто с ним не поехал. Не знаю почему, я не спрашивала, я такая была, что не активистка, первая никуда не лезла. Не понравился нам дядька. Потом приезжает красивый офицер. Кукла! Он уговорил, и мы поехали. Приехали в часть, а там этот усатый дядька, смеется: „Ну, что, курносые, со мной не поехали?“

Майор вызывал нас по одной и спрашивал: „Что ты умеешь делать?“

Одна отвечает: „Коров доить". Другая: „Картошку дома варила, маме помогала".

Вызывает меня:

— А ты?

— Стирать умею.

— Вижу, девка хорошая. Если бы ты варить умела.

— Умею.

Целый день варю еду, а приду ночью — солдатам постирать надо. На посту два часа стою. Мне кричат: „Часовой! Часовой!" — а я ответить не могу — сил нет.

Всю войну думала: приду, расскажу папе с мамой, как мне было тяжело. А приехала, некому рассказать: папу с мамой фашисты расстреляли. У меня все родные погибли..."

Вспоминает санитарка Александра Иосифовна Мишутина:

“Направили нас на шестимесячные курсы при фельдшерско-акушерской школе. Нас сто девчат было... Там и повара, санитарки — все там. После окончания курсов шли пешком на станцию, оттуда должны были по санпоездам распределять. На нас платья гражданские, платочки, в косах бантики... Встретил нас генерал, приказал остановить свою машину, спрашивает: „А это что за голубая дивизия?"

Попала я не на передовую, а в армейский госпиталь при двадцать второй армии. И я, которая до войны не могла разжечь примус, я работала в санпропускнике. Раненые прибывают, мы их сортируем, одеваем, раздеваем, бреем, моем. Они же беспомощные. Вся грязная работа

на нас. Оно на нас все навалилось: и стыд, и страдания человеческие, грязь вся эта, вши...”

Из рассказа Светланы Николаевны Любич, в войну сандружинницы, а сейчас преподавательницы Белорусского государственного университета имени В.И. Ленина:

“Ездила я на санпоезде. Помню, первую неделю проплакала: ну, во-первых, без мамы, а во-вторых, оказалась на третьей полке, где теперь багаж кладут. Там была моя „комната”.

— В каком возрасте вы ушли на фронт?

— Я училась в восьмом классе, но до конца года не дотянула. Убежала на фронт. Все девчонки на санпоезде моего возраста были.

— В чем заключалась ваша работа?

— Мы ухаживали за ранеными, поили, кормили, подать судно — это все наша работа. Со мной вместе одна девушка постарше дежурила, она меня первое время щадила: „Если будут утку просить, ты меня зови”. Раненые тяжелые: у кого руки, у кого ноги нет. Я первый день звала ее, а потом — она же не может весь день со мной быть и всю ночь — осталась я одна. И вот меня зовет раненый: „Сестричка, утку!”

Я протягиваю ему утку и вижу, что он ее не берет. Смотрю: у него нет рук. В мозгу где-то пронеслось, как-то я сообразила, что надо делать, но несколько минут стояла и не знала, как быть. Вы меня понимаете? Я должна была помочь... А я не знала, что это такое, я еще этого не видела. Этому даже на курсах нас не учили...”

На войне не только стреляют, бомбят, ходят в рукопашную, роют траншеи — там еще стирают белье, варят кашу, пекут хлеб. “Там горы нашей бабьей работы”, — сказала санитарка Александра Иосифовна Мишутина. Чтобы солдат хорошо воевал, его надо одеть, обуть, накормить, обстирать, иначе это будет плохой солдат. В военной истории немало примеров, когда грязное и голодное войско терпело поражение только потому, что оно грязное и голодное. Армия шла впереди, а за ней “второй фронт” — прачки, хлебопеки, повара. Сама того не подозревая, Александра Иосифовна подсказала мне мысль отыскать воевавших женщин и этих профессий.

...Удивленно и растерянно встретила меня Александра Семеновна Масаковская, в войну рядовая, повар:

“Мы не стреляли. Я не стреляла. Кашу солдатам варила. За это дали медаль. Я о ней и не вспоминаю: разве я воевала? Кашу варила, солдатский суп. Тягала котлы, баки. Тяжелые-тяжелые... Командир, помню, говорил: „Я бы пострелял эти баки... Как ты рожать после войны будешь?“. И однажды взял все баки — пострелял. Пришлось в каком-то поселке искать баки поменьше.

Придут солдатики с передовой, отдых им дадут. Бедненькие, все грязные, измученные, ноги, руки — все обмороженное. Особенно боялись морозов узбеки, таджики. У них же солнце всегда, тепло, а тут тридцать — сорок градусов мороза. Не может отогреться, кормишь его. Он сам ложки не поднесет ко рту.”

Там же, на Любанщине, в городском поселке Уре- чье, я разыскала Марию Степановну Детко и Анну Захаровну Горлач. Обе раньше работали в колхозе, теперь уже на пенсии, растят внуков. Рассказывают коротко, словно оправдываясь, что вот, мол, ничего особенного в



их жизни не было, а человек в такую даль добирался. Все норовили отправить меня к местной знаменитости: “У Федоровича медалей пуд, два ордена Славы”. Корреспонденты к нему “едут и едут”. Неопровержимым козырем выставлялись не корреспонденты, которые даже из Минска “едут”, а то, что сам председатель колхоза к Федоровичу в День Победы заходит, поздравляет.

Запомнилось, как в саду, среди цветущих вишен, на еще мягкой, весенней траве, странно было говорить и слышать о крови, о смерти, об ужасах. Рассказывали женщины мало, больше плакали.

“...Стирала белье. Через всю войну стирала. Белье привезут. Оно такое заношенное, черное, завшивленное. Халаты белые, ну эти, маскировочные. Они в крови, не белые, а красные. Гимнастерка без рукава, и дырка на всю грудь, штаны без штанины. Слезами отмываешь и слезами полощешь. И горы, горы этого белья. Как вспомню, руки и теперь болят. Я часто во сне вижу, как оно было. Так словами не расскажешь...” (Мария Степановна Детко, рядовая, прачка).

“Мы одевали солдат, обстирывали, обглаживали — вот какое наше геройство. На лошадях ехали, мало где поездом, можно сказать, пешком до самого Берлина дошли. И если так вспомнить, то все, что надо, делали: раненых помогали таскать, на Днестре снаряды подносили, потому что нельзя было подвезти, на руках доставляли за несколько километров...” (Анна Захаровна Горлач, рядовая, прачка).

И только у дверей, когда мы уже прощались, у Анны Захаровны вырвалось: “Мне кажется, я очень мало рассказала. Столько у меня было всего, а я так мало расска

зала.”.

Как ни просишь начать с чего-нибудь другого, все равно каждая начинает с самого начала.

“Старшина спрашивает: „Девочка, тебе сколько лет? ” — „Восемнадцать, а что?” — „А то, — говорит, — нам несовершеннолетних не надо”. — „Что хотите, буду делать. Хоть хлеб печь”. Взяли...” (Мухаметдинова Н.А., рядовая, пекарь).

Из города Михайловка Волгоградской области написала Мария Семеновна Кулакова: “Окончила педучилище. Раз война, направление нам не дали, а отправили домой. Приехала домой, через несколько дней вызвали в военкомат. Мама меня не пускала, конечно, молодая еще, только восемнадцать лет мне было: „Отправлю тебя к брату, скажу, дома нет”. Я говорю: „Я же комсомолка”. В военкомате собрали нас, так и так, мол, требуются женщины для фронтовых хлебопекарен.

...Труд очень тяжелый. У нас было восемь железных печей. Приезжаем в разрушенный поселок или город, ставим их. Поставили печи, надо дрова, двадцать- тридцать ведер воды, пять мешков муки. Восемнадцатилетние девчонки, мы таскали мешки с мукой по семьдесят килограммов. Ухватимся вдвоем и несем. Или сорок булок хлеба на носилки положат. Я, например, не могла поднять. День и ночь у печи, день и ночь. Одни корыта замесим, другие уже надо. Бомбят, а мы хлеб печем...”

Они не осознают того, что совершили. Живут с убеждением, что были у них “негероические” должности. Мол, и на войне занимались тем, что испокон веков женщина делать должна: “обстирывали, обшивали, кормили мужика”. Только без них, великих тружениц войны, Победы бы не было.

Зоя Лукьяновна Вержбицкая, командир отделения строительного батальона:

“Строили железные дороги, мосты понтонные, землянки. Фронт был рядом. Копали землю ночью, чтобы нас не заметили.

Лес валили. В основном девчонки у меня в отделении, все молоденькие. Мужчин несколько, кто не строевые. Дерево как выносили? Беремся все за это дерево и несем. Одно дерево целым отделением. Там кровавые мозоли были...”

Почтовый работник, рядовая Мария Алексеевна Ремнева носила письма на передовую. “Простенькое дело, — считает она, — незаметное на войне”. Но когда девушки появлялись в траншеях с полными почтовыми сумками, командиры радовались: “Молодцы, девчата, самые дальнобойные снаряды привезли”.

Из рассказа Марии Алексеевны Ремневой:

“К началу войны мне было девятнадцать лет, жила в городе Муроме Владимирской области. В октябре сорок первого нас, комсомольцев, послали строить автодорогу Муром — Горький — Кулебаки. Когда мы вернулись с трудфронта, нас мобилизовали.

Я была направлена в школу связи в Горький на курсы почтовых работников. Окончив курсы, попала в действующую армию — в шестидесятую стрелковую дивизию. Служила офицером в полковой почте. Своими глазами видела, как люди плакали, целовали конверты, получив письмо на передовой. У многих родные погибли или жили на территории, захваченной врагом. Не могли написать. Тогда мы писали письма от Незнакомой: „Дорогой солдат, пишет тебе Незнакомая девушка, Как ты бьешь

врага? Когда вернешься с Победой?". Ночами сидели и писали. Я за войну сотни таких писем написала..."

"А я всю войну на колесах, согласно указателям: „Хозяйство Щукина", „Хозяйство Кожуро", — вспоминала рядовая Елена Никифоровна Невская. — Получим на базе табак, папиросы, кремни — все, без чего бойцу не обойтись на передовой, — и в путь. Где на машинах, где на повозках, а чаще пешком с одним или двумя солдатами. На своем горбу тянем. До траншеи на лошадях не проедешь, немцы услышат скрип. Все на горбу, миленькая..."

В Киеве я познакомилась с Валентиной Кузьминичной Борщевской. Ее рассказ показался мне настолько интересным, объединившим всех, кто "воевал, не стреляя", что я привожу его полностью, не боясь многих повторов. Повторы эти, как здесь, так и в других рассказах, часто нужны. Не всегда можно понять чувства, состояние человека в середине войны, в конце войны, если не знаешь, кем он был до войны, каким был. Ведь это не одинаково: было тебе семнадцать-восемнадцать лет или двадцать- тридцать, девчонкой ушла или зрелой женщиной, оставившей дома ребенка.

Вот как об этом, например, вспоминает Надежда Михайловна Скобелева, капитан, врач:

"При отступлении все сжигалось, все взрывалось. Горючее, боеприпасы. Один огонь оставался. Люди, которые видели, что мы отступаем, — женщины, дети, они выйдут и стоят: „А как вы нас оставляете? И нас берите с собой...". Если бы я была мать, не знаю, как бы я это перенесла. Молодому легче, я не имела этих чувств, не знала еще материнства, только поэтому выдержала. Пожи

лые люди труднее переносили. Идет мужчина сорока лет, плачет. Глаз не может поднять...”

Потому и начинают с самого начала, с первого дня. Начало — фундамент, на котором потом строится все здание воспоминаний. Без него оно сыплется, крошится.

Когда Валентина Кузьминична Борщевская уходила на войну, ей было двадцать четыре года. Она несколько раз повторила: “Я уже много понимала”.

Валентина Кузьминична Братчикова-Борщевская, лейтенант, замполит полевого прачечного отряда:

“До войны я работала в детском доме для испанских детей, которых привезли к нам в Киев в тридцать седьмом году. Изучила испанский язык и была воспитательницей.

Первого мая я вышла замуж, а двадцать второго июня началась война. Помню, как налетели первые немецкие самолеты. Мы не знали, что делать, а испанские дети стали рыть во дворе окопы. Они уже все знали... Их отправили в тыл, а я выехала в Пензенскую область. Мне дали задание — организовать курсы медсестер. К концу сорок первого года я сама принимала экзамены на этих курсах, потому что врачи ушли на фронт. Выдала документы и тоже попросилась на фронт. Направили под Сталинград, в армейские полевой госпиталь. Оказалась среди девчонок самая старшая. Соне Удруговой, мы и сейчас с ней дружим, тогда было шестнадцать лет, она окончила только девять классов — и вот эти медицинские курсы. Три дня прошло, как мы уже на фронте, и вот Соня сидит в лесу и плачет. Подхожу:

— Сонечка, ну чего же ты плачешь?

— Как ты не поймешь? Я три дня маму не видела, — ответила она мне.

Сейчас ей этот случай напомним, так она смеется.

На Курской дуге меня перевели из госпиталя в полевой прачечный отряд замполитом. Прачки были вольнонаемные. Вот, бывало, едем мы на подводах: лежат тазы, торчат корыта, самовары — греть воду, а сверху сидят девчата в красных, зеленых, синих, серых юбках. Ну, и все смеялись: „Вон поехало прачечное войско!..“. А меня звали „прачкин комиссар“. Это уже потом мои девчата оделись попримечнее, „прибарахлились“, как говорится.

Работали очень тяжело. Вот мы приходим, дают нам одну какую-нибудь хату, дом или землянку. Мы стираем там белье, прежде чем сушить, пропитываем его мылом „К“, для того чтобы не было вшей. Был дуст, но дуст не помогал, пользовались мылом „К“, очень вонючее, запах ужасный. Там, в этом помещении, где стираем, мы и сушим это белье, и тут же мы спим. Давали нам двадцать-двадцать пять граммов мыла — на одного солдата постирать белье. А оно черное, как земля. И у многих девушек от стирки, от тяжести, от напряжения были грыжи, экземы рук от мыла „К“, слазили ногти, думали, что никогда не смогут они расти. Но все равно день-два отдохнут — и нужно было опять стирать.

Девчонки слушались меня. Приезжаем мы раз туда, где стоят летчики, целая часть. Представляете, увидели нас, а мы все в грязном, заношенном, и эти хлопцы с пренебрежением: „Подумаешь, прачки...“. Мои девчата чуть не плачут:

— Замполит, смотрите...

— Ничего, мы им отомстим.

И мы договорились. Вечером надевают мои девчата, что у них было лучшее, идут на лужайку. Одна наша девчонка им играет на гармошке, и они танцуют. Договорились: ни с одним летчиком не танцевать. Те подходят, а они ни с кем не идут. Весь вечер друг с дружкой танцевали. Те замолились: „Один дурак сказал, а вы на всех обиделись...“.

Вообще было не положено вольнонаемных сажать на гауптвахту, но что ты сделаешь, когда сто девчат вместе? У нас в одиннадцать отбой — и никаких. Они старались удрать — ну, девчата есть девчата. Я сажала их на гауптвахту. Как-то раз приехало начальство из соседней части, а у меня двое сидят.

— Как это так? Вольнонаемных сажают на гауптвахту?  
— спрашивают у меня.

Я спокойно говорю:

— Пишите, товарищ полковник, рапорт командованию. Ваше дело. Но я должна бороться за дисциплину. И у меня образцовый порядок.

С тем они и уехали.

Дисциплина была крепкая. Как-то встретила одного капитана — проходил мимо моего дома, и я выхожу. Он даже остановился:

— Боже мой! Вы вышли отсюда, а вы знаете, кто тут живет?

— Знаю.

— Здесь же замполит живет, вы знаете, какая она злая?

Я говорю, что такого никогда не слышала.

— Боже мой! Она никогда не улыбается, она такая сердитая.

— А вы хотели бы с ней познакомиться?

— Боже мой! Нет!

Ну, и тут я призналась:

— Так будем знакомы, я замполит!

— Нет, не может быть! Про нее мне рассказывали...

Я берегла своих девчат. У нас была такая красивая Валя. Вызвали меня один раз на десять дней. Приезжаю, мне говорят, что Валя все эти дни поздно приходила, что была она с каким-то капитаном. Была, ну была, что ты сделаешь.

Два месяца проходит, я узнаю, что Валя беременная. Я вызываю ее. „Валя, как это могло случиться? Куда ты поедешь? Твоя мачеха (у нее не мать, а мачеха была) в землянке живет". Она плачет и говорит мне: „Это вы виноваты, если бы вы не уехали, ничего бы не случилось". Они со мной — как с матерью, старшей сестрой.

У нее какое-то пальтишко легкое, а уже холодно, отдала я ей свою шинель.

Поехала моя Валя...

Восьмое марта сорок пятого года. Мы устроили праздник. Выходят мои девчата из помещения и вдруг видят: идут из леса два немца. Волокут за собой автоматы... Раненые. Мои девчата окружили их. Ну, и я, как замполит, конечно, написала в донесении, что сегодня, восьмого марта, прачки взяли в плен двух немцев.

Назавтра у нас было совещание командиров, начальник политотдела первым делом говорит:



— Ну, товарищи, я хочу вас обрадовать: скоро конец войне. Вчера прачки из двадцать первого полевого прачечного отряда взяли в плен двух немцев...

Когда шла война, нас не награждали, а когда кончилась, мне сказали: „Наградите двух человек“. Я возмущилась. Взяла слово, выступила, что я замполит прачечного отряда, и какой это тяжелый труд прачек, что у многих из них грыжи, экземы рук и так далее, что девчонки молодые, работали больше машин, как тягачи. У меня спрашивают:

— Можете к завтрашнему дню представить наградной материал? Мы еще наградим...

И мы с командиром отряда ночь сидели над списками. Многие девчата получили медали „За отвагу“, „За боевые заслуги“, а одну прачку наградили орденом Красной Звезды. Самая лучшая прачка, она не отходила от корыта: бывало, все уже не имеют сил, падают, а она стирает. Это была пожилая женщина...

Когда мне надо было отправлять девушек домой, мне хотелось что-то им дать. Они все из Белоруссии были, а там все разрушено, побито. Как ты их отпустишь с голыми руками? А мы стояли в какой-то немецкой деревне, там была швейная мастерская. Я пошла посмотреть: машинки стояли, на мое счастье, целые.

И вот каждой девчонке, которая уезжала, мы подготовили подарок. Это все, что я могла сделать для своих девчат...”

Высокая, прямая, как старое, невысохшее дерево. Густой, с мужской хрипотцой голос. Такие, видно, становились в войну “председательшами”, когда в деревне не

оставалось годного да целого мужика, а одни старики и подростки. Выкладывает передо мной стопку писем:

— От моих девчат... Кому с квартирой надо помочь, кому с путевкой, кому с телефоном. Обходят нас часто: "А-а, навоевали они там, прачки!". Кто в войну думал о документах? Другая у всех забота была — победить врага. Были умные командиры, те издавали приказ и зачисляли прачек рядовыми. Но не все так догадывались сделать. И получилось, что имеют женщины медали, ордена, всю войну прошли, а ветеранами войны не считаются. Пишу по начальству, доказываю. Один большой чин меня слушать не захотел: "Я думал, вы за заслуженного фронтовика хлопчете, а вы за какую-то прачку". Я ему говорю: "Не постирай вам жена хотя бы неделю и не вари обеды, посмотрела бы я на вас...". Все-таки принял, выслушал...

Она по-прежнему "прачкин комиссар". И о чем бы ни заговорили, все равно мыслью назад, к тем годам, оборачивается:

— Я после войны десять лет никуда не ходила в гости, не могла нарадоваться своей кровати. Не могла куда-то поехать, ночевать где-то в гостях. Сорок лет скоро будет, а я ложусь спать всегда с мыслью: какое счастье, что я не слышу, как стреляют! Столько лет прошло, а у меня нет большей радости, чем эта. Все эти годы я работала участковым детским врачом. Я никогда не желала, вот как говорят обычно: "Здоровья вам".

Я всегда говорила: "Здоровья вам, вашим детям, и чтобы не было войны..."

Еще две "нестреляющие" профессии. Еще две судь

бы.

Из записок Елены Ивановны Бабиной:

“Отец мой работал в колхозе и был ударником, его хвалили на каждом собрании. У него были золотые руки, он все умел: и плотником, и сапожником, и портным. Маму выбрали звеньевой, и ее бригада шла впереди, она гордилась и ходила веселая. А ночью сожгли наш дом, мы выскочили в чем были. Дом был новый и горел пламенем. Мне было девять лет, и я помню, как мама прижимала к себе грудного моего братика и плакала: „Это кулацкие сынки нам отомстили”.

Новый дом помог строить колхоз. Отец только успел доделать крыльцо, как началась война с финнами. Он ушел на войну и вернулся раненый. Пожил отец в новом доме совсем немного, началась Великая Отечественная война. Он рвался на фронт, ушел добровольно вместе с директором нашей школы. Как раз я окончила семь классов и устроилась санитаркой в военный госпиталь, учиться дальше мне не пришлось. Я еще не видела человеческой крови, и в госпитале мне было очень трудно и страшно.

В сорок втором году отец прислал письмо, что едет к Сталинграду. А через несколько дней пришло извещение о его гибели. В сорок третьем году маме пришло второе извещение на сына. Она тяжело заболела, но колхоз не бросала: в поле женщины и поплачут, и посмеются вместе, и в работе было легче. До этого моя мама выглядела очень молодой. Ей было тридцать шесть лет, а мне семнадцать, и кто не знал нас, увидев вместе, окликал: „Эй вы, девушки!”. Мама злилась, а я смеялась. Мне нравилось, что у меня такая молодая мама. А тут она за несколько месяцев превратилась в старуху.

Фашисты долго не могли взять Воронеж, бомбили и бомбили город. Самолеты летали через наше село Московка. Я еще не видела врага, я видела только его самолеты. Но очень скоро я увидела, что такое война. В наш госпиталь сообщили, что под самым Воронежем разбомбили состав, мы приехали на место — увидели мясорубку... Первым опомнился наш профессор. Он громко крикнул: „Носилки!“. Я была моложе всех, мне только шестнадцать лет исполнилось, и все смотрели на меня, чтобы я не упала в обморок.

Мы ходили по рельсам, лазили по вагонам. На носилки некого было положить: вагоны горели, не слышалось ни стонов, ни криков. Людей целых не было. Я ухватилась за свое сердце, у меня от страха закрывались глаза. Когда мы вернулись в госпиталь, врачи все ходили по стеночке, домой никто не пошел. Мы все повалились кто где: кто на стол голову положил, кто на стулья — и так уснули.

Я отдежурила и пошла домой. Пришла вся заплаканная, легла на койку и только закрою глаза — все снова вижу: как вагоны горели, что от людей осталось. Пришла с работы мама, и пришел дядя Митя. Слышу мамин голос:

— Не знаю, что с Леной будет. Ты посмотри, какое у нее лицо стало за то время, как она в госпиталь пошла. Она не похожа сама на себя, молчит, ни с кем не разговаривает и во сне вскрикивает. И куда у нее делась улыбка и куда делся смех? А ты сам знаешь, какая она была веселая. А теперь она никогда не шутит.

Я слушаю маму, и у меня слезы текут.

...Когда в сорок третьем году освободили Воронеж, я пошла в военизированную охрану. Из нашего села Московки были в охране Мотя Колягина, сестры Аня и Зина

Кирияновы, Настя Чекунова и я. Шли дни службы, недели. Я узнала многих девушек-бойцов, все они были молодые — восемнадцать-двадцать лет. И все были красивые, никогда я столько красивых девчат не видела. Как на подбор все. Первую я узнала Марусю Прохорову, она дружила с Таней Федоровой. Они были из одной местности. Таня была серьезная девушка, любила чистоту, порядок. А Маруся любила петь, плясать. Пела озорные частушки. А больше всего любила краситься, сядет перед зеркалом и сидит часами. Таня ругала ее: „Чем красоту наводить, лучше погладь свою форму и убери как следует койку“.

Была еще у нас Паша Литаврина, очень отчаянная девчонка. Дружила она с Шурой Батищевой. Та была стеснительная и скромная, самая спокойная из нас. Любила сидеть перед зеркалом и краситься Маруся Ка- домская. А Люся Лихачева любила накручивать локоны, накрутит — и сразу за гитару. Она с гитарой ложилась спать и с гитарой вставала. Старше всех нас была Полина Неверова, у нее муж погиб на фронте, и она была невеселая, серьезная.

Ходили мы все в военной форме. Когда мама первый раз увидела меня в форме, она сделалась белая:

— Ты решила в армию пойти?

Я поняла, что ее так напугало.

— Да нет, мама. Я же тебе говорила, что охраняю мосты.

Мама отвечает:

— Скоро война кончится. И ты сразу снимешь ши

нель.

Я тоже так думала.

Через два дня после того, как мы узнали, что кончилась война, у нас было собрание в красном уголке. Выступил на нем начальник охраны товарищ Наумов.

— Дорогие мои бойцы, — сказал он, — война кончилась. Но вчера я получил приказ, что на Западную дорогу требуются бойцы военизированной охраны.

Кто-то из зала крикнул:

— Да там же бендеровцы!..

Наумов замолчал, а потом сказал:

— Да, девушки, там бендеровцы. Но приказ есть приказ, его надо выполнять. Кто хочет поехать, прошу подать заявление начальнику караула. Поедут добровольцы.

Мы вернулись в казарму, и каждая легла на свою койку. Стало тихо-тихо. Никому не хотелось уезжать далеко от родных мест, прощаться с родителями. И никому не хотелось умирать после войны. А все мы знали, что такое бендеровцы.

На следующий день нас опять собрали в красном уголке. Я сидела за столом президиума, стол накрыли красной скатертью. И я думала, что я последний раз сижу за этим столом.

Начальник охраны сказал:

— Я знал, Бабина, что ты поедешь первая. И вы все, девчонки, молодцы, не побоялись. Кончилась война, можно вернуться домой, а вы едете защищать свою Родину. Жаль мне таких бойцов, но на Западной дороге такие и требуются.

Через два дня мы уезжали. Подали нам товарный состав, на полу было сено, и пахло травой.

Никогда раньше я не слышала, что есть такой город Стрый, теперь это было место нашей службы. Город мне не понравился — маленький и страшный, каждый день играла музыка и кого-нибудь хоронили: то милиционера, то коммуниста, то комсомольца. В Воронеже идешь на пост и не боишься, а тут гляди в оба. Опять мы увидели смерть.

Была у меня подруга Галя Коробкина. Она там погибла. Это было самое страшное — хоронить людей, когда война кончилась. И этим людям по семнадцать, двадцать лет... Там я совсем забыла, что такое шутить и улыбаться.

...После демобилизации приехала в Ленинград. Устроилась на Кировский завод, дали мне девичье общежитие. В комнате стояло семь коек, а моя была восьмая. Потом повыходили все замуж и привели своих мужей в общежитие. А комнатка была двадцать четыре квадратных метра. Но жили мы очень дружно, никогда не ругались. Вечером собирались все за столом: кто ужинал, кто читал книгу, кто вязал, кто вышивал. Детей клали раньше спать и занавешивали занавесками свои койки. Со стороны было смешно смотреть на эти цыганские палатки, но никто из нас не жаловался.

Работали все на Кировском заводе, только в разных цехах. Часть работала в одну смену, часть в другую. Мне кажется, что в нашей комнате никогда не выключался свет. Прожили в общежитии мы семь лет, у меня сын там стал большой. Вырос хороший, некапризный мальчик. И вот через семь лет мы получили не квартиры, а комнаты в коммунальных квартирах. Были все очень рады. По

могали друг другу переезжать: клеили обоями стены, мыли полы. Уезжая, мы целовались, обнимались, как родные. Забирали своих детей, своих мужей, больше забирать было нечего, ни у кого ничего не было. Только сняли с коек свои занавесочки. И все наше богатство.

И еще много лет, когда встречались на проходной, бросались друг к другу и обнимались. У многих родились новые дети, мы ходили друг к другу на крестины... Я тоже родила второго сына. Прошло время, появились у нас отдельные квартиры, хорошая мебель. Сейчас я живу одна в двухкомнатной квартире, но не было ночи, чтобы мне не снилась война, чтобы я спала спокойно. Я даже больше и чаще плачу в этой квартире, и никто не видит моих слез.

Я ненавижу само слово „война". Она забрала у меня радость жизни, хотя я и осталась живая. Внуки у меня спрашивают: „Бабушка, почему ты мало улыбаешься?" Я знаю: им со мной невесело, но ничего поделать с собой не могу..."

Вспоминает Антонина Мироновна Ленкова из города Бердянска Запорожской области. На фронт она ушла в неполных семнадцать лет, была автослесарем в полевой автобронетанковой мастерской:

“Во второй части „Тихого Дона" Шолохов рассказывает о казни Подтелкова, Кривошлыкова и их товарищей. Среди расстрелянных был и мой дядя — брат матери Петр Иванович Лысиков. Его мать, а моя бабушка, присутствовавшая при казни, увидев, как упал сын, потеряла сознание. Так и увезли ее замертво..."

Отец мой, Мирон Павлович Ленков, прошел путь от безграмотного паренька до командира взвода, коммуниста. Когда он умер, мы остались с мамой жить в Ленин



граде, всем лучшим в себе я обязана этому городу. Маленькой я часто болела, была слабенькой от страшного ожога, полученного в детстве. Когда подросла, моей страстью стали книги. Рыдала над романами Лидии Чарской, „Маленьким оборвышем" Гринвуда, зачитывалась Тургеневым. Любила поэзию...

Август сорок первого года мы собирались провести в гостях у бабушки. Но уже в начале июня мной овладело какое-то непонятное беспокойство. Я стала уговаривать маму уехать немедленно. Та удивилась: отпуск у нее в августе, никто раньше не разрешит. Да и нечего там в июне делать: в августе поспевают фрукты, овощи. Но никакие слова не могли поколебать моего желания уехать немедленно. Что-то, чего я сама не могла понять, тянуло меня из города..."

Она уговорит все-таки мать отпустить ее с младшей сестренкой одних к бабушке. В донских степях возле хуторка Свиридов увидит, как в облаках раскаленной пыли будут носиться — аллюр три креста — конноарочные с военкоматскими повестками. Как, провожая казаков на войну, поют, пьют и плачут навзрыд казачки.

“Двадцать третьего июня я пошла в станицу Боков-скую в райвоенкомат. Сказали коротко и жестоко:

— Детей на фронт не берем. Комсомолка? Вот и прекрасно. Организуй помощь колхозу.

Лопатили хлеб, чтобы не перегорел в буртах. Потом убирали овощи. Мозоли на руках стали твердыми, губы потрескались, лицо покрылось степным загаром. И если я чем-то отличалась от хуторских девочек, то только тем, что знала множество стихов и могла читать их наизусть всю длинную дорогу с поля домой.

А война приближалась. Семнадцатого октября фашисты оккупировали Таганрог. Я стала говорить об эвакуации, хотя и понимала, что ни бабушке, ни маминым сестрам с маленькими детьми это не под силу. Но и остаться, подвергая опасности сестренку, за которую теперь была в ответе, не могла.

До Обливской шли пять суток. Сандалики пришлось выкинуть, в станицу входили босиком. Вместе с другими эвакуировавшимися пришли на станцию, начальник станции сказал: „Не ждите крытых вагонов, садитесь на площадки, сейчас подадим паровоз и отправим вас на Сталинград". Нам повезло — мы забрались на площадку с овсом. Погрузили в зерно босые ноги, укрылись платком, тесно прижавшись друг к дружке, задремали. Хлеб у нас давно кончился, мед тоже. В последние дни нас прикармливали казачки. Мы стеснялись брать, заплатить было нечем, а они уговаривали: „Ешьте, жалюшки. Всем сейчас худо, помогать надо друг дружке". — Я давала себе зарок никогда не забыть этой людской доброты...

Из Сталинграда пароходом, затем снова поездом добрались в два часа ночи до станции Медведицкое. Людской волной нас выплеснуло на перрон. А так как сами, превратившись в две сосульки, мы не могли двигаться, то стояли, прижавшись, придерживая друг друга, чтобы не упасть. Не рассыпаться на осколки, как на моих глазах рассыпалась однажды лягушка, извлеченная из сжиженного кислорода и брошенная на пол. Замерзло все, даже мысль. Я с трудом припоминала, что вроде бы кто-то подходил к нам, о чем-то советовался, уходил; потом подъехала наполненная людьми бричка, и нас привязали сзади. Надели ватники. Сказали: „Идите, иначе вы замерзнете. Не отогреетесь. Вас нельзя везти...". Мы сна

чала падали, но шли, потом даже бежали. И так шестнадцать километров до райцентра.

Еще пять дней мы просидели в коридоре то ли исполкома, то ли сельсовета, рядом с горящей печкой. Отогрелись за всю дорогу. Наконец за нами пришла машина из села Франк. Последние двадцать пять километров показались очень длинными, потому что мороз стоял страшный, а машина открытая...

В кабинете председателя колхоза имени „1 Мая" было тепло и светло. Но человек, на которого взвалили тяжелый груз — организовать колхоз из женщин, стариков и детей, к тому же городских, да еще раздетых и разутых, — сидел мрачный. Под снегом стояли неубранные поля подсолнечника, были занесены не сметанные в стога копны сена, день и ночь ревел голодный скот, а кого посылать на работу? Может, этих двух девочек?

— Ты сколько классов успела закончить? — спросил меня председатель.

И очень обрадовался, даже не поверил, когда я сказала, что девять.

— Вот и хорошо. Будешь мне тут помогать. За бухгалтера.

На какой-то момент я даже обрадовалась. Но тут увидела висящий за председательской спиной плакат: „Девушки, за руль!".

— Не буду сидеть в конторе, — ответила председателю.  
— Если меня научат, я смогу водить трактор.

Трактористы были нужны колхозу позарез. Тракторы стояли, занесенные снегом. Мы откапывали их, разбирали, обжигая руки о металл, оставляя на нем куски ко

жи. Проржавевшие, туго затянутые болты казались приваренными. Когда не удавалось стронуть их с места против часовой стрелки, пытались открутить по ее ходу. Как на грех, именно в этот момент, будто из-под земли, выросстал разъяренный Иван Иванович Никитин, единственный настоящий тракторист и наш наставник. Он хватался за голову и не мог удержаться от матерщины. Ругань его была как стон, хотя легче от этого не становилось, и щеки пылали от стыда.

Собирали тракторы в помещении. Там было немного легче выдерживать холод. Но работа осложнялась отсутствием запчастей. И учили нас, можно сказать, от противного.

— Видишь, какие шейки на коленчатом валу? — спрашивал Иван Иванович. И объяснял: — Если его поставить, тракторист будет не работать, а мучиться. Недопустимый эллипс. Вал надо отшлифовать, но станок сломан, шлифовать не на чем. Следовательно, через день-два надо будет делать перетяжку шатунных подшипников. Что это такое, узнаете, когда начнете работать...

Таковыми были наши курсы, на таких машинах предстояло работать.

В поле я ехала задним ходом: в коробке скоростей моего СТЗ большинство шестерен были „беззубыми“. Расчет был прост: за двадцать километров какой-нибудь трактор выйдет из строя и тогда с него переставят коробку скоростей на мой. Так и случилось. Такая же, как я, трактористка Сарочка Гозенбук, не заметив, что из радиатора вытекла вода, запоролла мотор.

Работалось трудно. Спали часа три-четыре в сутки. Подолгу разогревали моторы в нарушение всех правил —

открытым огнем. Узнала я и что такое перетяжка. И как заводить трактор после такой процедуры — вкруговую не покрутишь, вполоборота не заведешь... Смазочные материалы и горючее — по нормам военного времени. За каждую каплю отвечаешь головой, так же как и за расплавленный подшипник.

Однажды перед выходом в поле открыла краник картера — проверить масло. Пошла какая-то сыворотка. Кричу бригадиру, что автол новый надо залить, он подошел, каплю в руках растер, понюхал зачем-то и говорит: „Не бойсь! Еще день поработать можно". Отвечаю: „Нельзя, сами говорили..." Перебивает: „Наговорил на свою голову — спасу от вас нет, грамотные больно. Говорю: езжай, так твою разэтак, значит, езжай!". И отошел.

Поехала. На прицепе культиватор, приспособление нетяжелое, только пыль от него несусветная. Жарко, трактор дымит, дышать нечем, но все это ерунда: как подшипники? Кажется мне, что постукивают. Остановлюсь — вроде нет. Дам нагрузку — стучат! Заставляю себя думать, что это чудится, перестая обращать внимание, еду. И вдруг — под самое сиденье — тук, тук, тук!

Глушу мотор, подбегаю к смотровым люкам, открываю их, а они с той, внутренней стороны, в мокром от масла металлическом песке — два шатунных подшипника расплавила вчистую!

Опустилась на землю, обняла колесо, заплакала. Сама виновата: видела же, какое масло! Мата испугалась. Его бы отматерить в ответ, так нет, гнилая интеллигенция.

Обернулась на какие-то звуки. Ну и ну! Председатель колхоза, директор МТС, начальник политотдела и,

конечно, Иван Иванович собственной персоной. Из-за него все!

А он стоит и двинуться не может. Все понял. Молчит. И я молчу — все-таки сама виновата!

Директор МТС спрашивает:

— Сколько?

— Два, — отвечаю.

А начальник политотдела поворачивается к бригадиру:

— Я что, эту девочку под суд отдавать должен? Твоя была обязанность — масло проверить...

Так и обошлось. Разговорами. А Иван Иванович никогда больше при мне не матерился.

Мой рабочий день целиком зависел от трактора: пока он работал, я с него не слезала. С таким коленчатым валом он обычно работал сутки, иногда часов тридцать. Потом нужно было делать перетяжку шатунных подшипников. В тот день часа три-четыре можно было поспать...

А потом было счастье: нашлась наша мама. За исключительную честность ее назначили распределять продукты между госпиталями блокадного Ленинграда. Вот на какой работе она была! А в феврале сорок второго ее вывезли по ледовой Дороге Жизни, умирающую от голода... Я всю жизнь об этом помнила. И мои дети тоже.

Мама нашла нас через моего друга детства, которому я продолжала писать в Самарканд. Она приехала, и у нас опять была семья. Когда закончились полевые работы и мы, пригнав на ремонт машины, снова стали работать в МТС, мама вдруг сказала:

— Я думаю, что тебе надо идти в школу.

Я не сразу поняла, что мне там делать, если по поводу успеваемости сестренки, так она учится на пятерки. Мама разъяснила:

— Не я же за тебя буду кончать десятый класс?

Вы даже не представляете себе, как после всего пережитого было странно оказаться за школьной партой, решать задачки, писать сочинения, зубрить немецкие глаголы, вместо того чтобы бить фашистов! И это когда враг вышел к Волге!

Я пошла в школу. Надо было подождать совсем немного: через четыре месяца мне должно было сравняться семнадцать лет. И уж тогда никто не завернет меня домой! Но до двадцать пятого декабря, до дня моего рождения, ждать не пришлось. Сталинградский обком комсомола (а наше село вошло в Сталинградскую область) обратился с призывом к молодежи добровольно вступать в ряды защитников Сталинграда.

В райкоме все прошло гладко, а в военкомате пришлось повоевать. Из-за возраста, из-за зрения. Но первое помогло второму. Когда речь зашла о неполных семнадцати, я обозвала военкома бюрократом и объявила голодовку. Села с ним рядом и двое суток не сдвинулась с места, отодвигая предлагаемый им кусок хлеба и кружку кипятку. Пригрозила, что умру с голодухи, но сначала напишу записку, кто виноват в моей смерти. Не думаю, что он испугался, но все-таки направил меня на медкомиссию. Все это происходило в одной комнате. И когда врач, проверив зрение, развела руками, военком рассмеялся и сказал, что я зря голодала. Но я ответила, что это я из-за голодовки ничего не вижу. Отойдя к окну, поближе к злосчастной таблице, я разревелась. И ревела до

тех пор, пока не выучила нижние строки. Потом утерла слезы и сказала, что готова еще раз пройти комиссию. И прошла.

Десятого ноября сорок второго года, запасшись, как было приказано, продуктами на десять суток, мы (человек двадцать пять девчонок) забрались в кузов потрепанного грузовика, по-моему, того самого, на котором нас сюда привезли, и запели „Дан приказ“, заменив слова „на гражданскую войну“ словами „защищать свою страну“.

Из Камышина, где мы приняли присягу, по левому берегу Волги шли пешим маршем до самого Капустина Яра. Там размещался запасной полк. И там, среди тысяч мужчин, даже как-то затерялись. „Покупатели“, во всяком случае, старались нас не замечать.

В пути я подружилась с Аннушкой Ракшенко и Асей Басиной. Обе они никакой специальности не имели, я же свою считала невоенной. И потому, кого бы ни окликали, мы трое дружно делали три шага вперед, полагая, что на месте любую специальность освоим быстро. Но нас обходили.

Но когда мы шагнули в ответ на команду: „Шофера, трактористы, механики — три шага вперед!“, „покупателю“, а это был молодой старший лейтенант, не удалось пройти мимо. Я сделала не три шага, а пять, и он остановился, молча уставившись на меня.

— Почему вы отбираете только мужчин? Я тоже трактористка!

Он удивился:

— Нее может быть. А ну — порядок работы тракто

ра.



— Один, три, четыре, два.

— А подшипники плавила?

Я честно призналась, что два шатуна расплавила вчистую, добавив, что это поначалу, по неопытности.

— Хорошо. Беру. За честность. — И, кивнув, пошел дальше.

Вместе со мной, упрямо стиснув зубы, шагнули Аннушка и Ася. Старший лейтенант сделал вид, что так и надо.

Командир части, знакомясь с пополнением, задал старшему лейтенанту вопрос:

— Ты зачем привез этих девочек?

Тот, смутившись, ответил, что ему стало нас жалко: попадут куда-нибудь, перебыют, как куропаток.

Командир части, помолчав, вздохнул и сказал:

— Хорошо. Одну — на кухню, другую. — на склад, кто пограмотнее — в штаб писарем.

Самой „грамотной“ была я, но работать писарем! И я, забыв все, прямо-таки взвилась:

— Мы — добровольцы! Шли защищать Родину. Мы пойдем только в боевые подразделения...

Наверное, у меня был решительный вид, потому что полковник сразу сдался:

— В боевые так в боевые. Двоих — в летучку, на станки, а эту, языкастую, — на сборку моторов. Если за месяц не научится собирать моторы с закрытыми глазами и не уложится в нашу норму, пойдет, куда прикажу. Думаю, что она сама еще попросится в писари...

Так началась наша служба в сорок четвертой автобронетанковой полевой мастерской.

Никогда не представляла себе, что армия — такое огромное и сложное хозяйство, что от переднего края далеко вглубь тянутся нескончаемые связи и каждое звено должно работать безотказно. Как воздух, фронту были нужны машины. Мы привыкли к поднятым на пьедесталы танкам и торпедным катерам. А на выезде из Запорожья, если ехать в наш Бердянск, стоит, застыв на ветру, обыкновенный грузовик. И вместе со значками „Отличный стрелок“, „Отличный связист“ и прочие был учрежден в годы войны и значок „Отличный шофер“. Фронтовые водители совершали чудеса на своих видавших виды машинах. Они привозили их в нашу мастерскую в таком виде, что сами удивлялись: как она шла? Уму непостижимо!

Мы были заводом на колесах. На машинах, их звали летучки, — станки: фрезерные, расточные, шлифовальные, токарные; электростанция, заливка, вулканизация. На станках работали по два человека. Каждый по двенадцать часов без единой минуты передышки. На обед, ужин, завтрак подменял напарник. Если подходила очередь кому-то идти в наряд, значит, оставшийся работал двадцать четыре часа. Труднее всего было на сборке. Здесь смен не было. Боевое задание — в сутки мотор. Работа не прекращалась и под бомбежкой. Умирили, обняв моторы... Работали в снегу, в грязи. И не было ни единого случая самой мелкой недоделки.

Через месяц командир части устроил настоящий экзамен. Я с честью выдержала его: собранный за двадцать три часа мотор работал на испытательном стенде как часики...

На построении части был зачитан приказ о присвоении мне звания младшего сержанта.

— Ну что? — сияла я от счастья. — Кто кому теперь котелки мыть будет? Встать как положено! Ленька, беги за обедом! Рядовой Васильев, вы стали плохо слышать?

Однажды, по-моему, это было в Зимовниках, я только пришла прилечь на пару часов, как началась бомбежка. Подумав, что лучше пусть меня убьют, чем испорчу себе такую радость, как двухчасовой сон, я повернулась на другой бок и прикрыла уши. Но тут среди грохота рвавшихся неподалеку бомб вдруг различила какой-то стук, раздавшийся совсем рядом. Сейчас должно рвануть, но взрыва не было. Значит, не разорвалась, можно спать, и я провалилась в глубокий сон.

У меня чувства страха не было. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Только после самых яростных налетов дергал зуб, в котором была дырочка. Да и то недолго. Я бы до сих пор считала себя страшно храброй, если бы спустя пять лет после войны не была вынуждена из-за постоянных, нестерпимых и совершенно непонятных болей в самых разных точках своего организма обратиться к специалистам. И опытейший невропатолог, спросив, сколько мне лет, сказал изумленно:

— К двадцати четырем годам разрушить всю свою вегетативную нервную систему! Как же вы жить собираетесь?

Я ответила, что жить собираюсь хорошо, что все трудное у меня позади — и война, и учеба.

Все это будет потом, в моей послевоенной жизни... Да, я осталась жива, но прошло всего несколько дней моей гражданской жизни, и у меня опухли суставы, отказа

ла и стала страшно болеть правая рука, еще более ухудшилось зрение, опущенной оказалась почка, смещенной печень и, как выяснилось позже, вчистую разрушенной была вегетативная нервная система. Но я всю войну мечтала что буду учиться. И университет стал для меня вторым Сталинградом. Я окончила его на год раньше, иначе не хватило бы сил. Как в войну, четыре года в шинели и до белизны вылинявшей гимнастерке, на одну стипендию... С первым сыном я поднимала одну специальность — гидролог, со вторым другую — журналистику. Слишком много сил забрала война, организм был подорван. Рождение второго моего мальчика стоило мне утраты зрения в левом глазу. А гидрологу нужно бинокулярное зрение. Пришлось начинать жизнь с нуля...

Я почему об этом рассказываю? Если у каждой из нас до войны жизнь была с гулькин нос, то после войны — вся. И об этой послевоенной жизни нельзя не вспомнить, потому что ключ к ней был вручен нам войной. Из войны я вынесла веру в неограниченные возможности человеческого духа. И после всего пережитого не знаю, есть ли что-нибудь такое, чего человек не смог. Вот очень сильное у меня это чувство осталось...”

Вспоминается урок физики: если положить среди хаоса железных опилок магнит, мгновенно получаешь определенный рисунок. И я думаю о том, какими похожими война сделала даже не сотни, а тысячи девичьих судеб. И, выбрав несколько этих судеб, решаюсь опустить, да простят мне женщины, десятки других рассказов о том, как “воевали, не стреляя”, как тяжка и страшна война даже в своей обыденности. Хотя каждая человеческая жизнь сама по себе значительна. И эта книга могла

бы быть бесконечной. И назвать ее надо было бы — народной.

# **“Требовался солдат... А хотелось быть еще красивой...”**

То, о чем эта глава, как будто уже было, потому что о чем бы женщины ни говорили, они невольно вспоминали и о наивных девичьих ухищрениях, своих маленьких секретах, как даже в “мужском” быте войны, в “мужско-м” деле войны старались не изменить своей женской природе, своему женскому естеству. Но раньше они рассказывали об этом вскользь, часто отбрасывая как не главное, а сейчас будут откровеннее и подробнее. Что такое быт на войне? Там даже бытом его не назовешь, скорее, бытием, потому что слишком рядом было небытие. Но человек не может жить только войной, страхом смерти, а тем более женщина. Не раз я замечала, что женщины даже по прошествии почти сорока лет сохраняли в памяти большое количество мелочей военного быта, которые, как признавался муж одной из моих героинь, тоже фронтовик, он забывал в тот же день или через день, а уж во всяком случае не носил в памяти десятки лет. Женщина же сберегала. Видно, потому, что для нее, дающей жизнь, прелесть бытия самоценна. Неизбывна даже в кромешном аду. Она и там хотела остаться женщиной и должна была остаться женщиной.

Из воспоминаний Марии Николаевны Щелоковой, сержанта, командира отделения связи:

“Жили в земле, как кроты. Но какие-то безделушечки у нас, весной веточку принесешь, поставишь. Посмотришь на все и подумаешь: а ведь завтра тебя может и не

быть. И запоминаешь-запоминаешь... Девочке одной прислали из дому платице шерстяное. Мы завидовали, хотя носить свое платье не разрешалось. А старшина, что значит мужчина, ворчал: „Лучше бы тебе простынку прислали, полезнее". У нас простыней не было, подушек не было. Мы спали на ветках. А у меня были припрятаны сережки.

Когда меня первый раз контузило, я не слышала и не говорила. Сказала себе: если не восстановится голос, брошусь под поезд... Я так пела, а вдруг голоса нет. Но голос вернулся.

Счастливая я, сережки надела. Прихожу на дежурство — кричу от радости:

— Товарищ старший лейтенант, докладывает дежурная такая-то...

— А это что?

— Как что?

— Вон отсюда!

— В чем дело?

— Немедленно выдернуть сережки! Что это за солдат!..

Старший лейтенант был очень красивый. Все наши девчонки были в него немножко влюблены. Он нам говорил, что из нас требуются солдаты и только солдаты. Нужен был солдат... А хотелось быть еще красивой... Я всю войну боялась, чтобы не попало в ноги, не покалечило. У меня красивые были ноги. Мужчине — что? Ему не важно, если даже попадет. А женщину покалечит, так это судьба ее решится."

Рассказывает военный хирург Вера Владимировна Шевалдышева:

“...Присутствие женщин облагораживало мужчин. Если ты где-то появляешься, у них светлеют лица. Например, они узнают, что санинструктор будет делать медицинский осмотр, — стараются вычистить свою одежду, землянку уберут. Я всю войну улыбалась, я считала, что должна улыбаться как можно чаще, что женщина должна светить. Перед отправкой на фронт старый профессор нам так говорил: „Вы должны каждому раненому говорить, что вы его любите. Самое сильное ваше лекарство — это любовь. Любовь сохраняет, дает силы выжить“. Лежит раненый, ему так больно, что он плачет, а ты ему: „Ну, мой миленький. Ну, мой хорошенький...” — „Ты меня любишь, сестричка?..“ (Они нас всех, молоденьких, звали сестричками.) — „Конечно, люблю. Только выздоравливай скорей“. Они могли обижаться, ругаться, а мы, медперсонал, никогда. За одно грубое слово у нас наказывали вплоть до гауптвахты.

А все же на войне женщине трудно, очень трудно. Даже вот в юбке залезть на машину, кода одни мужчины кругом. А грузовики высокие, специальные санитарные машины. Заберись на самую макушку!”

Надежда Васильевна Алексеева, рядовая, телеграфистка:

“Дали нам вагоны. Нас двенадцать девчонок, остальные все мужчины. Десять-пятнадцать километров проедем, и поезд стоит. Десять-пятнадцать километров... Опять нас в тупик...

Мужчины разложат костер, трясут вшей, сушатся. А нам где? Побежим за какое-нибудь укрытие, там и раздеваемся. У меня был свитерочек вязаный, так вши сидели



на каждом миллиметре, в каждой петельке. Посмотришь, затошнит. И что делать? Не буду же я вместе с мужчинами вшей жарить. Стыдно. Выбросила свитер и осталась в одном платице. На какой-то станции чужая женщина вынесла мне кофточку, туфли старые.

Долго ехали, а потом еще долго шли пешком. Был мороз. Я шла и все время держала зеркальце: не обморозилась ли? К вечеру вижу, что обморозила щеки. До чего глупая была... Слышала, что когда обморозишь щеки, то они белые. А у меня красные-красные. Думаю, что пусть бы они всегда у меня были обмороженные. А назавтра они почернели."

"По девятнадцать лет нам было, — вспоминает Анастасия Петровна Шелег, младший сержант, аэростатчица. — Девчонки! Пошли в баню, а при бане парикмахерская работала. Ну и друг на дружку глядя, брови все покрасили. Как дал нам командир: „Вы воевать или на бал приехали?". Всю ночь плакали, оттирали. Одна наша девчонка, помню, курить решила. Командир заметил, на гауптвахту посадил. Очень строгий был."

На войне как на войне. Иной спрос, иная мера самоотдачи, мобилизованности душевной. Каково же им, семнадцатилетним-восемнадцатилетним, было преодолевать в себе женское и от детско-юных впечатлений переключиться сразу на высокое, чисто мужское понимание долга?

Этот вопрос на встрече выпускников военно-инженерного училища я задала Станиславе Петровне Волковой. В войну у нее была сугубо мужская работа — минировать и разминировать дороги, проходы на минных полях, здания. К тому же она была не рядовой сапер, а командир саперного взвода. Женщин-командиров саперных

взводов был только один выпуск в сорок втором году: набрали восемьдесят человек, окончили училище семьдесят пять. Все попросились на фронт.

Станислава Петровна Волкова, лейтенант, командир саперного взвода:

“Когда попала в училище, там сразу военная дисциплина: и на учении, и в строю, и в казарме — все по уставу. Поблажек нам как девушкам никаких не было. Только и слышалось: „Прекратить разговор!“, „Разговорчики!“. Вечером рвешься посидеть, повышивать... Ну, что-то женское сделать... Не разрешалось ни в коем случае. А мы остались без дома, без домашних хлопот, и было как-то не по себе...

Давали только час отдыха: сидели в ленинской комнате, писали письма, можно было постоять вольно, поговорить. Но ни смеху, ни громкого крика — это было не положено.

— Песню можно было спеть?

— Нет, нельзя.

— А почему нельзя?

— Не положено. Вот в строю иди, пой, если дадут команду. Команда: „Запевала, запевай!“.

— А так нельзя?

— Нельзя. Это не по уставу.

— Трудно было привыкать?

— Мне кажется, я к этому и не привыкла. Только успеешь уснуть, вдруг: „Подъем!“. Как ветром сдувает нас с постелей. Начинаешь одеваться, а у женщин одежек больше, чем у мужчин, то одно летит из рук, то другое.

Наконец ремень в руки — и бегом к раздевалке. На ходу хватаешь шинель и мчишься в оружейную комнату. Там надеваешь чехол на лопату, продергиваешь через ремень, надеваешь подсумок на него, кое-как застегиваешься. Хватаешь винтовку, на ходу закрываешь затвор и с четвертого этажа по лестнице буквально скатываешься вниз. В строю приводишь себя в порядок. И на все на это даются считанные минуты.

А это уже на фронте... Сапоги у меня на три размера больше, загнулись, пыль в них въелась. Хозяйка принесла два яйца: „Возьми в дорогу, такая худенькая, что скоро переломишься“. А я тихонько, чтобы она не видела, разбила эти два яйца, они маленькие были, и почистила сапоги. Конечно, хотелось есть, но победило женское — хотелось быть красивой.

Теперь на наши встречи только одна всегда приезжает в военной форме. Только она ее сохранила, больше никто. Вы не знаете, как шинель трет, какое это все тяжелое, какое это все мужское: и ремень, и все. Особенно я не любила, что шинель шею трет, и еще эти сапоги. Шаг менялся, все менялось.”

Было и смешное, веселое, но все равно трудное.

Мария Николаевна Степанова, майор, начальник связи в батальоне стрелкового корпуса:

“Получили обмундирование. Старшина построил:

— Выровнять носки.

Мы выравниваем. Носки ровные, а сами-то мы сзади, потому что сапоги сорокового — сорок первого размеров, а он:

— Носочки, носочки!

А потом:

— Курсантки, грудь четвертого человека!

У нас это, конечно, не получается, и он на весь голос:

— Что вы там в карманы гимнастеров положили?

Мы смеемся.

— Отставить смех, — кричит старшина.

Чтобы четко и правильно отработать прием приветствия, все — от стульев до вывешенных плакатов — заставлял приветствовать. Ох, и намучился он с нами.

В каком-то городе привели нас строем в баню. Мужчины — в мужское отделение, а мы — в женское. Женщины кричат, кто что закрывает: „Солдаты идут!“. Нас не различишь — девчонки мы или мальчишки: мы и подстрижены, и форма на нас военная. А другой раз пошли в туалет, женщины милиционера привели. Мы ему говорим:

— Так куда нам идти?

Он тогда давай на женщин кричать:

— Это же девчата!

— Какие то девчата, то солдаты...”

Белла Исааковна Эпштейн, работает машинисткой в одной из белорусских республиканских газет, а в войну была снайпером. Рассказывает как будто тоже смешное, а глаза полны слез.

“Нас, когда мы прибыли на Второй Белорусский фронт, хотели в дивизии оставить, мол, вы женщины, зачем вам на передовую. Мы: „Нет, мы — снайперы, нас посылайте куда положено“. Тогда они нам говорят: „По

шлем вас в один полк, там хорошим полковник, он девок бережет". Разные командиры были. Нам так и сказали.

Этот полковник нас встретил такими словами: „Смотрите, девки, приехали воевать, воюйте, а другим делом не занимайтесь. Кругом мужчины, а женщин нет. И у вас будет много поклонников. Не роняйте себя. Черт его знает, как вам еще эту штуку объяснить. Война, девки..". Он понимал, что мы еще девчонки.

В одном немецком поселке нас разместили на ночь в жилом замке. Много комнат, целые залы. Такие залы! В шкафах полно красивой одежды. Девочки — каждая платье себе выбрала. Мне желтенькое одно понравилось и еще халат, не передать словами, какой это был красивый халат — длинный, легкий... Пушинка. А уже спать надо ложиться, все устали страшно. Мы надели эти платья и легли спать... Оделись в то, что нам понравилось, и тут же заснули. Я легла в платье и халат еще наверх.

Утром встали, сняли все, надели опять свои гимнастерки, брюки. Ничего с собой не взяли. Нельзя. Ложку за голенище воткнешь, и все..."

А в другой раз в брошенной шляпной мастерской девчонки выбрали себе по шляпке и, чтобы побыть в них хотя бы немного, спали всю ночь сидя. Жаль, что фронтовые кинооператоры не сохранили для нас эти кадры, предпочитая снимать бои, железные потоки войск и техники. Но, видно, в те героические дни быт казался чем-то мелким, незначительным, и то, что мы сегодня об этом сожалеем — свойство человеческой памяти, — через расстояния многих лет одни события и детали укрупнять, другие — уменьшать. И укрупняется человеческое, интимное, то, что можно назвать человеческой жизнью в нечеловеческих условиях.

Наверное, поэтому телеграфистка Зинаида Прокофьевна Гомарева с такой благодарностью вспоминает сегодня полковника Птицына, которого все девчата в полку звали “Батей”:

“Он берег нас, он понимал нашу женскую душу. Под Москвой, это же отступление, самое страшное время, а он нам говорит:

— Девушки, Москва рядом. Я привезу вам парикмахера. Красьте брови, ресницы, завивки делайте. Я хочу, чтобы вы были красивыми.

И привез какую-то парикмахершу. Мы сделали завивки, покрасились. И такие счастливые были...”

И это женское — как выглядишь — часто было не только сильнее чувства голода, усталости, желания сна, но и страха смерти.

Вот как об этом вспоминает санинструктор Софья Константиновна Дубнякова:

“...На Ладожском озере попали под сильный обстрел. Кругом вода, ранят — человек идет сразу ко дну. Я ползаю, перевязываю, подползла к одному, у него ноги перебиты, сознание теряет, но меня отталкивает и в свой „сидор“ — мешок, значит, лезет. НЗ свой тянет и есть хочет... А мы, когда пошли по льду в наступление, получили продукты. Я хочу его перевязать, а он — в мешок лезет и ни в какую: мужчины как-то очень трудно голод переносили.

А у меня другие мысли были. Я боялась некрасивой лежать после смерти. Только бы не разорвало на куски снарядом... Я такое видела...”

“Бежим по грязи, люди падают в эту грязь. Так не хочется погибать в такой обстановке. Ну, как молодой девушке лежать в такой грязи? А в другой раз, это уже в оршанских лесах, там мелкие кусты с черемухой. Подснежники голубые. Весь лужок в голубом цвете... Погибнуть бы вот в таких цветах! Дурошлеп еще, семнадцать лет... Это я себе так смерть представляла...” (Любовь Ивановна Осмоловская, рядовая, разведчица).

Надо еще представить обстановку, в которой они жили, и жили не месяц, не два, а годами, всю тяжесть физических и душевных перегрузок, обрушившихся на них, опасность, которой подвергались ежедневно, чтобы понять, какой ценой им удавалось сохранить эти женские привычки, милые юные странности. Добавим к этому совсем другое настроение тех дней, когда каждая минута, отданная своему личному, казалась незаконной.

Прежде чем об этом расскажет штурман Александра Семеновна Попова, летавшая на “По-2”, я хочу дать слово Герою Советского Союза, заслуженному летчику-испытателю Марку Галлаю:

“Что такое один вылет?”

Это — огонь зенитных средств всех калибров, до автоматного огня включительно („По-2” работали на предельно малых высотах, порой на бреющем полете), это — ночные истребители противника, это — слепящие прожектора, а зачастую это еще и непогода: низкая облачность, туман, снег, обледенение, штормовой, бросающий легкую машину с крыла на крыло, вырывающий ручку управления из рук ветер...

Причем все это — на „По-2", маленьком, тихоходном и к тому же легко воспламеняющемся и горящем, как спичка, как сухой порох...

Надо ли было пускать девушек на войну? Не знаю...

Но восхищаюсь ими безмерно".

“Ночные ведьмы” — так писала фашистская печать о наших летчицах, утверждая, что это женщины-бандиты, выпущенные из тюрем.

А вот какие они были.

В Ессентуках Александру Семеновну Попову знает каждый. Когда я не застала ее дома, соседи подсказали, что найти ее можно в местном краеведческом музее: “Как пошла на пенсию, так только там ее и ищи. Людей к нам приезжает много, и все хотят познакомиться с ней, послушать. Один раз летела она в Москву, так на пропускном контроле ее задержали: „Что у вас в чемодане металлическое?". А там у нее один жакет лежал, но весь в золотом металле... Не каждый мужчина имеет столько наград, как она.”.

Александра Семеновна действительно сидела в одной из маленьких музейных комнат и вязала что-то малиновое, детское. Объяснила: “Пока экскурсии нет, отдыхаю. Две-три экскурсии в день — это опять два-три раза я на войне побываю. Меня подруга научила: „Хочешь успокоить нервы, возьми спицы в руки”.”

Спицы в ее больших сильных руках казались игрушечными.

Александра Семеновна Попова, гвардии лейтенант, штурман:



“В мае сорок второго года мы вылетели на фронт. Нам дали самолет „По-2“. До войны на нем училась летать молодежь в аэроклубах, но никто не мог и подумать, что его будут использовать в военных целях. Самолет был деревянной конструкции, сплошь из фанеры, обтянутой перкалью. Достаточно было одного прямого попадания, как он загорался — и сгорал в воздухе, не долетая до земли. Единственная солидная металлическая деталь — это сам мотор М-П.

Потом уже, под конец войны, нам дали парашюты и поставили пулемет в кабине штурмана, а до этого не было никакого оружия, четыре бомбодержателя под нижними плоскостями — и все.

Вы спрашиваете, как мы выдерживали? Я вам расскажу...

Перед уходом на пенсию я заболела от одной этой мысли: как это я не буду работать? Приехал врач, сделали мне кардиограмму, и меня спрашивают:

— Вы когда перенесли инфаркт?

— Какой инфаркт?

— У вас все сердце в рубцах.

А эти рубцы, видно, с войны. Ты заходишь над целью, тебя всю трясет. Все тело покрывается дрожью, потому что внизу огонь: истребители стреляют, зенитки расстреливают... Несколько девушек вынуждены были уйти из полка, не выдержали. Летали мы в основном ночью. Какое-то время нас попробовали посылать на задания днем, но тут же отказались от этой затеи. Наши „По- 2“ подстреливали из винтовки...

Делали до двенадцать вылетов за ночь. Я видела Покрышкина, когда он прилетал из боевого полета. Это был крепкий мужчина, ему не двадцать лет и не двадцать три, как нам: пока самолет заправляли, техник успевал снять с него рубашку и выкрутить. С нее текло, как будто он под дождем был. Можете себе представить, что было с нами. Прилетишь и не можешь даже из кабины выйти, нас вытаскивали. Не могли даже планшет нести, тянули по земле.

Самолет после выполнения задания оставался на земле несколько минут и снова — в воздух. Представьте себе наших девушек-оружейниц! Им надо было за эти несколько минут четыре бомбы — это четыре сотни килограммов — подвесить к машине вручную. Организм до такой степени перестраивался, что мы всю войну женщинами не были... Никаких у нас женских дел не было... Ну, вы сами понимаете... А после войны не все смогли родить...

Мы все курили. И я курила, такое чувство, что ты немножко успокаиваешься. Прилетишь — тебя всю трясет, закуришь — успокоишься. Ходили мы в кожанках, брюках, гимнастерке, зимой еще меховая куртка. Поневоле и в походке, и в движениях появлялось что-то мужское. Когда кончилась война, нам сшили платья хаки. Мы вдруг почувствовали, что мы девчонки..."

Триста шестьдесят пять боевых вылетов сделала штурман Александра Семеновна Попова. Летала на Керчь, Севастополь, Брест, Варшаву, Берлин. После войны тридцать лет работала геологом. В пятьдесят лет поступила во второй институт и окончила его. Стала историком. "Увидела, что с годами не могу быть хорошим геологом. Хороший геолог всегда в поле, а у меня уже

силы не те. Работаю сейчас учительницей. Там молодежь, а с ней никогда не состаришься. Из нашего полка Женя Жигуленко в пятьдесят четыре года поступила во ВГИК и окончила режиссерский факультет. Сейчас снимает фильм о нашем полку. Вот какие у нас девчата...”

С Софьей Адамовной Кунцевич мы встретились через несколько дней после вручения ей золотой Международной медали “Флоренс Найтингейл”. Она ждала меня в библиотеке Минского технологического института, где работает вот уже тридцать лет: “Все давно разойдутся, а я сижу, всегда работа найдется. В квартиру приду — одна, а тут — с книгами...” Подарки, диплом и сама Золотая медаль хранятся тут же, в ящиках с книжными карточками. Здесь и военные фотографии, сбереженные фронтовые газеты. “Вся моя жизнь, я вам признаюсь, здесь. На людях...”

Софья Адамовна Кунцевич, старшина, санинструктор стрелковой роты:

“Молодые пришли меня поздравлять и удивляются: „Как это вы могли вытащить сто сорок семь раненых? Посмотришь: такая худенькая на военных фотографиях...” Да, я их, может, двести вытащила, кто тогда считал. Мне это и в голову не приходило, мы этого не понимали. Идет бой, люди истекают кровью, а я буду сидеть и записывать. Я никогда не дожидалась, когда кончится атака, я ползала во время боя и подбирала раненых. Если у него осколочное ранение, а я приползу к нему через час-два, то мне там нечего делать, человек останется без крови.

Три раза раненая и три раза контуженная. На войне кто о чем мечтал: кто домой вернуться, кто дойти до Берлина, а я одного хотела — дожить бы до дня рождения,

чтобы мне исполнилось восемнадцать лет. Почему-то мне страшно было умереть раньше, не дожить даже до восемнадцати. Ходила я в брюках, в пилотке, всегда оборванная, потому что всегда на коленках ползешь, да еще под тяжестью раненого. Не верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти. Это мечта была. Приехал как-то командир дивизии, увидел меня и спрашивает: „А что это у вас за подросток? Что вы его держите? Его бы надо послать учиться...“.

Помню, не хватает бинтов... Такие страшные пулевые ранения, что кладешь на рану пакет. С себя все нижнее разорвала и ребятам говорю: „Давайте снимайте кальсоны, нижние рубашки, у меня люди погибают“. Они поснимали, порвали на куски. Я их не стеснялась, вот как будто с братьями, мальчишечкой среди них жила. Идем, держимся втроем за руки, и средний спит час-два. Потом меняемся.

Год назад пригласили меня в Югославию, я увидела там столько знакомых могил... Там на фотографиях такие молодые лица... Все они в земле... Я там перед каждой могилой на колени становилась...”

Как-то сошлись, а вернее съехались — из Минска, из Борисова, из Витебска — в моем редакционном кабинете четыре когда-то военных женщины: Клара Семеновна Тихонович, Мария Нестеровна Кузьменко, Клара Васильевна Гончарова и Мария Семеновна Калиберда. Говорили, вспоминали обо всем, а в конце — об интимном, женском. И это интимное, маленькое вдруг по-человечески подсветило высокое. С убеждением, что это что-то больше просто быта, просто женского разговора, включаю я эти доверительные откровения в общее повествование.

Клара Семеновна Тихонович, сержант, зенитчица:

“Мне недавно один из молодых говорит, что это было мужское желание — пойти воевать. Нет, это было человеческое желание. Шла война, я жила обыкновенной жизнью, но соседка получила письмо — мужа ранило, лежит в госпитале. Я подумала: „Он ранен, а вместо него кто?“. Пришел один без руки — вместо него кто? Второй вернулся без ноги — вместо него кто? Я писала, просила, умоляла взять меня в армию. Так мы воспитывались, что без нас ничего не должно быть. Раз началась война, мы обязаны чем-то помочь. Нужны медсестры, значит, надо идти в медсестры. Нужны зенитчицы, значит, надо идти в зенитчицы. А то, что ты чувствуешь, то, что тебе придется перенести, то уже другое дело.

Хотели ли мы на фронте быть похожими на мужчин? Первое время очень хотели; сделали короткие стрижки, даже походки изменили. А потом нет, шиш! Потом так захотелось краситься, сахар не ешь, а бережешь, чтобы челочку им накрахмалить. Мы были счастливы, когда доставали котелок воды вымыть голову. Если долго шли, искали мягкой травы. Рвали ее и ноги натирали, они у нас зеленые были. Мы же свои особенности имели, девчонки. Хорошо, если старшина был пожилой человек и все понимал, не забирал из вещмешка лишнее белье, а если молодой, обязательно выбросит лишнее. А какое оно лишнее для девчонок, которым надо бывает два раза в день переодеться. Мы отрывали рукава от нижних рубашек, а их ведь только две. Это только четыре рукава...”

Клара Васильевна Гончарова, рядовая, зенитчица:

“До войны я любила все военное. Обращалась в авиационное училище, чтобы прислали правила приема. Мне шла военная форма. Любила строй, четкость, отры

вистые слова команды. Из училища мне ответили: „Окончите сначала десять классов“.

Конечно, когда началась война, с моими настройками я не могла сидеть дома. Но на фронт меня не брали. Никаким образом, потому что мне шестнадцать лет. Военком говорил, мол, что подумает о нас враг, если война только началась, а мы таких детей берем на фронт, девочек несовершеннолетних.

— Врага бить надо.

— Без вас разобьют.

Я убеждала его, что я высокая, что мне никто не даст шестнадцать лет, а обязательно больше. Стою в кабинете, не ухожу: „Напишите восемнадцать, а не шестнадцать лет“. — „Это ты сейчас так говоришь, а потом что скажешь?..“

А после войны я уже не хотела, вот уже как-то не могла пойти ни по одной военной специальности. Хотелось скорее снять с себя все защитное. И надеть что-то обыкновенное, женское. К брюкам у меня до сих пор отвращение. Не могу даже в лес за грибами их надеть, не хочу и духу. Ни зеленого, ни защитного цвета не люблю. Как отрезало, сразу после войны...”

Клара Васильевна Гончарова запомнила усталого военкома, винившегося перед ней, девчонкой: “Это сейчас ты мне так говоришь, а потом что скажешь?”. Непросто ему было отправлять наивных девчонок в ад, в пекло. Они не знали, что их ждет, а он-то, кадровый офицер, знал. Чувство вины перед женщинами за то, что они тоже оказались на войне, было у многих мужчин.

Мария Нестеровна Кузьменко, старший сержант, вооружейница:

“Войну мы почувствовали немного в тот день, когда окончили училище и к нам приехали „покупатели“, так называли тех, кто приезжал из частей, отосланных на перестроение, к нам в училище за новыми людьми. Это были всегда мужчины, очень чувствовалось, что они нас жалеют. Мы на них одними глазами смотрели, они на нас — другими: мы рвались из шеренги вперед, скорей бы нас взяли, заметили, скорей бы нам себя проявить, а они усталые, они на нас смотрели, зная, куда они нас отправляют.

Полк мужской, всего двадцать две женщины. Это восьмисот семидесятый дальнебомбардировочный полк. Взяли дома две-три пары белья, много не наберешь. Разбомбили нас, остались в чем стоим, в чем убежать успели. Мужчины пошли на пересыльный пункт, их там переодели. А нам ничего нет. Дали нам портянки, мы из них трусики, бюстгалтеры пошили. Командир узнал, нас выругал.

А нам нужно... Смотрим, солдаты повесили на кустах свои рубашки. Мы пару штук стащим с кустов... Они потом уже догадывались, смеялись: „Старшина, дай нам другое белье... Девушки наше забрали...“.

Мария Семеновна Калиберда, сержант, связистка:

“Мы хотели быть равноправными, чтобы о нас не сказали: „Ах, эти женщины!“ И мы старались больше, чем мужчины. Мы еще должны были доказать, что мы не хуже мужчин. А к нам долго было такое высокомерное, снисходительное отношение: „Навоют эти бабы...“. Ко

нечно, с женщиной больше забот, чем с мужчиной, труднее. У нее психология, физиология — все другое.

Идем мы. Человек двести девушек. Жара стоит, лето, и после нас вот такие красные пятна на песке... Ну, как ты тут что спрячешь? Солдаты идут следом и делают вид, что не видят, не замечают. Я помню, как мы долго шли, километров сорок шли к переправе. Дошли до переправы, и нас стали бомбить. Бомбежка жуткая, все — кто куда прятаться. А я бомбежки не слышу, я залезла под лодку и сидела, пока не отмокла. Мне даже бомбежка уже не страшная. Вот что с нами было... Мы все остались простуженные, мы все сегодня больные. Знаете, организм женский все-таки нежный. Война не только нашу молодость забрала, она материнство у многих вырвала. Лишила девочек самого великого женского счастья...

Но мы остались живы, судьба нас так наградила. Я первое время иду по улице — и не верю, что Победа. Я сяду за стол — и не верю, что Победа. Я включу радио — и не верю, что Победа. Я не ушла из армии, я почти сорок лет была солдат. Только год, как на пенсии.

А сейчас война еще страшнее — за детей, за внуков страшно”.

Эти три рассказа связались у меня еще с одним, который услышала в деревне Тресковщина Минского района.

Анна Николаевна Хролович, гвардии лейтенант, фельдшер:

“Освобождали мы уже Латвию, были под Даугавпилсом. Это ночь, я только прилечь собралась. Слышу, часовой кого-то окликает: „Стой! Кто идет?”. И буквально через десять минут меня зовут к командиру. Захожу в ко



мандирскую землянку, там сидят наши товарищи и какой-то мужчина в штатском. Я хорошо запомнила этого человека. Все годы видела мужчин только в военном, в хаки, а этот был в черном пальто с плюшевым воротником.

— Нужна ваша помощь, — говорит мне этот мужчина. — В двух километрах отсюда рождает моя жена. Она одна, больше в доме никого нет.

Командир спрашивает:

— Это на нейтральной полосе. Сможете пойти? Сами знаете, что небезопасно.

— Рождает женщина. Я должна ей помочь.

Дали мне пять автоматчиков. Напаковала сумку перевязочного материала, были у меня новые фланелевые портянки, тоже взяла с собой. Пошли. Все время обстреливают — то недолет, то перелет. И лес такой темный, что луны даже не видно.

Наконец появился силуэт какого-то строения. Это был хутор. Когда мы зашли в дом, я увидела женщину. Она лежала на полу, вся в каких-то старых тряпках. Муж стал сразу завешивать окна. Два автоматчика — на дворе, два — у дверей, один мне фонариком освещает. Женщина еле сдерживала стоны, ей было очень больно. Я все время просила ее:

— Потерпите, родненькая. Нельзя кричать. Терпите...

Это же нейтральная полоса. Если противник заметит что-нибудь, то нас забросают снарядами. Но когда солдаты услышали, что ребенок родился... „Ура! Ура!“ Тихо так, почти шепотом. На передовой родился ребенок!

Принесли воды. Кипятить негде было, обтерла ребеночка холодной. Завернула в свои портянки. В доме ничего не было, только старые тряпки, на которых лежала мать.

И так я приходила на этот хутор несколько ночей. Последний раз пришла перед наступлением и говорю:

— Больше я к вам прийти не могу, уезжаю.

Женщина о чем-то спросила мужа по-латышски. Он перевел мне:

— Жена спрашивает, как вас зовут?

— Анна.

Женщина опять что-то сказала. И муж снова перевел:

— Она говорит, что очень красивое имя. И в вашу честь мы назовем свою дочь Анной.

Женщина немного приподнялась — встать она еще нее могла — и протянула мне красивую перламутровую пудреницу. Это была, видно, ее самая дорогая вещь.

Я открыла пудреницу, и этот запах пудры ночью, когда кругом стреляют, рвутся снаряды... Это было что-то такое... Я и теперь плакать хочу... Запах пудры, эта перламутровая крышечка... Маленький ребенок... Девочка... Что-то такое домашнее, что-то из настоящей женской жизни..."

Они должны были, они старались остаться женщинами, и в то же время им надо было утверждать свое равноправие среди мужчин, доказать, что они тоже могут быть солдатами: не испугаются, не заплачут, все выдержат и сумеют воевать. Это кажется сегодня невероятным, но когда, например, женский авиационный полк прибыл

на фронт, ему целых две недели... не давали боевого задания. Наземным войскам не хватает поддержки с неба, а тут пришел на фронт целый полк — впоследствии сорок шестой гвардейский Таманский — и сидит без дела! Почему?

Летчика Наталья Кравцова вспоминает о первых днях на фронте так:

“...Нелегки были первые дни на фронте. Трудности встретились как раз там, где их не ожидали. Мы готовы были ко всему: спать в сырых землянках, слышать непрерывный грохот канонады, голодать и мерзнуть — словом, переносить все лишения, какие только могло нарисовать нам воображение. Но мы никак не могли предположить, что на фронте нас встретят с недоверием.”

С тем же недоверием встретили и женщин-командиров саперных взводов, моряков, танкистов. Медики, связистки — это еще укладывалось в какие-то прежние представления, в остальных же профессиях женщинам приходилось преодолевать психологический барьер: дескать, не женское это дело.

Из Киева пришло письмо от Таисии Петровны Руденко-Шевелевой, в войну капитана, командира роты Московского флотского экипажа, ныне подполковника в отставке:

“Женщина на флоте — это было запретное, даже ненормальное. Считалось, что она приносит несчастье на корабле. Сама я родом из-под Фастова, в нашем селе до смерти маму дразнили бабы: кого ты родила — девку или парня? А я писала самому Ворошилову, чтобы меня приняли в Ленинградское артиллерийско-техническое училище

ще. И только по его личному распоряжению меня туда приняли.

Окончила училище, все равно хотели оставить на суше. Тогда я перестала признаваться, что я женщина. Спасала украинская фамилия „Руденко". Но один раз все-таки выдала себя. Занималась на палубе чем-то обычным, вдруг слышу шум, обернулась: матрос прогоняет кошку, неизвестно, как она оказалась на корабле, где, наверное, еще от первых мореплавателей шло, что кошки и женщины приносят в море несчастье. Кошке не хотелось покидать корабль, и она выделывала такие финты, что ей бы позавидовал футболист мирового класса. На корабле — смех. Но в тот момент, когда кошка чуть не свалилась в воду, я испугалась и закричала. И, видно, это был такой девичий дискант, что мужской смех разом прекратился. Установилась тишина.

Слышу голос командира:

— Вахтенный, на корабль проходила женщина?

— Никак нет, товарищ командир.

Тут вторая паника — на корабле женщина.

...Я была первая женщина, кадровый офицер Военно-Морского флота. В войну вооружала корабли, морскую пехоту. Тогда и появилось в английской прессе, что какое-то непонятное создание — не то мужчина, не то женщина — воюет у русских во флоте. И, мол, эту „леди с кортиком" никто замуж не возьмет. Меня замуж не возьмет? Нет, ошибаешься, господин хороший, возьмет, самый красивый офицер...

Я была счастливой женой и осталась счастливой матерью и бабушкой. Не моя вина, что муж погиб на войне. А флот я любила и люблю всю жизнь...”

Приведу небольшой отрывок из другого письма, которое пришло из грузинского села Цинубани, от Клавдии Васильевны Коноваловой:

“Мне исполнилось ровно двадцать лет, когда началась война. Я работала чернорабочей на цепном заводе в нашей деревне Михальчиково Кстовского района Горьковской области. Как только стали призывать мужчин и отправлять их на фронт, меня поставили на станок выполнять мужскую работу.

Среди своих сверстников я была ловкой, смелой и физически сильной. Даже не все драчуны рисковали вступить со мной в драку. Я умела постоять не только за себя, но и за своих подруг. Наверное, поэтому к концу сорок первого года меня со станка перевели в горячий цех молотобойцем, и корабельные цепи, которые я делала, по качеству ничуть не уступали тем, что делали мужчины-молотобойцы. Все мы тогда трудились под лозунгом: „Все для фронта — все для Победы”.

Я просилась на фронт, но заводское начальство под разными предлогами задерживало меня на заводе. Тогда я написала в райком комсомола и в марте сорок второго получила призывную повестку из райвоенкомата о явке на призывной пункт в город Кстов. Нас уходило несколько девушек, и провожали нас за околицу всей деревней. Плакали уходившие и провожающие, но больше всего наши мамы. А старики крутили недовольно головами и твердили: „Неважные дела на фронте, если начали баб призывать под ружье”. А мы, хотя и плакали, но больше гордились, что идем вместе с мужчинами защищать Родина

ну от врага. Тридцать километров до Горького шли пешком, а там нас распределили по разным частям. Меня направили в семьсот восемьдесят четвертый зенитный, артиллерийский полк среднего калибра.

Разместили нас в отдельной недостроенной землянке, назначили командиров из числа мужчин и начали учить. Потом показали работу батареи в целом и каждого оружия. После этого спросили, кто и где желает работать в составе боевого расчета. Мне больше всего понравилась работа на орудиях, и я попросилась в орудрасчет. Меньше чем через месяц мы уже полностью владели своими специальностями. Сдав экзамены, проводили своих учителей на передовую, а сами заняли в составах боевых расчетов их места. Первые дни было очень трудно, и главным образом в точности работы. Еще через несколько месяцев мы уже были настоящими зенитчиками и уверенно вели огонь по отражению одиночных и групповых налетов вражеской авиации.

Я в совершенстве изучила свои обязанности и начала присматриваться к работе других номеров расчета, мне хотелось быть и наводчиком по азимуту. К концу года меня назначили первым номером-наводчиком. Но мне и этого было мало, теперь мне хотелось быть заряжающим. Правда, эта работа считалась чисто мужской: надо было легко работать с шестнадцатикилограммовыми снарядами и вести интенсивный огонь с темпом пять секунд в залпе. Только не зря я работала молотобойцем. Через год мне присвоили звание младшего сержанта и назначили командиром второго оружия, в котором было две девушки и четверо мужчин. Мое положение и должность ко многому обязывали. В первую очередь своим примером я должна была доказать, что нашим советским девчонкам все доступно наравне с мужчинами. От интенсивного ог-

ня даже стволы оружия накалялись докрасна и становилось опасно вести огонь такими оружиями, приходилось, вопреки всем правилам, охлаждать их смоченными водой одеялами. Оружия не выдерживали, а люди выдерживали. Девчонки наши выдерживали. Вот какие это были девчонки! Мы не жалели себя.

Услышав по радио о Победе, я подняла расчет по тревоге и подала свою последнюю команду:

— Азимут — пятнадцать ноль-ноль. Угол возвышения — десять ноль. Взрыватель сто двадцать, тем десять!

Сама подошла к замку и начала салютовать четырьмя снарядами в честь нашей Победы после четырех лет войны.

На выстрелы выбежали все, кто был на позиции батареи, а также комбат Слатвинский. За самовольство он при всех приказал посадить меня под арест, но потом отменил свое решение. И мы все вместе салютовали теперь уже из личного оружия, обнимались и целовались. А потом плакали всю ночь и весь день...”

Из рассказа Галины Ярославовны Дубовик, партизанки двенадцатой кавалерийской партизанской бригады имени Сталина:

“Я несущу ручной пулемет, я никогда не скажу, что он тяжелый. Кто меня тогда вторым номером оставит? Не полноценный боец, надо заменить. Отшлют на кухню. А это стыдно. Не дай бог всю войну пробыть на кухне. Я бы плакала...”

— Женщин посылали на задания наравне с мужчинами?

— Нас старались не посылать. Надо было проситься или заслужить, чем-то показать себя.

— Все девушки у вас в отряде хотели непосредственно участвовать в боевых действиях?

— Хотели, быть может, все, но не все могли.

— Не всех брали?

— Ну, во-первых, не всех брали, а во-вторых, нужна была смелость, отчаянность в характере для такого дела. А на это все-таки не каждая девчонка была способна. Была у нас на кухне Валя. Она такая мягкая, кроткая, ее с винтовкой и не представишь. В крайнем случае она бы, конечно, стреляла, но на задания она не рвалась. А я хотела отомстить, я рвалась...”

Было на войне и такое, что могла сделать только женщина.

Из письма военного медика Елены Ивановны Варюхиной:

“За несколько дней до войны моего мужа направили служить в город Кобрин под Брестом. Мы с ним попрощались, и я осталась ждать пропуск, чтобы ехать к нему. И вдруг война...

Совершенно не понимая обстановки, я, как и многие другие, промчалась на почту. Думаю: „Напишу письмо“. А затем: „Нет, дам телеграмму“. И дала телеграмму следующего содержания: „Телеграфируй свое благополучие“. Сегодня это вызывает улыбку — дать двадцать второго июня телеграмму на границу: „Телеграфируй свое благополучие“. Но у меня эту телеграмму приняли.

С почты я побежала за пропуском. И там меня спросили: „Вы в свое уме? Какой может быть пропуск в Брест?“



". Тут я начала что-то понимать. А через две недели война докатилась и в наш городок Пирятин Полтавской области. Он заполнился госпиталями и отступающими частями. Я просилась на фронт, но военкомат наложил на меня бронь, так как рентгенологов не хватало. И тут — о счастье! — в Пирятин смог заехать мой муж. Они отступали на Гомель. Вместе с ним пошли в военкомат, и с меня сняли бронь. Дали направление в полевой передвижной госпиталь семьсот тринадцать.

Помню, что явилась я в госпиталь в черном маркизетовом платье и босоножках, а сверху на мне был плащ-накидка мужа. Выдали мне военное обмундирование, но я его отказалась надеть: все было на три-четыре номера больше моего размера. Начальнику госпиталя доложили, что я не подчиняюсь военной дисциплине. Но он никаких мер предпринимать не стал, только сказал, что, мол, никуда она не денется, через несколько дней оденет все сама.

Через несколько дней мы переезжали в другое место, и нас очень бомбили. Прятались мы в картофельном поле, а перед этим был дождь. Можете себе представить, во что превратилось мое маркизетовое платье и какими стали босоножки? На следующий день я уже оделась солдатом в полном обмундировании.

Так начался мой длинный, тяжелый и страшный путь от Гомеля до Германии. Особенно запомнились Сталинград и Курско-Орловская дуга. Раненых было столько, что мы работали сутками, уже терялось чувство времени: не можешь вспомнить — два-три часа прошло или полдня.

В сорок втором году, в первых числах января, мы вошли в село Афоневка Курской области. Стояли сильные

морозы. Два школьных здания были битком набиты ранеными: лежали на носилках, на полу, на соломе. Не хватало машин и бензина, чтобы вывезти всех в тыл. Начальник госпиталя принял решение организовать конный обоз из Афроневки и соседних сел.

Наутро обоз пришел. Управляли лошадьми исключительно женщины. На санях лежали домотканые одеяла, кожухи, подушки, у некоторых — даже перины. Пустили мы этих женщин к раненым...

До сих пор не могу вспомнить без слез, что это было. Каждая женщина выбрала себе своего раненого, стала готовить в путь и тихонько причитать: „Сыночек родименький!..“, „Ну, мой миленький..“, „Ну, мой хорошенький!..“. Каждая захватила с собой немного домашней еды, вплоть до теплой картошки. Они укутывали раненых, как детей, в свои домашние вещи, осторожно укладывали в сани. До сих пор стоит у меня в ушах эта молитва, это тихое бабье причитание: „Ну, мой миленький...“, „Ну, мой хорошенький...“

Жаль, даже мучит совесть, что тогда мы не спросили фамилий у этих женщин. Считалось, что это обычная помощь населения, что иначе быть не может.

Еще я запомнила, как мы шли по освобожденной Белоруссии и в деревнях совсем не встречали мужчин. Встречали нас одни женщины. Даже стариков было мало, мальчиков одиннадцати-двенадцати лет было мало. Казалось, что везде только женщины остались...”

В памяти авиационной связистки Валентины Яковлевны Буглеевой-Лушаковой, прошедшей с войсками Первой воздушной армии от Орши до Кенигсберга, остались дорогие для нее слова одного из командиров:

“Он нам говорит:

— Девочки, везде вас можно заменить, но в мед-службе и в связи без вас не обойтись. Представляете: летчик в воздухе — с земли по нему зенитки бьют, рядом враг, а в это время по-домашнему спокойный женский голос: „Небо, слышите нас?“, „Небо, слышите нас?“ — и у него сразу больше уверенности, самообладания. Один только ваш нежный женский голос в такой обстановке что значит!..

Что вам сказать о нашей работе? Эфир в военное время — это какофония, это тысячи шумов и других помех, потому что одновременно работают тысячи наших и вражеских радиостанций. А ты должна уловить нужный тебе сигнал. Он еле слышен, и от других он еле отличается. Чуть по тону... Все посидели с первых дней, я ведь с двадцати лет седая. Что мы видели? Под Оршей в сорок третьем все было перекручено, как в мясорубке, люди, земля, деревья. Нам некогда было сойти с ума. И плакать некогда было. И поесть некогда. Мы сутками дежурили у аппарата. Когда вдруг прерывалась связь, мы не находили себе места. Где-то люди гибнут...

Все отдавали фронту. Какие-то деньги нам положены были, мы их не получали, ни копейки. Отдавали армии. Комсомольские взносы бухгалтерия сама с нас высчитывала. А после войны мы по три месячных оклада, это я уже на гражданке была, отдавали на восстановление. Это в то время, когда буханка хлеба стоила триста рублей. И это не я одна делала, это делало все мое поколение. Мы по кирпичику руками разбирали наши разрушенные города...”

Вспоминала об этом и Станислава Петровна Волкова, лейтенант, командир саперного взвода:

“Приехали мы на фронт, и встретили нас там так: „Хорошо, девочки, молодцы, девочки, что приехали, но никуда мы вас не пошлем, а будете у нас в штабе“. Это нас так встретили в штабе инженерных войск. Тогда мы заворачиваемся и идем искать командующего фронтом Малиновского. Когда мы ходили, по поселку разнеслось, что ходят две девушки и ищут командующего. Подходит к нам офицер и приказывает:

— Покажите свои документы.

Посмотрел.

— Почему вы ищете командующего, вам же нужно в штаб инженерных войск?

Мы ему отвечаем:

— Нас прислали командирами саперных взводов, а хотят оставить в штабе. И мы хотим добиться, чтобы только — командирами саперных взводов и только — на передовую.

Тогда этот офицер опять ведет нас в штаб инженерных войск. И долго они там все говорили и говорили, набилась полная хата людей, и каждый советует, а кто и смеется. А мы стоим на своем, что, мол, у нас есть направление, что мы должны быть только командирами саперных взводов. Тогда кто-то главный говорит:

— А вы знаете, сколько живет командир саперного взвода? Командир саперного взвода живет только два месяца.

Мы отвечаем:

— Знаем, поэтому и хотим на передовую.

Делать им нечего, выписывают нам направление:

— Ну, хорошо, мы вас пошлем в пятую ударную армию. Что такое ударная армия, вы, вероятно, знаете, само название говорит. Это постоянно передовая, то все самые важные задания...

И каких только страхов они не наговорили. А мы рады, мы говорим:

— Согласны!

Приехали в штаб пятой ударной, там сидит такой интеллигентный капитан, он нас очень красиво принял, поговорил, но как услышал, что мы хотим командирами саперных взводов, взялся за голову:

— Нет, нет! Что вы? Это не женское дело, мы найдем вам работу здесь, в штабе. Вы что, шутите, там же одни мужчины, и вдруг командир будет женщина — это безумие. Что вы, что вы!!

Два дня они нас там уговаривали. Мы не отступили: только командирами саперных взводов. Но и это еще не все. Добились мы своего, привели меня к моему взводу... Солдаты смотрели на меня кто со злобой, кто с насмешкой, а другой так передернет плечами, что сразу все понятно. Казалось, сейчас разразится буря. И когда командир батальона сказал, что вот, мол, представляю вам нового командира взвода, они сразу взвыли: „У-у-у-у...". Один даже сплюнул: „Тьфу!..".

А через год, когда мне вручали орден Красной Звезды, эти же ребята, кто остался в живых, меня на руках в мою землянку несли. Так они меня уважали."

Рассказ Станиславы Петровны Волковой дополняет ее фронтовая подруга, сибирячка Апполина Никоновна Лицкевич-Байрак. Она рассказывает подробно, основа

тельно, с профессиональной дотошностью останавливаясь на деталях саперной работы.

Апполина Никоновна Лицкевич-Байрак, младший лейтенант, командир саперно-минерного взвода:

“В детстве все время отец стриг меня под корень машинкой-нулевкой. Об этом я вспомнила, когда нас постригли и из девушек мы вдруг превратились в молоденьких солдатиков. Но я быстро привыкла. Не зря отец говорил: „Не девка, а мальчишка растет“. А во всем была виновата одна моя страсть, из-за которой не один раз попадало от родителей. Дело в том, что зимой я прыгала с крутого яра в занесенную снегом Обь. После уроков брала у отца старые ватные брюки, надевала их и завязывала на валенках. Ватную фуфайку заправляла в брюки и крепко затягивалась ремнем. На голове шапка-ушанка, завязанная под подбородком. В таком виде, переваливаясь, как медведь, с ноги на ногу, иду к речке. Разбегаюсь изо всей силы и прыгаю с обрыва вниз.

Ах! Какое ощущение испытываешь, пока летишь в пропасть и скрываешься с головой под снег. Дух захватывает. Пробовали со мной другие девчонки, но у них не получалось гладко: то ногу подвернет, то нос разобьет о жесткий снег, то еще что-нибудь случится. Я же была ловчее мальчишек.

О детстве — то к слову... Значит, прибыли мы в Москву в сентябре сорок второго. Целую неделю нас возили по железнодорожному кольцу. Останавливались на станциях: Кунцево, Перово, Очаково, и везде с эшелона выгружались девушки. Приходили, как говорят, „покупатели“, командиры из разных частей и родов войск, агитировали нас в снайпера, санинструкторы, радисты... Меня все это не прельщало. Наконец со всего эшелона нас

осталось тринадцать человек. Всех поместили в одну теплушку. В тупике стояло всего два вагона: наш и штабной. Двое суток к нам никто не появлялся. Мы смеялись и пели песню: „Позабыт, позаброшен...“ К концу второго дня под вечер мы увидели, что к нашим вагонам вместе с начальником эшелона направляются три офицера.

„Покупатели“ были высокие, стройные, затянутые портупелями. Шинели под иголочку, сапоги начищены до блеска, со шпорами. Вот это да! Таких мы еще не видели. Они вошли в штабной вагон, а мы прижались к стенке послушать, что там будут говорить. Начальник показывал наши списки и дал краткую характеристику: кто такая и откуда родом, образование. Наконец мы услышали: „Все подойдут“.

Начальник вышел из вагона, приказал построиться. Спросили: „Желаете учиться искусству воевать?“. Ну, как же мы можем не желать, конечно, желаем. Даже никто из нас не спросил: где учиться и на кого? Майор приказал: „Старший лейтенант Митропольский, везите девушек в училище“. Мы надели на плечи свои „сидоры“, стали по две, и повел нас офицер по улицам Москвы. Он шел быстро, крупными шагами, мы не успевали за ним. Только на встрече в Москве в день тридцатилетия Победы Сергей Федорович Митропольский признался нам, бывшим курсанткам Московского Военно-инженерного училища, как ему было стыдно вести нас по Москве. Он старался подальше отойти от нас, чтобы на него не обращали внимания. Мы этого не знали и почти бегом догоняли его. Хороши же мы, наверное, были!

С первых же дней занятий схватила два наряда вне очереди: то аудитория холодная меня не устраивала, то еще что-то. Знаете, школьные привычки. Ну, и получила

по заслугами. Вскоре еще и еще. При разводе на улице курсанты заприметили меня и начали смеяться: штатный дневальный. Им, конечно, смешно, а я на занятия не хожу, ночью не сплю. Днем целый день стоишь возле дверей у тумбочки, а ночью натираешь в казарме пол мастикой. Как это тогда делалось? Сейчас объясню. Это не то, что сейчас. Теперь имеются различные щетки, полотеры и т. д. А тогда... После отбоя снимаешь сапоги, чтобы не запачкать мастикой, обматываешь ноги кусками старой шинели, делаешь как бы лапти, замотанные шпагатом. Разбрасываешь мастику по полу, растираешь щеткой, да не капроновой, а волосяной, от которой прилипают клочья волос, и тогда уже начинаешь шуровать ногами. Тереть нужно до зеркального блеска. Вот тут за ночь затанцуешься! Ноги гудят и немеют, спину не разогнуть, пот заливает лицо и глаза. Утром даже нет силы прокричать роте подъем. А днем и присесть нельзя, так как дневальный все время должен стоять у тумбочки. Попробуй присесть — тут же схватишь наряд вне очереди.

Однажды со мной произошел казус. Стою у тумбочки, только справилась с уборкой в казарме. До того захотелось спать, что чувствую — сейчас упаду. Облокотилась на тумбочку и задремала. И вдруг слышу, что кто-то открывает дверь в помещение, вскочила — передо мной стоит дежурный по батальону. Я вскинула руку и доложила: „Товарищ старший лейтенант, рота находится на отдыхе“. А он смотрит на меня во все глаза и не может скрыть смеха. И тут я догадалась, что так как я левша, то второпях приложила к шапке левую руку. Попыталась быстро сменить ее на правую, но было уже поздно. Опять проштрафилась...

Первое время я не понимала серьезности своего положения. Мне казалось, что все почему-то ко мне приди



раются. У меня много еще было наивности. Новая действительность воспринималась мной, как игра, которую часто проводили у нас в школе. Но вскоре я поняла обратное, что это не игрушка, а военное училище со строгой дисциплиной. Приказ командира — закон для подчиненного, хоть этим командиром может быть твоя однокашница.”

Училище Апполина Никоновна закончила в числе лучших курсантов. На последнем экзамене запомнила последний вопрос:

— Сколько раз в жизни ошибается сапер?

Ответила четко, по-военному:

— Сапер ошибается один раз в жизни.

И услышала в ответ в первый раз за всю учебу:

— Вот так, девонька...

И тут же знакомое:

— Вы свободны, курсант Байрак.

Что же дальше? Рассказывает:

“Привели меня к моему взводу. Команда: „Взвод, смирно!”, а взвод и не думает вставать. Кто лежит, кто сидит и курит, а кто потягивается с хрустом в костях: „Э- эх!..”. В общем, делали вид, что меня не замечают. Им было обидно, что они, выдавшие виды мужчины-разведчики, должны подчиняться какой-то двадцатилетней девчонке. Я это хорошо понимала и вынуждена была подать команду: „Отставить!”.

Что такое инженерная разведка, которую мы вели? За войну сотни тонн земли саперной лопаткой перевернули. Ночью бойцы роют парную ячейку на нейтральной

полосе. Перед рассветом я с одним из командиров отделений ползем к этому окопчику, и бойцы нас маскируют. И так мы лежим целый день, боясь лишней раз шелохнуться. Начинают мерзнуть руки и ноги, хотя на тебе надеты валенки и полушубок. Это зимой. Летом же приходится лежать на жаре или под дождем. Целый день внимательно за всем наблюдаем и составляем карту наблюдения передовой. Отмечаем, в каких местах появились изменения земной поверхности. Если обнаружили бугорки и комочки земли, загрязнение снега, примятую траву или стертую росу на траве, то догадываемся, что там немецкие саперы оставили минные поля. Если же они поставили проволочное заграждение, то необходимо выяснить длину и ширину заграждения. И под проволокой мы должны узнать, какие поставлены мины: противопехотные, противотанковые или мины-сюрпризы. Кроме того, засекаем огневые точки противника.

Днем отдыхаешь, а в ночь, уже с саперами, ползешь на передовую. Разминировем проход в своем минном поле и ползем к немецкой обороне. Начинаем работать, сантиметр за сантиметром прощупываем местность. Мало того, что под пальцами ежесекундно может произойти взрыв, работаешь при постоянном освещении немецкими ракетами, а иногда и под огнем. Наконец разведка минного поля противника произведена. Снова все поставили на свои места, обезвредив и тщательно замаскировав. Вся работа на передовой продельвается ползком. Я же, как челнок, ползаю от одного отделения к другому. „Моих" мин больше. Один раз, чтобы спрятаться от осколков, спрыгнула в канаву, а шинель новенькая, так я легла не вниз на грязь, а сбоку на нерастаявший снежок. Вот смолоду и так бывает — шинель дороже жизни. Девчонка — дура!

Пригласили офицеры завтракать. Я согласилась, саперам не всегда доставалась горячая еда, в основном, как шутили острословы, жили на подножном корму. А тут так вкусно пахло. Когда все разместились за кухонным столом, я обратила внимание на русскую печь, закрытую заслонкой. Подошла и стала рассматривать заслонку. Офицеры засмеялись: „Не будь это женщина, мины даже в горшках мерещатся". Я отвечаю на шуточки и тут замечаю, что в самом низу, с левой стороны заслонки, имеется маленькая дырочка. Внимательно к ней присмотрелась: вижу тоненький проводок, который ведет в печку. Быстро повернулась к сидевшим: „Дом заминирован, прошу покинуть помещение". Офицеры притихли и с недоверием уставились на меня. Я еще раз повторила: „Немедленно очистить помещение..".

С саперами приступили к работе. Сначала убрали заслонку. „Перекусили" ножницами проволоку — взрыва не последовало. В печке лежало несколько связанных шпагатом эмалированных литровых кружек. Мечта для солдата, лучше, чем котелок. В глубине печи, завернутые в черную бумагу, два больших свертка. Килограммов двадцать взрывчатки. Вот вам и горшки...

Шли мы по Украине, это была уже Станиславская, ныне Ивано-Франковская область. Как-то взвод получил задание: срочно разминировать сахарный завод. Дорога каждая минута: неизвестно, каким способом заминирован завод, если подключили часовой механизм, то взрыва можно ждать с минуты на минуту. Ускоренным маршем вышли на задание. Погода была теплая, шли налегке. Когда стали проходить позиции артиллеристов-дальнобойщиков, вдруг один выскочил из траншеи и закричал: „Воздух!.. Рама!..". Я подняла голову и ищу в небе „раму". Кругом тихо, ни звука. Где же та „рама"? Тут один из мо

их саперов попросил разрешения выйти из строя. Смотрю, он направляется к тому артиллеристу и отвешивает ему оплеуху. Не успела я что-нибудь сообразить, как артиллерист закричал: „Хлопцы, наших бьют!“. Из траншеи повыскакивали другие артиллеристы и окружили нашего сапера. Мой взвод, не долго думая, побросал щупы, миноискатели, вещмешки и бросился к нему на выручку. Завязалась драка. Я не могла понять, что случилось? Почему взвод ввязался в драку? Каждая минута на счету, а тут такая заваруха.

Даю команду: „Взвод, стать в строй!“. Никто не обращает на меня внимания. Тогда я выхватила пистолет и выстрелила в воздух. Из блиндажа выскочили офицеры. Пока всех утихомирили, прошло значительное время. Подошел к моему взводу капитан и спросил: „Кто здесь старший?“. Я доложила. У него округлились глаза. Вижу, что он даже растерялся. Затем спросил: „Что тут произошло?“. Я не могла ответить, так как на самом деле не знала причины. Тогда вышел мой помкомвзвода и рассказал, как все было. Так я узнала, что такое „рама“, какое это обидное было слово для женщины.

А когда, о чем таком было время думать? Помню, что впервые в освобожденном Львове дали нам свободные вечера. В городском кинотеатре батальон смотрел кинофильм. Первое время как-то непривычно было сидеть в мягких креслах, видеть эту красивую обстановку, уют и тишину. Перед началом сеанса играл оркестр, выступали артисты. В фойе устраивали танцы. Танцевали полечку, краковяк, падэспань и заканчивали неизменной „Русской“. Можно было на несколько дней забыть о войне. Даже не верилось, что где-то стреляют и нам скоро опять на передовую.

Вспоминаю другой случай. Моему взводу было приказано прочесать пересеченную местность от местечка к железной дороге. Вдоль шоссе пошли разведчики с миноискателями. Моросил холодный дождик. Все промокли до ниточки. Сапоги разбухли, стали тяжелыми, словно каблуки у них из камней. Я подоткнула полы шинели за ремень, чтобы не путались под ногами. Кроме того, шли по высокой траве, мокрая и густая, она мешала нам. Впереди меня на поводке шла моя собачка Нелька. Найдёт снаряд или мину, сядет возле нее и ждёт, пока не разминируют. Вдруг слышу, передают по цепи: „Лейтенант, к генералу“. Оглянулась: на проселочной дороге стоял „виллис“. Я перепрыгнула через кювет, на ходу одернула полы шинели, поправила ремень и пилотку. Все равно вид у меня был затрапезный.

Подбежав к машине, открыла дверку и стала докладывать:

— Товарищ генерал, по вашему приказанию...

Не успела закончить доклада, услышала:

— Отставить...

Я остановилась и стала по стойке „смирно“. Генерал даже не повернулся ко мне, а через стекло машины смотрел на дорогу. Вижу, он стал нервничать и часто посматривать на часы. Я стою. Он обращается к своему ординарцу:

— Где же тот командир саперов?

Я снова попыталась доложить:

— Товарищ генерал...

Он наконец повернулся ко мне и с досадой:

— На черта ты мне нужна!..

Я все поняла и чуть не расхохоталась. Тогда его ординарец говорит:

— Товарищ генерал, а может, она и есть командир взвода?

Генерал уставился на меня:

— Ты кто?

— Командир саперного взвода, товарищ генерал.

— Ты — командир взвода? — возмутился он.

— Так точно, товарищ генерал!

— Это твои саперы работают?

— Так точно, товарищ генерал!

— Заладила: генерал, генерал...

Он вылез из машины, прошел несколько шагов вперед, затем вернулся ко мне. Постоял, смерил глазами. И к своему ординарцу:

— Видал?

А у меня спросил:

— Сколько же тебе лет, лейтенант?

— Двадцать, товарищ генерал.

— Откуда родом?

— Сибирячка.

Он еще долго расспрашивал меня, предложил перейти в их танковую часть. Возмущался, что я была в таком затрапезном виде: он бы не допустил этого. Им саперы позарез нужны. Потом отвел меня в сторонку и пока

зал на лесок:

— Вон там стоят мои коробочки. Я хочу пропустить их по этой железной дороге. Рельсы и шпалы сняты, но она могла быть заминирована. Удружи танкистам, проверь дорогу. Здесь удобнее и ближе двигаться к передовой. Знаешь, что такое внезапный удар?

— Знаю, товарищ генерал.

— Ну и хорошо. Ну, будь здорова, лейтенант.

А железная дорога действительно оказалась заминированной.

В октябре сорок четвертого наш батальон в составе двести десятого отдельного отряда разминирования вместе с войсками Четвертого Украинского фронта вступил на территорию Чехословакии. Везде нас встречали с радостью. То, что девушка командует взводом мужчин, да еще сама сапер-минер, стало сенсацией. Я была пострижена под мальчишку, ходила в брюках и кителе, на голове — шапка-ушанка, короче, была похожа на подростка. Иногда въезжала в село на коне верхом, тут уже совсем трудно было определить, что за всадник, но женщины чутьем угадывали и присматривались ко мне. Было смешно, когда я приходила на квартиру, где должна была остановиться, и тут хозяева узнавали, что их постоялец офицер, но не мужчина. От удивления многие стояли с открытыми ртами. Я не преувеличиваю. Но мне это, признаюсь, нравилось. Нравилось удивлять таким образом.

То же было в Польше. Помню, в одной деревушке старушка погладила меня по голове. Я догадалась: „Цо пани у мне роги шука?“. Она смутилась и сказала, что просто хотела пожалеть меня, „таку млодую паненку“.

А мины были на каждом шагу. Мин было много. Однажды зашли в дом, кто-то первый увидел хромовые са

поги, строящие на видном месте. Уже протянул руку, чтобы взять их. Я крикнула: „Не смей трогать!“. Когда подошла и стала рассматривать, то оказалось, что они заминированы. Встречались заминированные кресла, комоды, серванты, куклы, люстры, краны, даже унитазы. Жители просили разминировать гряды с помидорами, картофелем, капустой. Один раз для того, чтобы попробовать вареников, взводу пришлось разминировать поле с пшеницей и даже цеп, чтобы обмолотить снопы.

...Прошла Чехословакию, Польшу, Венгрию, Румынию, Германию, а впечатлений в памяти осталось мало. В основном вспоминается только зрительное фотографирование рельефа местности, высокая трава, то ли действительно она была высокая, то ли нам так казалось, потому что по ней очень трудно было пробираться и работать щупами и миноискателями. Вспоминается еще множество ручейков и оврагов. Лесная чащоба, сплошные проволочные заграждения с подгнившими кольями, заросшие минные поля...

А еще помню, как где-то хозяйка накормила нас пшенной кашей, красной, хорошо упревшей в печке, издававшей аромат на всю хату. Каша была красивой на вид и до того вкусной, что так вот я и до сих пор не научилась ее варить. Вот в такие минуты только и вспоминалось, что ты женщина, что какое это удовольствие, даже счастье — сварить вкусный обед.

В Румынии, в городе Деж я остановилась в доме молодой румынки, которая хорошо говорила по-русски. Оказалось, что ее бабушка русская. У женщины было трое детей. Муж погиб на фронте, причем в румынской добровольческой дивизии. Но она любила посмеяться, повеселиться. Однажды и меня пригласила пойти с ней



на танцы. Дала мне свою женскую одежду. Соблазн был большой. Так хотелось немного отвлечься, почувствовать себя молодой девушкой. Я предупредила ординарца, где меня искать в случае чего. Надела брюки, гимнастерку, хромовые сапоги. Румынки тоже ходили в хромовых сапожках, так что на меня никто не обратил бы внимания. Поверх всего надела румынский национальный костюм: длинную, вышитую по полотну сорочку и шерстяную, в клетку, узкую юбку. В талии перехватила черным кушаком, на голову накинула цветной платок с большими кистями. Если еще добавить, что, ползая по горам, я за лето загорела до черноты, только на висках торчали белые вихры, да облупился нос, то трудно было меня отличить от настоящей румынки.

Клуба у них не было, собиралась молодежь в чьем-то доме. Когда мы пришли, уже играла музыка, танцевали. Я увидела почти всех офицеров своего батальона. Сначала боялась, что меня могут узнать и разоблачить, поэтому отсиживалась далеко в сторонке, не привлекая к себе внимания, даже чуть прикрываясь платком. Но после того, как меня пригласил несколько раз на танец один из наших офицеров и не узнал меня с накрашенными губами и подведенными бровями, мне стало смешно и весело. Я веселилась от души, не узнавая саму себя. Мне нужна была разрядка, потому что среди мужчин я боялась даже лишний раз улыбнуться. Кроме того, постоянная опасность, ежедневные вспышки взрывов перед глазами, гибель товарищей наложили на меня отпечаток, изменили характер.

Давно уже солнце скрылось за Карпатами, а я все танцевала и танцевала. Меня приглашали наши офицеры, и все удивлялись, что я умею танцевать русские танцы. Многие пытались со мной заговорить, но я только

смеялась в ответ, прикидывалась, что не знаю русского языка. Пробовали приглашать румынские парни, но я так неуклюжа была с ними, что они от меня все отстали. Тогда одному из них моя хозяйка что-то шепнула на ухо, и он больше не отходил от меня. Как только начинала играть музыка, он, улыбаясь, низко кланялся мне, брал за руку и вводил в круг. Учил танцевать румынские танцы.

Наконец решили все покататься на лодках по реке Сомеш. Вышли на берег. У причала стояло несколько лодок, на веслах сидели солдаты из нашего батальона. Начали все рассаживаться. Меня за локоть придерживал все тот же румынский парень. Из-за длинной и узкой юбки я не могла ступить в лодку, пришлось приподнять ее. На лодке дружно засмеялись. Я подняла голову и увидела, что все сидящие в лодке солдаты смотрят на мои брюки. Я засмеялась сама и приложила палец к губам, чтобы они молчали. Настроение было испорчено. Мне уже не хотелось веселиться в присутствии своих солдат, которые меня узнали...

Кончилась война, а мы еще целый год разминировали поля, озера, речки... В войну все сбрасывали в озера, речки, болота, главное было пройти, успеть вовремя к цели. А теперь надо было думать, как людям жить. Не могут же они жить с заминированной рекой. Помню, долго боялась воды. Так ждешь взрыва...

В подарок к Новому, сорок шестому году мне выдали десять метров красного сатина. Я посмеялась: „Ну, зачем он мне? Что я буду с ним делать? Разве после демобилизации пошью себе красное платье". Как в воду глядела. Скоро пришел приказ о моей демобилизации. Как водится, мне устроили в своем батальоне торжественные проводы. На вечере офицеры преподнесли в подарок боль

шой, тонкой вязки синий платок. Этот платок я должна была выкупить песней о синем платочке. И я им весь вечер пела...

А в поезде у меня поднялась температура. Распухло лицо, рот не раскрыть. Чтобы влить лекарство, приходилось сначала делать ложкой щелочку во рту. Росли зубы мудрости... Я возвращалась с войны..."

После войны Апполина Никоновна окончила Ленинградский государственный библиотечный институт имени Н.К.Крупской. Больше тридцати лет работала библиотекарем. Но есть у нее мечта — написать свои воспоминания о девушках-саперах.

"Когда работала, было некогда, все откладывала. А теперь откладывать некогда. Послала ребятам из моего взвода — а мы связь постоянную держим — первые наброски. Они раскритиковали. Написали: „Что ты лирику развела? Опиши лучше, как ты восемьсот мин за войну обезвредила. Опиши каждую...“, „Так что описать?“ — спрашивает. И тут же: — Но я не только это, я все помню. Все хочу описать. Пусть останется, хотя бы для внука..."

# “Только поглядеть один раз...”

Это будет рассказ о любви. О чувстве, которого не должно было быть в ужасе и аскетизме того, что называлось войной, считают одни, и которого не могло не быть, говорят другие, ибо война, несмотря на все принесенные ею горести и лишения, — это тоже годы человеческой жизни. И часто — самые молодые годы, природой предназначенные для любви и счастья. Война могла убить одного из любящих, но она не могла убить любовь, желание любить и быть любимым.

В самых трагических ситуациях женщина выбирала жизнь, а значит — любовь. Будущее!

И эта книга была бы неполной, не до конца правдивой, не будь в ней главы о любви. Потому что книга эта о Женщине.

Адрес минчанки Ефросиньи Григорьевны Бреус дали мне ее фронтовые подруги. Они рассказали и о ее судьбе: на фронте погиб муж, она привезла и похоронила его на родине. Женщины говорили об их любви с тем удивлением, которое живет в каждом, когда мы думаем о тех минутах, которые были самыми высокими в нашей жизни: “Ей не разрешали... Мы уже были в Восточной Пруссии, а надо было везти гроб в Минск. Но она дошла до командующего фронтом. Сначала он ей отказал, но когда она добилась к нему на прием, он спросил: „Зачем вам это?“. Она ответила, что у нее все погибли, если она привезет мужа на родину, то он навсегда останется с ней, ей будет куда возвращаться. Он поцеловал ей руку и сказал, что преклоняется перед ее любовью. Ей дали самолет на од

ну ночь. Она вошла в этот самолет и потеряла сознани- е...”,

...Дверь была открыта. Глаза сразу встретили большой портрет на стене — улыбающаяся молодая женщина и мужчина в военной форме.

— Снимайте пальто. Проходите... — слышалось из глубины квартиры.

Точно такой же портрет висел и в комнате. Что-то, видно, выдало мне лицо...

— Нет, девочка, это не странность старой женщины. Я повесила эти три портрета в прихожей и в комнатах, когда мне было столько же, как тебе сейчас. Я поклялась любить его вечно. Может быть, старомодно звучит, так сегодня не говорят. Но, видишь, я одна. Больше полюбить не смогла. Прости, то сразу на “ты”, это у меня фронтовое осталось. Давай поближе... Старый радикулит, на этот раз крепко уложил, надолго. Только что девчонки ушли (девчонки, а им-то под шестьдесят, как и мне, но тоже с фронта осталось: “Пошли, девчонки!”, “Давай, девчонки!”). Вон как меня усадили, гора подушек. А сами убежали.

Я не раз уже чувствовала это пронзающее свояченичество среди них, когда самое бесхитростное местоимение “ты” равняется по смыслу с такими дорогим словами, как “друг”, “дочь”.

Ефросинья Григорьевна Бреус, капитан, врач:

“Бомбят город, прибежала ко мне сестра Нина, прощаемся. Уже думали — не увидимся. Она мне говорит: „Я пойду в сандружинницы, только где мне их найти”. И вот я помню: смотрю на нее, а это было лето, на ней легкое платьице, и я вижу у нее на левом плече, тут, около шеи,

родимый значок. Это моя родная сестра, а я впервые его увидела. Смотрю и думаю: „Я тебя везде узнаю". Было такое чувство, что, может, уже и живыми не увидимся.

Из Минска все уходили. Дороги обстреливались, шли лесом... Где-то девочка кричит: „Мама, война". Наша часть отступает. Проезжаем просторное широкое поле, колосится рожь, а у дороги низкая крестьянская изба. Смоленщина уже... Около дороги стоит женщина, казалось, что эта женщина выше своего домика, была она одета во все льняное, вышитое национальным русским узором. Она скрестила руки на груди и низко кланялась, солдаты шли, а она им кланялась и говорила: „Пускай вас господь домой воротит".

И вы знаете, каждому она кланялась и приговаривала. У всех на глазах выступали слезы...

Я ее всю войну помнила. И уже другое, это было в Германии, когда мы немцев назад погнали. Какой-то поселок... Сидели во дворе две немки в своих чепчиках и пили кофе. Такая картина, как будто никакой войны не было. И я подумала: „Боже мой, у нас развалины, у нас люди в земле живут, у нас едят траву, а вы сидите и пьете кофе". Идут рядом наши машины, наши солдаты едут, а они пьют кофе...

А потом я ехала через Беларусь. И что мы видели? Вместо деревни осталась одна печь. Сидит старик, а сзади стоят трое внуков. Видно, потерял и сына, и невестку. Старуха собирает головешки затопить печь. Повесила кожух, значит, с болота пришли. И в этой печи ничего не варится...

Да, ненависть, обида — все смешалось. Но вот случай сонной был. Наш эшелон остановился. Не помню, что там было — то ли ремонт дороги, то ли меняли паро

воз. Сидим мы с одной медсестрой, а рядом двое наших солдат варят кашу. И откуда-то подходят к нам два пленных немца, стали просить есть. А у нас был хлеб. Мы взяли булку хлеба, разделили и дали им. Те солдаты, которые варили кашу, слышу говорят:

— Смотри, сколько врачи дали хлеба нашему врагу! — и что-то такое, мол, разве они знают настоящую войну, сидели в госпиталях, откуда им...

Через какое-то время другие пленные подошли уже к тем солдатам, которые варят кашу. И тот солдат, который нас недавно осуждал, говорит одному немцу:

— Что — жрать захотел?

А тот стоит и ждет. Другой наш солдат передает буханку хлеба своему товарищу:

— Ладно, отрежь ему.

Тот отрезал по куску хлеба. Немцы взяли хлеб и стоят — видят, что каша варится.

— Ну, ладно, — говорит один солдат, — дай им каши.

— Да она еще не готова.

Вы слышали?

И немцы, как будто тоже знают язык, стоят. Солдаты заправили кашу салом и дали им в консервные банки.

Вот вам душа русского солдата. Они осуждали нас, а сами дали хлеба, да еще каши, и только тогда, когда заправили салом.

...Уже война давно кончилась, я собиралась на курорт. Как раз этот Карибский кризис. Опять в мире неспокойно стало. Укладываю чемодан, платья взяла, коф-

точки сложила. Ну, кажется, ничего не забыла? Достāju сумочку с документами и беру оттуда свой военный билет. Думаю: „Случится что, я там сразу пойду в военкомат“.

Уже я на море, отдыхаю, и возьми расскажи кому-то за столиком в столовой, что ехала сюда и взяла военный билет. Я так сказала, без всякой мысли или желания порисоваться. А один мужчина за нашим столиком как разволновался:

— Нет, никогда не победят наш народ, потому что только советская женщина, уезжая на курорт, может взять в собой военный билет и думать, что, если что такое, она сразу пойдет в военкомат.

Он смотрел на меня такими глазами... Даже на любимых женщин так не смотрят...”

А о самом главном — о муже, Ефросинья Григорьевна не смогла рассказать. Черты ее тонкого красивого лица тяжело переломились, как от физической боли..

— Вот, что вчера было, забыла, а войну помню. Как его везла... Как хоронила... Все помню. Как хотела последний раз поцеловать, а гроб цинковый, так я в то место поцеловала, где лицо должно быть. А рассказывать не могу...

Но обо всем мне рассказали три большие фотографии в ее квартире.

Еще одна история о любви. Мы слушали ее вместе с маленьким внуком Любви Фоминичны Федосенко, который, как потом оказалось, и был главным героем ее рассказа.



Любовь Фоминична Федосенко, рядовая, санитарка.

“Эвакуировалась я сначала в Харьков, а затем в Татарию. Устроилась там работать. И вот однажды меня разыскивают, а моя девичья фамилия Лисовская. Зовут все: „Совская! Совская!“ И я тогда кричу: „Это я!“. Мне говорят: „Идите в НКВД, берите пропуск и следуйте в Москву“. Почему? Мне никто ничего не сказал, и я не знала. Военное же время... Я уже и думаю, может, муж раненый, может, меня к нему вызывают. А я уже четыре месяца от него ничего не получаю. И уже я ехала с таким намерением, что я его найду, что он без рук, без ног, калека и я его заберу и с этим приеду.

Приезжаю в Москву, захожу по адресу. Там написано: „ЦК КПБ“, и там таких, как я, очень много. Мы интересуемся: „Что? Почему? Зачем нас собрали?“. Говорят: „Все узнаете“. Заходим мы: там наш секретарь ЦК Пономаренко, все наши руководители. Спросили у меня: „Хотите ли вы туда, откуда приехали?“. Ну, откуда я приехала — из Белоруссии. Конечно, хочу. И меня определяют в спецшколу.

Как только окончили учебу, на другой день посадили нас на машины и повезли к линии фронта. Потом мы пошли. Я не знала, что такое фронт, что такое нейтральная полоса. Мне и страшно, и любопытно. „Бах!“ — выстрелили ракеты. Снег, вижу, белый-белый, а тут полоса людей, друг за другом легли. Нас шло много. Ракета погасла, выстрелов нет, команду нам дали: „Бегом!“, и мы побежали. И так прошли...

Потом, когда мы задание свое выполнили, нам сказали, что придет самолет и нас заберут в Москву. А я, находясь в тылу, получила письмо от мужа. Это было столько радости, так неожиданно, два года я о нем ничего не

знала. Тогда я пишу письмо в ЦК. Я написала, что все буду делать, только чтобы мы с мужем были вместе. И это письмо тихонечко от командира нашего отряда я передала летчику. Когда прилетели за нами самолеты, то говорят, что все должны лететь, а Федосенко обязательно. Ждем мы самолет, а это ночь, темно, как в бочке. И какой-то самолет кружит над нами, а потом как даст по нас бомбами. Это был „мессершмитт“, они нас засекли. Он пошел на новый разворот, а в это время наш самолет опускается — „У-2“, и как раз под елку, где я рядом стояла. Этот летчик чуть присел над землей и давай сразу подниматься, потому что он знает: немец сейчас сделает разворот и опять пойдет стрелять. Я зацепилась за крыло и кричу: „Мне в Москву, у меня разрешение“. Он даже матюкнулся: „Садись!“. Так мы и летели с ним вдвоем. Не было ни раненых, никого.

В мае месяце в Москве я ходила в валенках. Пришла в театр в валенках. И было прекрасно. Пишу мужу: как нам встретиться? Я была в резерве, куда захотят, туда и пошлют. Стала просить: пошлите меня туда, где муж, дайте мне хотя бы два дня, мне только поглядеть на него один раз, а потом я вернусь, и посылайте куда хотите. Все пожимают плечами. Но я все-таки узнаю по номеру почты, где мой муж воюет, и еду к нему. Приезжаю сначала в обком партии, показываю этот адрес мужа, документы, что я жена, и говорю, что хочу его видеть. Мне отвечают, что это невозможно, он на самой передовой, что отправляйтесь назад, а я вся такая побитая, такая голодная, и как это назад? Пошла к военному коменданту. Он посмотрел на меня и сказал, чтобы мне дали немного одеться. Дали мне гимнастерку, ремень подпоясаться. И он начал меня отговаривать:

— Ну что вы, там очень опасно, где ваш муж...

Я сижу и плачу, тогда он сжалился, дал мне пропуск.

— Выйдете, — говорит, — на шоссе, там будет регулировщик, и он вам покажет, как ехать.

Нашла это шоссе, нашла этого регулировщика, посадил он меня на машину, и я еду. Приезжаю в часть, там все удивляются, все кругом военные. „А вы кто?“ — спрашивают. Я не могу сказать — жена. Ну как такое скажешь, кругом бомбы рвутся... Я говорю — сестра. Даже не знаю, почему я так сказала — сестра. „Подождите, — говорят мне — еще шесть километров надо идти“. Как это я буду ждать, когда я так далеко добиралась?.. А как раз оттуда машины за обедом пришли, и там был старшина, такой рыжеватый, конопатый. Он говорит:

— О, я Федосенко знаю. Но это в самой траншее.

Ну, упростила я его. На повозку посадили меня, еду, нигде ничего не видно, для меня это новость. Передовая, нигде никого, изредка стреляют. Приехали. Старшина спрашивает:

— А где Федосенко?

Ему говорят:

— Они вчера ушли в разведку, их застал рассвет, и они там пережидают.

Но связь у них есть. И ему по связи сказали, что пришла сестра. Какая сестра? Говорят: „Рыжая“. А сестра у него черная. Ну, раз рыжая, он сразу догадался, какая сестра. Не знаю, как он там выполз, но Федосенко скоро появился, и мы там сделали встречу. Радости было...

Пробыла я у него один день, второй и говорю:

— Иди в штаб и докладывай. Я с тобой здесь останусь.

Он пошел к начальству, а я не дышу: ну как скажут, чтобы в двадцать четыре часа ноги ее не было? Это же фронт, это понятно... И вдруг вижу — идет в землянку начальство: майор, полковник. Здороваются за руку все. Потом, конечно, сели мы в землянке, выпили все, и каждый сказал свое слово, что жена нашла мужа в траншее, это же настоящая жена, документы есть. Это же такая женщина, дайте посмотреть на такую женщину. Они такие слова говорили, они все плакали. Я тот вечер всю жизнь помню.

Осталась я у них санитаркой. Ходила с ними в разведку. Бьет миномет, вижу — упал. Думаю: убитый или раненый? Бегу туда, а миномет бьет, и командир кричит:

— Куда ты прешь, чертова баба!! Подползу — живой...

Около Днепра ночью при луне мне вручили орден Красного Знамени. Потом мне говорили, что меня представили к ордену Красной Звезды, но я его не искала. Муж был ранен, тяжело. Мы вместе бежали, мы вместе шагали по такому болоту, вместе ползли. Пулемет был, допустим, справа, а мы ползли слева по болоту, и мы так прижимались к земле, что если пулемет был с правой стороны, то его ранило с левой стороны в бедро. Ранили разрывной пулей, и попробуй-ка наложить повязку, это же ягодица. Все разорвалось, и грязь, и земля — все туда.

А мы шли из окружения. Вывозить раненых некуда, медикаментов у меня тоже никаких. Одна надежда, что

прорвемся. Когда прорвались, мужа эвакуировала до самого госпиталя. Пока я его довезла, было уже общее заражение крови. Это был Новый год. Он умирает... А он был много раз награжден, я собрала все его ордена, положила возле него. Был как раз обход, а он спал. Врач подходит и говорит мне:

— А вы идите. Вам надо уйти отсюда. Он уже мертвый.

Я отвечаю:

— Тихо, он еще живой.

Муж как раз открыл глаза и говорит:

— Что-то потолок голубой стал.

Я смотрю:

— Нет, он не голубой, он, Вася, белый. — А ему казалось, что голубой.

Сосед ему говорит:

— Ну, Федосенко, если ты останешься жить, то ты свою жену должен на руках носить.

— И буду носить, — соглашается он.

Я не знаю, он, наверное, чувствовал, что он умирает, потому что он взял меня и поцеловал. Вот как последний раз целуют:

— Любочка, так жалко, у всех Новый год, а мы с тобой тут... Но ты не жалеяй, у нас еще все будет...

И когда осталось ему несколько часов жить, у него случилось это несчастье, что нужно было поменять ему постель... Я ему поменяла постель, ногу перевязала, а на подушку его надо подтянуть, это же мужчина, тяжелый, я

его так тяну низко-низко, и вот чувствую, что это уже все, что еще минута-другая и его не будет...

И мне захотелось самой умереть... Но я носила под сердцем нашего ребенка, и только это меня удержало... Похоронила я мужа первого января, а через тридцать восемь дней у меня родился Вася, он с сорок четвертого года, сам уже имеет детей. Мужа звали Василий, сын у меня Василий Васильевич, и внуку меня Вася... Василек..."

Они сами отвечают друг другу, спорят: имели право любить или нет, любили ли, как любили? Только умей слушать, постарайся понять и не спеши накладывать на услышанное сегодняшней опыт чувств. Они — другое поколение. У них был свой опыт любви, и не сразу скажешь, чего в их чувствах оказывалось больше: любви или жалости, любви или самопожертвования, женской гордости.

"Раненых было так много, и всех было так жалко, что, когда ты видела, что беспомощна, что человек умирает... Молодой, красивый мужчина умирает... Хотелось успеть хоть бы поцеловать его. Что-то женское для него сделать, если ничего не можешь сделать как врач" (В.В. Шевалдышева, военный хирург).

Чтобы победить, надо было сохранить в себе вот это мужское. Женское. И это добавлялось ко всем другим испытаниям.

"Нас на Первый Белорусский фронт прибыло двадцать семь девочек. Мужчины на нас смотрели с восхищением: „Ни прачки, ни телефонистки, а девушки- снайперы. Мы впервые видим таких девушек. Какие девушки!". Старшина в нашу честь стихи сочинил. Смысл

такой, чтобы девушки были трогательными, как розы, чтобы война не покалечила их души.

Уезжая на фронт, каждая из нас дала клятву: никаких романов там не будет. Все будет, если мы уцелеем, после войны... А до войны мы не успели даже поцеловаться. Мы строже смотрели на эти вещи, чем нынешняя молодежь. Поцеловаться для нас было — полюбить на всю жизнь. А тут — война!!” (С.М. Кригель, старший сержант, снайпер).

Из письма рядовой, зенитчицы Нонны Александровны Смирновой:

“Мы старались подогнать обмундирование строго по своей фигуре, часто его стирали, гладили. Хотелось выглядеть опрятными. Это мы делали в основном ночью, а днем нас учили ползать по-пластунски, окапываться и т. д. Предметы нашего туалета сушили только ночью, днем среди мужчин развешивать стеснялись, да и старшина ругался.

Молодые были, конечно, хотелось любить, быть любимой. Женщина не может, чтобы ее не замечали. Но любовь была как бы запрещенной (если узнавало командование, как правило, одного из влюбленных переводили в другую часть, попросту разлучали), мы ее берегли-хранили как что-то святое, возвышенное”.

Да, война. Но ведь это была и их молодость — самое счастливое время в жизни. И если бы не было любви, то не было бы детей сорок первого, сорок второго, сорок третьего, сорок четвертого и сорок пятого года рождения...

К письму Нонна Александровна приложила несколько собственных стихотворений. Призналась, что сочинять

стихи начала на войне, потому что “не хватало обычных слов для своих чувств”, а теперь пишет, “чтобы детям осталась память о тех днях”:

...И теперь на мирных перекрестках,  
Вспоминая молодость свою,  
Многих  
Прежних девушек-подростков Я в  
солидных мамах узнаю.  
И прошу их:  
“Вы своим ребятам,  
Не смущаясь, говорить должны,  
Что без нас, без женщин,  
В сорок пятом,  
Может быть, и не было б весны...”

А вот какие чувства хранит из тех дней партизанка Евгения Викторовна Кленовская. Встреча была недолгой, но остался в памяти ее портрет: мужская стрижка, тяжелые крепкие руки. Всем своим видом как бы отрицала, отвергала, отсекала от себя всякую женственность.

“Я хочу сказать, что великое, благородное, необыкновенно красивое чувство я вынесла из войны. Ну, просто никакими словами не передать, с каким восторгом и восхищением относились к нам мужчины. Я с благодарностью и восхищением пронесла это чувство через войну и через всю свою жизнь. Они относились к нам благородно, с необыкновенным уважением, это что-то особенное.



Я с ними жила в одной землянке, спала на одних полатях, ходила на одни задания, и, когда я замерзала так, что слышала, как селезенка замерзает, как язык во рту замерзает, что еще немного и я потеряю сознание, я говорила: „Миша, расстегни шубу, погрей". Он погрееет: „Ну, как, легче?". — „Легче".

Вы знаете, прекрасное, чудесное чувство! Я такого больше не встречала в жизни. Но о чем-то личном нельзя было думать, когда Родина в опасности, когда война.

— Но ведь была любовь?

— Да, была любовь. Я ее встречала у других. Но вы меня извините, может, я и не права, и это не совсем естественно, но я в душе осуждала этих людей. Я считала, что не время заниматься личными вопросами. Кругом зло, смерть, пожар. Мы каждый день это видели, каждый час. Невозможно было забыть об этом. Ну, невозможно, и все. Мне кажется, что так думала не одна я.

— А какой вы были до войны?

— Я петь любила, смеяться любила. Но знаете, какие мы были? Мы мечтали догнать и перегнать сверстников мальчишек, освоить неженскую специальность, завоевать авторитет общественницы. Какие там мысли о семье! Мы с негодованием говорили о тех, кто позволял себе сережки или пышную прическу. А в войну эти чувства усилились. Для нас главным было слово „надо". Вам, наверное, трудно нас понять. Вы — другое поколение..."

Евгения Викторовна Кленовская не единственная в своем максимализме. Она права, так тогда думали многие. И даже не принимая сегодня такого максимализма, восхищаешься ими еще больше. Неизбывностью женской души восхищаешься.

Военная медсестра Мария Селивестровна Божок:

“Ушла я из Казани на фронт девочкой, девятнадцать лет. А через полгода писала маме, что мне дают двадцать пять — двадцать семь лет. Каждый день в страхе, в ужасе. Осколок летит, так кажется: с тебя снимают кожу. И люди умирают. Умирают каждый день, каждый час. Такое чувство, что каждую минуту. Простыней не хватало накрыть. В нижнем белье складывали. Страшная тишина стояла в палатах. Такой тишины я больше никогда не помню.

И я говорила себе, что ни одного слова любви в этом аду я слышать не смогу. Не смогу поверить. Из-за этого. Вот сколько лет война шла, я никаких песен не помню. „Землянку“ не помню. Ни одной... Помню только, что когда уходила из дома на фронт, то у нас в саду цвели вишни. Иду и оглядываюсь: „Может, последний раз вижу, как вишни цветут?..“. Потом, наверное, я встречала сады на дорогах. Они же и в войну цвели. Но я не помню... В школе такая хохотушка была, а тут серьезная стала. И думала: „Неужели я никогда не улыбнусь?“. Если я видела, что кто-то из девочек выщипал брови или покрасил губы, я была возмущена. Категорически отвергала: как это можно, как это она хочет в такое время кому-то нравиться?

Девчонки постарше говорили, что, мол, если бы даже все горело, все равно была бы любовь. А я не соглашалась. Вокруг раненые, вокруг стон... У мертвых такие желто-зеленые лица. Ну, как ты можешь думать о радости? О своем счастье. Душа рвалась... И так страшно, что волосы седели. Я не хотела сочетать любовь с этим. Мне казалось, что здесь любовь погибнет мигом. Без торжества, без красоты какая может быть любовь? Кончится

война, будет красивая жизнь. И любовь. Вот такое было чувство.

Убить могли каждую минуту. Не только днем, но и ночью. Война не прекращалась ни на минуту. А вдруг я погибну, и тот, кто меня полюбит, будет страдать. И мне так жалко.

Мой теперешний муж, он за мной так ухаживал. А я ему говорила: „Нет-нет, кончится война, только тогда мы сможем об этом говорить". Не забуду, как однажды он вернулся из боя и просил: „У тебя нет какой-нибудь кофточки? Одень, пожалуйста. Дай посмотреть, какая ты в кофточке". А у меня ничего не было, кроме гимнастерки.

Я и подружке своей говорила: „Цветов тебе не дарил, не ухаживал... И вдруг — замуж. Разве это любовь?". Я ее чувств не понимала...

Война кончилась, а мы смотрели друг на друга и не верили, что война кончилась, что мы живые остались, что мы встретились. Что мы будем любить... А мы все это уже забыли, не умели. Приехала я домой, пошли мы с мамой шить мне платье.

Вот моя очередь, и меня спрашивают:

— Какой у вас фасон?

— А я не знаю...

— Как это вы пришли в ателье и не знаете, какое платье хотите?

— Не знаю...

А я пять лет ни одного платья не видела. Я забыла даже, как шьется платье. Купила туфли на каблучке, про

шла по комнате и сняла их. Поставила в угол и думаю: „Я никогда не научусь в них ходить...“.

Но любовь была. Ею спасали. Она спасала. Без нее едва ли бы выстояли в этой страшной войне.

Вспоминает сандружинница Светлана Николаевна Любим:

“И эти люди в госпитале были счастливы. Они были счастливы, потому что остались в живых. Лейтенант двадцатилетний переживал, у него одной ноги не было. Но тогда казалось среди всеобщего горя, что это счастье, что он живой вернулся, что у него, подумаешь, только одной ноги нет. Главное, что живой. И любовь у него будет, и жена у него будет, и все будет. Это сейчас остаться без одной ноги — ужас, а тогда они прыгали на одной ноге, курили, смеялись. Он герой и вообще! Что вы?! А может, по молодости мы не понимали. Нет, все равно думалось, даже когда без рук, без ног человек, что будет он дорог кому-то, он же свою жизнь за всех отдал.

— Вы влюблялись на фронте?

— Конечно, мы же такие юные. Как только новые раненые поступали, мы обязательно в кого-нибудь влюбимся. Подружка моя влюбилась в лейтенанта, он был весь израненный. Она мне показала — вот он. Ну и я, конечно, решила тоже в него влюбиться. Когда его увозили, он попросил у меня карточку. А у меня была одна карточка, где-то на станции мы сфотографировались. Я взяла эту карточку, чтобы ему отдать, но потом думаю: а вдруг это не любовь, а я ему карточку подарю? И вот его уже уносят, я руку ему протянула, а в кулаке карточка, а разжать не решилась. Вот и вся любовь...

Потом, помню, Павлик был, тоже лейтенант. Ему очень больно было, так я ему шоколад под подушку положила. И вот когда мы встретились, это уже после войны, через двадцать лет, он стал благодарить мою подругу Лилию Дроздову за этот шоколад. Лиля говорит: „Какой шоколад?“. Тогда я призналась, что это я... И он меня поцеловал... Через двадцать лет поцеловал...”

Как свято в их рассказах это слово “поцеловал”. И как запоминали они этот мужской жест в аду, на всю жизнь запоминали. И мужчины запоминали, как с женщиной в госпитальную палату, в землянку приходил кусочек уюта, пусть это даже был прозрачный букетик подснежников в консервной банке, занавесочка из портянки, чистое белье, свежевывстиранный подворотничок или просто женский голос. Они возвращали мысли к дому, к прежнему жизни.

“Однажды после выступления в госпитале, — вспоминала народная артистка СССР Л.П. Александровская, — ко мне подошел главврач и говорит: „Здесь у нас в отдельной палате лежит тяжелораненый танкист. Он почти ни на что не реагирует, может, ему поможет ваша песня...“. Иду в палату. Сколько буду жить, не забуду этого человека, который чудом вылез из горящего танка и обгорел с головы до ног. Он лежал, неподвижно вытянувшись на кровати, с черным, без глаз, лицом. Горло перехватило судорогой, и я несколько минут не могла взять себя в руки. Потом начала тихонько петь... И вижу, что лицо раненого чуть шевельнулось... Он что-то прошептал. Я наклонилась и услышала: „Спойте еще...“, Я пела ему еще и еще, исполнила весь свой репертуар, пока главврач не сказал: „Кажется, он уснул...“.”

“На одной из наших недавних фронтовых встреч мне один мужчина признался, что помнит мою молодую улыбку, как помнит сейчас улыбку своего маленького внука. Это самое дорогое в его жизни. А для меня это был обыкновенный раненый, я его даже не помнила. Когда он мне это говорил, я краснела, как девочка. Согласитесь, что люди не часто говорят друг другу такие искренности. Но когда мы вспоминает о войне, мы искренни как никогда...” (В.В. Шевалдышева, военный хирург).

Все было на войне — смерть, страх, слабость, тяжелая работа. И было женское долготерпение. Любовь, верность и нежность женщины.

Со слов Нины Васильевны Ильинской (Чирвы), старшего сержанта, медсестры:

“У нас — комбат и медсестра. Они поженились. Какая в тех условиях свадьба? Но они любили друг друга. Он шел в бой, и она рвалась. Говорила, что не простит себе, если он погибнет не на ее глазах, если она не увидит его смерть. „Пусть, — хотела, — нас вместе убьют. Одним снарядом накроет“. Умирать они собирались вместе или вместе выжить. Его тяжело ранило, его отправляют в тыл, а она беременная осталась. Он ей дал письмо: „Езжай к моим родителям. Что бы со мной ни случилось, ты моя жена. И будет мой сын или моя дочь...”.

Запомнилось вот такое, запоминалось хорошее. Не буду говорить, что не было другого. Длинная была война, и много нас было на войне. Но я больше помню светлого, чистого. Я, помню, еще только просилась на фронт, еще в госпитале работала, а в мою подружку влюбился один офицер. Как мы ей завидовали! Как мы завидовали их любви! Он поправился после ранения и уехал на фронт.

Она его ждала. И он вернулся к ней после войны, вернулся без руки...

Конечно, там, на фронте, любовь была другая. Каждый знал, что ты можешь любить сейчас, а через минуту может этого человека не быть. Ведь вот, наверное, когда мы в мирных условиях любим, мы ведь не с таких позиций смотрим. У нашей любви не было сегодня, завтра... Уж если мы любили, значит любили. Во всяком случае, вот неискренности там не могло быть, потому что очень часто наша любовь кончалась фанерной звездой на могиле.

И вы еще заметьте, что чаще всего мужчины показывались женщине лучшей своей стороной. Они рисковали, жертвовали собой. А мужчины видели не только нашу женственность, а и способность к самопожертвованию. Я почему-то даже думаю, я даже о себе могу это сказать, что, несмотря на все ужасы, там, на войне, многие из нас пережили самые высокие взлеты души. И это тоже естественно, потому что каждый день ставил выбор: жизнь или смерть. Там человек проверялся каждый день. Если он был красивый, то он был красив так, что это все видели, если это был трус и ничтожество — то тоже все это видели. Это трудно было понять тем, кто не был на войне.

Я пришла с фронта, у меня ничего нет: гимнастерка, шинель на мне, и все. Мне пришлось с этого начинать жизнь. У меня опять фронт — ты в шинели одной, шинель, как говорится, постели и шинелью накройся. Ну, и еще разговоры разные... Сорок лет скоро, а у меня все еще щеки горят...

Мужчина возвращался, так это герой. Жених! А если девчонка, то сразу косой взгляд: „Знаем, что вы там де-

лали!..". И еще подумают всей родней: брать ли ее замуж? Честно признаюсь, мы скрывали, мы не хотели говорить, что мы были на фронте. Мы хотели снова стать обыкновенными девчонками. Невестами..."

Ох! И судьба же им выпала. Сначала надо было, чтобы хватило сил стать необыкновенными. Героинями! А потом, чтобы найти их — и стать обыкновенными. Девчонками. Невестами.

Все время такое чувство, что вот-вот коснешься того, чего касаться нельзя. И даже если не спрашиваешь, рассказывают сами. До сих пор болит!

А мы не знали этих горьких обид.

Хирургическая медсестра Лилия Михайловна Будко:

"Мы теперь каждый год все ветераны собираемся. И вот я выхожу из гостиницы, а девочки мне говорят:

— Где ты, Лиля, была? Мы так наплакались.

Оказывается, подошел к ним мужчина, казах, спрашивает:

— Вы откуда, девчата? Из какого госпиталя?

Они ему отвечают и говорят:

— А кого вы ищете?

— Я каждый год приезжаю сюда и ищу одну сестру. Она спасла мне жизнь, я еелюбил. Хочу ее найти.

Мои девочки смеются:

— Да что там уж сестричку искать, там уже бабушка. Сединами голова убелена, уже все.

— Нет...

— Уже жена ведь есть, дети?



— Внуки есть, дети есть, жена есть. Душу потерял... Души нет...

Девочки мне это говорят, и мы вместе вспомнили: а не мой ли это казах?

...Привезли мальчишку казаха. Ну, совсем мальчишечка. Мы его прооперировали. У него было семь или восемь разрывов кишечника. Он безнадежный был. И настолько он лежал безучастный, что я его сразу заметила. И, как минутка лишняя, забегу к нему: „Ну, как дела?“. Внутривенное сама сделаю, температуру измерю, и он выкарабкался, пошел на поправку. А мы у себя раненых не держали долго, мы на первой линии. Окажем помощь и отправляем их дальше. И вот его с очередной партией должны увезти.

Он лежит на носилках, мне передают, что он зовет меня.

— Сестра, подойти ко мне.

— Что такое? Что ты хочешь? У тебя все хорошо. Тебя отправляют в тыл. Все будет в порядке. Считай, что ты уже живешь.

Он просит:

— Я очень вас прошу, я один у родителей. Вы меня спасли. Я знаю... — дает мне подарок — колечко, маленькое такое колечко.

А я колец не носила, почему-то не любила. И я отказываюсь:

— Я не могу, не могу. Отвези его лучше маме.

Он просит. Раненые пришли, помогают ему.

— Да возьми, он же от чистого сердца.

— Это же мой долг, понимаете?

Но уговорили они меня. Правда, я это колечко потом потеряла. Оно было мне больше, и однажды заснула, а машину подбросило и оно где-то упало. Жалела очень.

— Вы потом нашли этого мужчину?

— Мы так и не встретились. Не знаю, тот ли это? Но мы его целый день вместе с девочками искали.

И все мне вспоминалось и вспоминалось. Хорошее вспоминалось. Обиды вспоминались... Иногда до оскорбительного больно говорили о женщинах, которые были на войне. Вот были такие очень оскорбительные слова — „полевая походная жена"... На фронте их говорили...

Но они, наверное, родились не на фронте, пришли из тыла...

...В сорок шестом приехала я домой. Меня спрашивают: „Ты будешь ходить в военном или в гражданском?". Конечно, в военном. И не подумаю снимать. Пошла вечером в Дом офицеров на танцы. И вот вы сейчас услышите, как относились к военным девушкам.

Я надела туфли, платье, а шинель и сапоги в гардероб сдала.

Подходит ко мне один военный и приглашает танцевать. Капитан.

— Вы, — говорит, — наверное, не здешняя. Очень интеллигентная девушка.

И весь вечер он от меня не отходил. Закончились танцы, говорит мне:

— Дайте ваш номерок.

И пошел вперед. А в гардеробе ему дают сапоги, дают шинель.

— Это не мое...

Я подхожу:

— Нет, это мое.

— Но вы мне не сказали, что были на фронте.

— А вы меня спрашивали?

И он растерянный стоит. Он не мог на меня глаз поднять.

А сам только с войны пришел.

— Почему вас так удивило?

— Я не мог представить, что вы были в армии. Понимаете, фронтовая девушка...

— Вас удивило, что я, мол, одна? Без мужа и не беременная?

Я не дала ему провожать меня.

И всегда гордилась, что я была на фронте, Родину защищала..."

Так и живет это в них едино: жестокая память войны и светлая память молодости.

# “...Про бульбу дробненькую”

Вслед за Наполеоном Гитлер жаловался своим генералам: “Россия воюет не по правилам”. “Не по правилам” — то сожженная пшеница, приготовленная к отправке в Германию, листовки с информацией Совинформбюро в центре оккупированного города, дерзкие партизанские налеты на укрепленные гарнизоны, ночные взрывы вражеских эшелонов, идущих на фронт... Это сотни больших и малых подвигов известных и неизвестных героев подпольной и партизанской борьбы. Это то, что Лев Толстой называл “дубиной народной войны”. Но представим себе реалии этой борьбы. Что такое, например, подполье? Не от атаки к атаке, а постоянное чувство угрозы, отсутствие личной безопасности на протяжении лет. “...Первое время после освобождения я иду по улице и оглядываюсь: уже не могла не бояться... Я не могла спокойно пройти по улице. Иду и машины считаю... На вокзале поезда считаю...” (Седова В.Г., подпольщица).

Что такое пойти в партизаны из деревни, где все тебя знают, где остаются твои старые родители, младшие братья и сестрички? Представим себе солдата на передовой, но не одного, а окруженного своей семьей — жена, маленькие дети, старушка мать. А с минуты на минуту поползут фашистские танки или поднимется из-за бугра цепь автоматчиков... Там, на фронте, каждый рисковал своей жизнью. А здесь? Здесь же риск своей жизнью — только начало ежедневного подвига, и не самый страшный риск, не самое страшное испытание...

Вот что помнят об этом женщины.

С Антониной Алексеевной Кондрашовой мы встретились в ее служебном кабинете. Она председатель народного контроля Дядьковского района Брянской области. Был уже вечер, затихли на этажах голоса, торопливые шаги, только в коридоре стучала ведром уборщица, и дикторский голос из приемника, стоявшего на несгораемом сейфе, обязательной принадлежности официальных кабинетов, соединял нас в этой послерабочей тишине со всем остальным миром.

Антонина Алексеевна, я сразу заметила, из тех мягких, сердечных женщин, к которым не пристает официальная административность, мужской начальственный жест. Больше похожа на сельскую учительницу, любимую своими учениками, чем на партийного работника с тридцатипятилетним стажем.

— Молчат наконец, — посмотрела Антонина Алексеевна на три разноцветных телефона: белый, желтый, красный. И в этот момент белый взорвался звонком.

— Дочка... Ждет к ужину. Но мы, наверное, не скоро. Не так часто ко мне приезжают гости из Белоруссии. Самые дорогие гости. Я и там, в ваших лесах, партизанила...

Антонина Алексеевна Кондрашова, партизанка-разведчица Бытошской партизанской бригады:

“Когда, выполнив одно задание, я уже не смогла оставаться в поселке и ушла в отряд, мать забрали в СД. Брат успел убежать, а мать забрали. Ее там мучили, допрашивали, где дочь. Два года она была там. Два года фашисты ее вместе с другими нашими женщинами водили впереди себя, когда шли на свои операции: они боя

лись партизанских мин и всегда гнали впереди себя местное население. В случае, если есть мины, эти люди будут подрываться, а солдаты останутся целыми. Два года они так водили и мою мать...

Не раз было, что сидим в засаде и вдруг видим, идут женщины, а сзади фашисты. Подойдут ближе, и видишь, что там твоя мать. И самое страшное — это ожидать, что сейчас командир даст команду стрелять. Все со страхом ожидают этой команды, потому что один шепчет: „Вон моя мать“, другой — „А вон моя сестричка“, а кто-то ребенка своего увидел... Мама моя всегда ходила в белом платочке. Она была высокая, ее всегда первой различали. Я сама не успею заметить, мне передадут: „Твоя мама идет...“.

Дадут команду стрелять — стреляешь. И сама не знаешь, куда стреляешь, в голове одно: не упустить из виду беленький платочек — живая ли она, не упала? Все разбегутся, попадают, и не знаешь, убита мама или нет. И два дня или больше хожу сама нее своя, пока связные не придут из поселка, не скажут, что жива. Опять жить можешь. И так до следующего раза. Мне кажется, что сейчас я бы этого не вынесла, а тогда, может что молодая, или обстоятельства заставляли держаться. Я думаю, что обстоятельства...

У меня до сих пор стоит в ушах крик ребенка, который летит в колодец. Слышали ли вы когда-нибудь этот крик? Вы не могли бы его слышать, вы не смогли бы его выдержать. Ребенок летит и кричит, кричит, как откуда-то из-под земли, с того света. Это не детский крик и не человеческий, это какой-то замогильный крик. И после этого, когда идешь на задание, душа одного просит: скорее убить их, убить как можно больше, уничтожить

самым жестоким способом. Когда я видела пленных фашистов, мне хотелось вцепиться в любого. Я бы его не убила, это слишком легкая смерть ему. Я бы его не оружием, не винтовкой...

Страшное, ненормальное творили они с людьми. Вам этого, может, не понять сегодня. Но вы бы то же самое чувствовали, если бы у вас на глазах посреди деревни разложили большой костер и бросили туда старую учительницу, которая вас когда-то учила. Или по частям разрубили молодого парня. Пилой разрезали. А это все были свои люди, знакомые. Тот — отец твоей подруги, тот — с кем ты учился в школе. И самое трудное прийти в отряд и сказать: Саша или Маша, твою мать или твоего отца расстреляли, или сожгли, или они разорваны собаками. Это было самое страшное. Все можно было пережить, только не это. Даже было такое чувство, что легче пережить смерть своих близких, чем прийти в отряд и сказать товарищу, что погибли его родные...

А мы же молодые, и так много для нас значили мать, сестра, их хотелось увидеть. Мы думали, мы говорили, как придем, как встретимся, как будем теперь по-другому жить, не будем расстраивать своих матерей...

Перед самым отходом, это уже в сорок третьем году, гитлеровцы расстреляли мою мать... А у меня мама была такая, она сама нас благословила:

— Идите, дети, вам надо жить. Чем просто умирать, лучше не надо просто умирать...

Она не говорила таких слов, что надо убивать врага, она говорила другие, свои женские слова, чтобы они ушли, а вы могли жить спокойно и учиться, особенно учиться.

Женщины, которые были вместе с ней в камере, рассказывали, что каждый раз, уходя, она просила:

— Ох, бабоньки, я плачу об одном: помогите, если умру, моим детям!

И когда я вернулась, одна из тех женщин взяла меня к себе, в свою семью, хотя у нее было двое маленьких. Хату нашу фашисты сожгли, младший брат погиб в партизанах, маму расстреляли, отец на фронте. Пришел с фронта раненный, больной. Он до Берлина дошел, но пожил после недолго, вскоре умер... Так из всей семьи я одна осталась. Женщина эта и сама была бедная, да еще двое маленьких детей у нее. Я решила уйти, куда-нибудь уехать. А она плакала и не пускала.

И еще. Когда я узнала, что мать мою расстреляли, не находила себе места — я должна была ее найти... А их расстреляли и могилу заутюжили машинами в большом противотанковом рву. Мне приблизительно показали: где, в каком месте она стояла, и я побежала, копала там, разворачивала трупы. Я узнала мать по колечку на руке... Как увидела ее, закричала и ничего больше не помню. Какие-то женщины вытащили ее, омыли из консервной банки и похоронили. Я ту баночку храню...

Ночами иногда лежу и думаю: мать погибла из-за меня. Нет, не из-за меня... Если бы я, боясь за своих близких, не пошла бороться, если бы другой сделал то же самое и третий, четвертый — не было бы того, что есть сейчас. Но сказать себе, что этого со мной не было, этих ужасов, что я их не видела, не пережила, я уже не могу. Не могу сказать, что я не видела, как шла моя мать, и как я стреляла в ту сторону, откуда она шла. Вы представить себе не можете, как невыносимо с этим жить. И чем дальше, тем невыносимее. Иногда ночью вдруг моло



дой смех или голос под окном, и ты содрогнешься, тебе вдруг покажется, что это детский плач, детский крик. А то вдруг просыпаешься и чувствуешь, что не можешь дышать. Душит запах горелого... Вы не знаете, как пахнет горящее человеческое тело, особенно летом. Я и сейчас, а у меня такая работа, что если где-то пожар, то надо выехать на место. Но если скажут, что загорелась где-то ферма, я никогда не выезжаю, я не могу, мне это напоминает запах горящего человеческого тела. И вот ночью проснешься, бежишь за духами, и кажется, что и в духах есть этот запах. Не прогнать его из памяти...

После войны я долго боялась замуж выходить. Боялась иметь детей. Вдруг война, я уйду на фронт. А как же дети?..”

Подполье и партизанство были необычными формами борьбы, специфическими. Они требовали от людей особых качеств. “Надо было привыкнуть к тому, что в тебе живет два человека: один — это внешний человек, которого все знают, и другой человек, о котором знало всего несколько людей. Это первый закон подполья — знать как можно меньше. У нас не было тыла. Всякая ошибка ежеминутно могла стоить жизни” (Деревянкина А.П., подпольщица). И жертв эта борьба требовала особых, немислимых. С непоправимой жестокостью ее законы входили в мир отношений самых близких людей. И особенно тяжким испытаниям подвергалась женщина, потому что она была не только партизанкой, подпольщицей, а и матерью, женой, дочерью. Самые страшные испытания ожидали ее. Умереть, погибнуть по сравнению с ними было легче...

Вспоминает минская подпольщица Ядвига Михайловна Савицкая:

“Когда мы включались в борьбу, нас предупреждали, что опасно, что можно поплатиться жизнью, мало шансов остаться в живых. Но мы о себе не думали. Не только душа, все наши внутренности, все было против этого врага. Первое мое впечатление, когда я увидела немца, — это впечатление удара, все тело у тебя болит, каждая клеточка — как это они здесь? Это надо почувствовать, как все это было чужое, как это нельзя было принять. За каких-то пару дней меня той, довоенной, не стало. Был уже другой человек. Ненависть захлестывала нас. Она была сильнее, чем боязнь за наших, чем страх собственной смерти. Конечно, мы думали о родных... Но выбора у нас не было. Фашисты не должны были остаться на нашей земле...

Когда, например, стало известно, что меня должны арестовать, я ушла в партизанский отряд. Ушла, оставив дома семидесятипятилетнюю мать, притом одну. Мы договорились, что она притворится слепой, глухой, и ее не тронут. Конечно, это я себя так утешала, а мать могли арестовать. Но желание продолжить борьбу, мстить врагу до конца победило.

Запомнила такую деталь, может, и вам будет интересно. Все, что было до партизанского отряда, помню, каждый день помню. А в отряде уже меньше помню, там уже нас много, мы вместе.

На следующий день, как я ушла, фашисты ворвались в дом. Мама притворилась, что она слепая, недослышит, как мы договорились. Они ее страшно били, пытали, где дочь. Мать долго болела...”

Дополняет Ядвигу Михайловну Савицкую другая минская подпольщица Елизавета Петровна Малахова:

“Я иду по одной стороне улицы, а два молодых фашиста по другой. А впереди у нас низенький домик, и в окне ребеночек сидит, лет трех. И вот один фашист вынимает из кобуры пистолет и стреляет в этого ребеночка. Что ему этот ребенок сделал? Он сидел, ждал свою мамочку. А тот полюбоваться решил, показать, как он стреляет. На моих глазах убили беременную женщину. Ее ребеночек даже на свет не появился, ни одной минуты не прожил, ни одной секундочки.

Ненависть к ним душила меня. Я не могла спать ночами...”

Рассказывает Александра Ивановна Храмова, секретарь Антопольского подпольного райкома партии:

“Моя подруга, Катя Симакова, имела двух девочек. Обе девочки небольшие, ну, сколько им было — по шесть-семь лет. Она брала этих девочек за руки, идет по городу и смотрит, где какие части. Крикнет на нее фашист, она откроет рот и притворится дурочкой. Она рисковала своими девочками...

Еще у нас была Зажарская, и у нее — дочь Валерия. Девочке восемь лет. Нужно было взорвать столовую. Мы решили заложить мину в печь, но ее надо было пронести. И мать сказала, что мину принесет дочь. Положила в корзинку мину, а сверху пару детских платьев, два десятка яиц и масло. И так эта девочка принесла в столовую мину. Говорят: материнский инстинкт сильнее всего. Но тогда мы не могли иначе поступать. Не могли...”

“Были у нас в отряде брата Ч и муки... Их подожгли в сарае. Они до последнего отстреливались, потом вышли обожженные. Их возили на повозке, показывали, чтобы признали, чьи они.

Вся деревня стояла. Стояли их отец и мать, никто не сказал. Какое сердце надо было иметь матери, чтобы не крикнуть... Она не выдала себя. Иначе бы всю деревню сожгли. За все есть награды, но никакой не хватит, самой высокой Звезды Героя мало для этой матери..." (Касперович П.А., партизанская связная).

Со слов партизанки Валентины Михайловны Илькевич:

"В партизанах мать обстирывала всех, варила. Надо — и на посту стояла. Никаких у нее документов сейчас, ничего. Она и тогда не требовала их, не нужны они ей были и потом, помогала, как каждый советский человек. Однажды я ушла на задание, а матери передали, что меня повесили. Когда я через несколько дней вернулась, мать увидела меня, она не могла слова сказать, на несколько часов у нее отнялась речь. И все это надо было пережить... И разве такое горе было только у одной моей матери?"

Мы подобрали женщину, она была без сознания. Она не могла идти, она ползла по дороге. Она говорила, что думала: она уже мертвая. Чувствует, что кровь по ней течет, но решила, что это она чувствует на том свете. И когда мы ее расшевелили, когда она пришла немного в сознание, она рассказала, как вели на расстрел ее и пятеро детей с ней. Пока вели их к сараю, детей расстреляли. Детей расстреливали и при этом веселились. Остался последний, грудной мальчик. Фашист показывает: подбрасывай, я буду расстреливать. Она бросила так, чтобы убить самого своего ребенка. Чтобы немец не успел выстрелить... Она говорила, что не хочет жить, что не может после всего жить на этом свете, а только на том.

Я не хотела убивать, я не родилась, чтобы убивать. Я хотела стать учительницей. А они пришли убивать на нашу землю, жечь. Я видела, как жгли деревню, я не могла крикнуть, я не могла громко плакать: мы шли в разведку и подошли к этой деревне. Я могла только грызть себе руки, у меня до сих пор остались шрамы. Помню, как кричали люди. Как кричали коровы, как кричали куры. Мне казалось, что все кричат человеческими голосами... Все живое...

И такая у меня после этого любовь ко всему родному, ко всем своим людям, что все готова за них отдать.”

Немецко-фашистская армия имела хорошо обученных солдат, была отлично вооружена. На оккупированных землях действовали законы, которые, как рассчитывал враг, должны были оставить в человеке лишь биологическое — выжить! Все, казалось бы, учли гитлеровские стратеги и идеологи, кроме того, что мать окажется способной запрячь мину под платицем своей дочери, отец, не имея возможности пожертвовать собой, принесет в жертву жизнь дочери, дочь, которая могла бы спасти жизнь своей матери, будет спасать жизнь всех, землю родную спасать, отдавая за это жизнь самого дорогого человека. Силы человеческого духа — вот чего не учел враг, категории идеалистической, но, как потом выяснится, наиматериальнейшей даже в таком грубом и жестоком материальном мире, как война.

...Тихо и радостно принял меня дом Ясюкевичей в деревне Кабище Городокского района Витебской области. “Гость для одинокого человека, что солнышко”, — усаживал меня возле кровати больной дочери Иосиф Георгиевич. По-стариковски засуетился, растерялся: чем

бы еще уважить. Насилу удалось уговорить не затевать никакого угощения.

И неторопливо, как вся жизнь в этом доме, стали складываться воспоминания. Если дочь что-нибудь забывала, подсказывал отец.

Рассказывают Иосиф Георгиевич Ясюкевич и его дочь Мария, в войну партизанская связная отряда имени Петракова бригады имени Рокоссовского:

Иосиф Георгиевич:

— Сыны мои все воевали на фронте. Двоих наших племянников расстреляли за то, что с партизанами связь держали. Сестру мою, их мать, фашисты сожгли, в доме своем, бедная, горела. Говорили люди, что, пока дым не закрыл, видно было, как держала икону и стояла ровненько, что свечка. После войны, как увижу: солнце заходит, мне кажется, будто что-то горит...

Мария:

— Я была совсем девочка, тринадцать лет. Я знала, что отец помогает партизанам, понимала... Приходили какие-то люди ночью, вызывали его, что-то оставляли, что-то забирали. Часто отец брал меня с собой, посадит на воз и скажет: "Сиди и не поднимайся с этого места". Когда приедем куда надо, он достает оттуда оружие или листовки. Едет старый человек с девочкой, это не так бросается в глаза.

Потом он стал меня посылать к станции. Научил, что надо запоминать. Я тихонько прокрадусь к кустам и до ночи там ховаюсь, считаю, сколько составов прошло. Запоминаю, что везут, оно видно: оружие везут, танки или живой силы состав едет. Кусты недалеко от железной до

роги были, немцы их на день два-три простреливали.

— А не страшно было?

— Я маленькая, проберусь всегда так, что меня никто не заметит. А тот день я хорошо помню. Отец два раза пытался выехать с хутора. Надо было пробраться в лес, где его ждали партизаны. Два раза он выезжал, и два раза его возвращали патрули. Стало темнеть, вижу, ходит по двору, переживает... У него, вот что я запомнила, щетина к вечеру выросла, черный весь стал. Зовет меня: "Марийка...". А мать в голос: "Не пущу дитя!". Оттягивает меня от отца...

Но я побежала через лес тихонько. Я там все дорожки знала, правда, темноты боялась. Партизан нашла, они ждали, все передала, что отец сказал. А когда возвращалась назад, уже светать начало. Как обойти немецкие патрули? Кружила по лесу, провалилась в озеро, пиджак отцовский, сапоги, все утонуло, как сама выбралась из полыньи, не помню...

К утру началась у меня горячка. Как легла я тогда, так уже с кровати и не встала. Мать отвары травяные готовила, другой помощи не было. Врачей не было. И ноги отнялись. Десять операций после войны сделали, была в санатории, лечилась...

Иосиф Георгиевич:

— Два года назад умерла жена. Умирала в сознании. Все, видел, простила мне... А Марию, понял, не простила. Ни себе, ни мне не простила. Так и умерла...

Иосиф Георгиевич провожал меня короткой дорогой, "напрастки", до самой автобусной остановки. Шли через весенний цветущий сад. "В войну посадил. Люди

умирали, а я сад посадил. Так хотелось жить..." Сад цвел густо, одним белым букетом, белым до печали, как голова хозяина.

Что поражает почти во всех рассказах: горе почувствовали общее, хотя у каждого был свой жребий, свою страшную взятку война не сразу взяла у всех. Не найдется семьи, которую бы она обошла, но тогда, поначалу, многих пощадила. Но и те, кого пощадила, и кого нет, все равно почувствовали себя как что-то одно, как что-то неразделимое, цельное. Вот эта удивительная человеческая общность и стала тем, чему под силу оказалось вынести все и победить.

Горе чувствовали общее, а ответственность за то, что будет дальше, как пойдет, каждый брал на себя: и мужчина, и ребенок, и старик, и женщина. "Потом говорили, что отца оставили, что было задание. Никто нас не оставлял. Мы сами решили. Я не помню, чтобы была паника. Было большое горе — это да. Но паники не было. Все верили, что победа будет наша, — рассказывала партизанка Валентина Павловна Кожемякина.— В первый день, когда вошли немцы в нашу деревню, отец играл вечером на скрипке „Интернационал". Ему хотелось что-то такое сделать. Какой-то протест..."

Счет у врага был один: и за взорванный эшелон, и за спрятанного раненого, и за кусок хлеба, переданный партизанам, — смерть тебе, твоим близким! И за малое платили самым великим. На оккупированной врагом территории у мужества было тысяча лиц. И — бульба дробенькая на столе — как мера всех мер, последнее, что оставалось в крестьянской хате. Последнее, что отдавали.



Александра Никифоровна Захарова, единственная женщина — партизанский комиссар, комиссар двести двадцать пятого полка Гомельской области:

“Помню... На всю жизнь запомнила... Как раненые ели ложками соль. Как в строю называют фамилию, боец выходит и падает вместе с винтовкой от слабости.

Народ нам помогал. Если бы не помогал, то партизанское движение не могло бы существовать. Иной раз со слезами, но все-таки отдают. Так и говорил:

— Деточки, деточки, вместе будем горевать, победу ждать.

Последнюю дробненькую бульбу высыпят, дадут хлеба. Один говорит: „Я столько-то дам“, тот — „Столько“. — „А ты, Иван?“ — „А ты, Мария?“ — „Как все, так и я, но у меня ж дети...“. Часто они плачут, и мы плачем.

Что мы были бы без населения? Целая армия в лесу, но без них мы бы погибли, они же сеяли, пахали, чтобы себя и детей кормить, чтобы нас кормить, одевать всю войну. Ночью пахали, пока не стреляют. Я помню, как пришли в одну деревню, а там хоронят старого крестьянина. Его ночью убили. Жито сеял... Так зажал зерна в руке, что разогнуть ему пальцы не смогли. С зернами его в землю и положили...

У нас же оружие, мы могли защищаться. А они? За то, что бохан хлеба дал партизану, — расстрел, я переночевала и ушла, а если кто донесет, что я в этой хате ночевала, — им всем расстрел. А там женщина одна, без мужика, а с ней ее трое маленьких детей. У нее дети, она же не прогоняла, когда мы придем, и печку вытопит, и обстирает нас... Она нам последнее отдаст: „Ешьте, хлопчики“. А бульба весной дробненькая-дробненькая, как го

рошины. Мы едим, а дети на печи сидят, плачут. Горошины эти последние... Я бы всем женщинам, которые кормили, одевали нас в тылу... Я бы им какую-то медаль придумала. Они такие же ветераны войны, как фронтовики и партизаны. Что бы мы без них сделали в войну? А после войны что бы мы сделали без детей, которых они одни вырастили, когда мужья воевали? У многих мужья погибли. Я этих женщин до конца жизни не забуду...

После войны я встречалась с Александрой Михайловной Коллонтай. Она спрашивала, часами заставляла меня рассказывать — ее интересовало, как люди жили в лесу не день, не два, а годы. Как они были друг с другом? Эта война, бои, ужасы — как то сказывалось на отношениях людей? На женских чувствах, на чувствах мужчин к женщине? Она слушала и поражалась, какие у нас люди. Она говорила, что таких людей победить нельзя."

Из воспоминаний минской подпольщицы Веры Григорьевны Седовой:

"Первый раз принесли мне листовки. Я зашила их в подушку. Мама стелила постель и нащупала. Распорола подушку и увидела эти листовки. Стала плакать. „Ты себя погубишь и меня". Потом я хотела отправить ее в партизанскую зону, она не захотела: „Я Веру не брошу". Она помогала мне.

Ко мне часто приезжали партизанские связные. Распрягут лошадь, это же все видят. Что вы думаете, люди не видели? Видели и догадывались. Я говорила, что это от брата, из деревни. Но соседи хорошо знали, что у меня никакого брата в деревне нет. Я им благодарна, я всей нашей улице должна поклониться. Одного только слова было достаточно, чтобы мы погибли, вся семья. Стоило только пальцем ткнуть в нашу сторону. Но никто

же этого не сделал. После войны они говорили, что знали, кто ко мне приезжал...”

Партизанка Вера Сафроновна Давыдова вспомнила такой случай:

“Зашли мы в хату, а там ничего нет, две голые обструганные скамейки и стол стоит. Даже кружки, кажется, не было воды напиться. Все у людей забрали. И только икона в углу, и рушник на ней висит.

Сидят дед с бабкой. Один наш партизан снял сапоги, портянки такие рваные, он их закрутить уже не может. А дождь, а грязь, а сапоги рваные. И вот эта бабка подходит к иконе, снимает рушник и отдает ему: „Детка, а как же ты пойдешь далее?“. А больше ничего в этой хате нет...”

Со слов партизанской связной Веры Митрофановны Толкачевой:

“В первые дни подобрала я за деревней двух раненых. Один был раненный в голову, у другого солдата — осколок в ноге. Сама этот осколок вытащила, в рану влила керосин, ничего больше не было.

Выходила я их, подняла на ноги. Сначала один ушел в лес, потом другой. Последний, когда уходил, сразу — мне в ноги. Хотел мне ноги поцеловать:

— Сестричка милая! Ты мне жизнь спасла.

Не было ни имени, ничего. Только — сестра и брат.

Бабы соберутся вечером у меня в хате:

— Говорят немцы, что Москву взяли.

— Никогда!

У кого мужья и сыновья на фронте, у кого — в партизанах. Все, считай, на войне.

С этими же бабами мы поднимали после освобождения колхоз, меня поставили председателем. Было еще у нас четыре деда и пять подростков по тринадцать лет. Это мои пахари. Было двадцать лошадей, у них короста, их надо было лечить. Вот и все, что у меня было. Не было ни колес, ни хомутов.

Считай, лопатами бабы землю поднимали, на коровах бороновали. Хлопчики день боронуют, а вечером узелки развяжут, у всех еда одинаковая — праснаки. Вы и не знаете, что это такое. Семена щавеля, оборотни-чек... Не знаете? Такая трава есть. Клевер щипали. И все это толкли в ступе. И пекли эти праснаки.

Осенью пришла разрядка: пятьсот восемьдесят кубометров леса повалить. С кем? Взяла своего хлопчика двенадцати лет и девочку десяти лет. И другие бабы так. Сдали мы этот лес...”

В деревню Ратынцы Воложинского района я приехала совсем с другим редакционным заданием. Справилась быстро и вечером уже ждала на перекрестке автобус, чтобы вернуться в Минск. Сидели тут же на лавке женщины, поджидали на выходные своих городских теперь детей. Чуть только тронула их память, заговорили громко, как заголосили. Успела записать несколько фамилий: Елена Адамовна Величко, Юстина Лукьяновна Григорович, Мария Федоровна Мазуро...

Нет, они не воевали, эти женщины, и не были в партизанах. Им выпало другое: выправлять на фронт своих мужей и сыновей, получать на них скупые на слова пох

ронки, поднимать весной одним без мужиков землю и сеять хлеб, спасти детишек. Сохранить в войну пятеро или четверо детей, род свой сохранить — это тоже подвиг.

И я включила их рассказы в эту книгу, потому что хотя они и не были на войне, но называют себя солдатками. Вот как велика была наша армия!

“Партизанам все помогали, кто как мог. Что мы, бабы, могли, когда детей полная хата? Покормишь, обстираешь людей. Спалили нас немцы, забрали все дочиста. Остались мы на одном сером камне. Пришли из лесу, ничего нет. Только коты пооставались. Что ели? Летом пойду ягод собираю, грибов. Полная ж хата детей...”

А кончилась война, в колхоз пошли. И жала, и косила, и молотила. Мама моя так говорила: как помру, не знаю, что с душой будет, а руки так отдохнут. Так тяжело робили. Девочке моей десять лет быть, она со мной жала. Бригадир приехал поглядеть, как такая малая и норму до вечера зробить. А мы жнем и жнем, солнце за лес катится, а нам чтоб оно выше поднялось. Нам дня мало, чтоб одним, без мужиков, всю работу поробить — и в колхозе, и дома. И мы в колхозе по две нормы давали. Я и теперь, когда бригадир попросит, помогать хожу.

После войны в моей хате только дети остались и рушник на иконе. Оголели совсем. Пошла моя девочка в школу, только тогда я ей первые ботиночки купила. Она в них спать ложилась, не хотела снимать. Во как жили!”

Заплакала одна, заговорила другая:

“Слух прошел, что в местечко пригнали наших пленных, кто признает там своего, может забрать. Поднялись, побегли наши бабы! Вечером кто своего, а кто чужого привел, и такое рассказывают, что поверить не

можно: гниют люди живцом, с голода помирают. Побегла и я на другой день, своего не нашла, думаю, сына кому-нибудь спасу. Приглянулся мне один чернявенький, Саш-ко звали, как сейчас моего маленького внука. Может годков восемнадцать ему было. Дала немцу сала, божусь: „Брат“. Пришли мы домой, он одного яйца не съест, так сослаб. Месяца не побыли эти люди у нас, и нашелся гад. Жил, как все, женатый, двое детей... Пошел в комендатуру и заявил, что мы чужих взяли. Назавтра немцы приезжают на мотоциклах. Голосим, на колени падаем, а они обманули, что отвезут их ближе к дому. Я Сашко костюм дедовый отдала, свои три платья... Я думала, он будет жить, домой добираться.

А их вывели за деревню и положили с автоматов всех. Знать, что постреляют, мы б их в лесу затаили, пускай бы сами с детьми погибли, но спасали. Они же молодые-молодые, хорошие! И мы решили, у кого они были, девять человек, их поховать. Пятеро из ямы вытягивают, а четверо оглядываются, чтоб немцы не налетели. Руками нельзя, самая жара, а они четыре дня лежали... и лопатами посечь боимся... На настольник положишь и тянешь... И воду брали, и носы завязывали... Как самим не упасть... Могилку одну в лесу выкопали, положили в рядок, простынями головы понакрывали, ноги.

Год мы не утихали, плакали по ним. И каждая думала: где мой муж или сын?”

О мужьях своих до сих пор вспоминают, как о молодых ребятах, потому что остались у них только их молодые фотографии... И дети, похожие на них.

“Муж у меня был хороший, добрый. Мы с ним успели пожить только полтора годочка. Когда он уходил, я дите под грудями носила. Но он девочку не дождался,

без него родила. Он летом ушел, а я ее осенью прижда- ла.

Еще я ее возле груди держала, и годика не было. Сижу на кровати, кормлю... Стук в окно: „Лена, бумажка пришла... На мужика твоего...". (Это бабы почтальона не пустили, сами пришли сказать.) А я как стояла, как девочку воле груди держала, так молоко из меня и ударило, аж на землю. Девочка как закричит — она испугалась. Это как раз в вербную субботу мне сказали. В апреле, уже сонейко светило. В бумажке было написано, что погиб мой Иван в Польше. Под городом Гданьском его могилка... Семнадцатого марта сорок пятого года погиб. Я этот день до смерти не забуду. Мы уже Победу ждали, уже вот-вот наши мужики домой прийти должны были.

Девочка моя, как испугалась тогда, так болела, пока в школу не пошла. Дверьми стукнут — она уже больная, оставишь в хате одну, пойдешь корове сено давать — она уже больная. И я так с ней мучилась. Может, семь год не видела я сонейка, оно мне не светило.

Сказали — Победа! Стали мужики по домам возвращаться. Но болей их там осталось, чем назад пришло. Брат мой Юзик вернулся первым. Правда, покалеченный. И у него была такая девочка, как моя. Четыре годочка, потом пять... Моя девочка к ним ходила, а один раз пришла и плачет: „Не пойду к ним". — „А чего ж ты плачешь?" — спрашиваю. „Олечку (а у них девочку Олечкой звали) татка на коленки берет, жалеет. А у меня татки нету. У меня только мамка". И уже вдвоем с ней плачем... Прибежит она с улицы и ко мне: „Я дома погуляю? А то татка будет идти, а я с другими детьми на улице, он меня не узнает. Он же меня не видел..". Не могу выгнать ее из

хаты на улицу к детям. Целыми днями дома сидела. Татку ждала. А татка наш не вернулся..”

Рассказывают каждая о своем, а так все похоже.

“Мой, как уходил на войну, так дюже плакал, жалел, что детей маленьких оставляет. Таких маленьких, что и не знали, что у них батька есть. И главное — хлопчики все. Самого меньшенького так на руках еще носила. Он его как взял на руки, я бегу за ним, уже кричат: „В колонну все станови-и-ись!”. А он отпустить его не может. В колонну с ним становится... Военный на него кричит, а он не может дитятко из рук выпустить. Бегли мы с детьми за ним аж за деревню, километров пять еще бегли. С нами и другие бабы. Дети мои уже падают, и я этого маленького чуть несу. А Володя, это мой мужик, оборачивается, и я бегу и бегу... Может, самая последняя осталась... Детей где-то на дороге кинула... Только с маленьким бегу...

А через год пришла бумажка, что погиб ваш муж Владимир Григорович в Германии, под самым Берлином. Я и могилки его не видела. Один сосед возвратился, совсем здоровый, второй возвратился без ножки. Такая жаль меня взяла: пусть бы и мой вернулся, путь бы без ножек, но живой. Я бы на руках его носила...

Не то что душе тяжело, а и рукам тяжело, когда вспомню. Трое сыночков у меня осталось, маленькие: один одного не поднимет. И снопы на себе тягала, и дрова из леса, картоплю и сено... Все сама... Плуг самотугом, это значит на себе, волокла и борону. А что ж?! Наша деревня сильно в войну пострадала. У нас через хату, две — и вдова, и солдатка. Пооставались мы без мужиков. Без коней. Коней тоже на войну позабирали. И была баба после войны, если честно вам сказать, и за мужика, и за коня. Все на себе. Я еще в передовиках ходила. Две грамоты



мне дали, а один раз так десять метров ситца. Во радость была! Своим хлопцам, всем троим, рубашки пошила.

И вот три сыночка только маю, все, что от него осталось. Уже сыночки повырастали, уже своих детей растят. Моих внуков. Один внук уже в армии служит. Благодарю государство, что и живая осталась, и детей спасла. Когда б не люди, не государство, разве бы я их спасла? Мы по миру пошли бы. А так, благодаря богу и нашему правительству, все здоровы, все при хорошей работе. Одно только, чтобы не было войны. Здоровья уже нету, но коровку держу. И вот если б сказали: отдать коровку и что войны не будет. Отдала бы! Чтобы моим детям не было того, что мне было”.

Сколько ее, еще не высказанной бабьей боли, бабьего жалю, как говорят у нас на Полесье. Иногда кажется, что больше, женщин радости в мире. Но это, знаю, не так, раз сидят женщины и ждут в гости внуков.

“Гляжу в окно, так как, кажись, он сидит... Мой сыночек... Те сыны, которые повозвращались, у них уже свои дети. А Владычек, хоть и старше их, мне и сейчас молоденький. Таким, каким я его отправила. Жальче всех его...”

“А как бабе одной жить? Человек пришел, помог мне или не помог. Одна беда. Ты ж вдова. Каждый слово бросит... Люди наговорились, собаки набрехались...”

“Девятого мая. Идет сосед Василь — в орденах, медалях. Люди кланяются ему. Председатель его в президиум посадит возле себя. А мой же Иван и сыночек мой — один в Румынии, другой под Воронежем лежат. Так разве ж то и не мой день?”

Правда, не скажу. Теперь и на нас внимание обратили: открыточку пришлют, в магазин за товарами пригласят...”

“Ой, бабоньки, а детей мы вырастили, хотя и без мужиков. Хороших детей. Работников. И внуков прижда- ли. Поглядел бы Иван на своих пять внуков. Я другой раз стану возле его портрета, фотокарточки их покажу. Поговорю с ним. Расскажу...”

И каждая не забыла в конце сказать: “В нашей деревне через две-три хаты — и солдатка. Много нас после этой войны...”

А вот эти два рассказа — Феклы Федоровны Струй и Софии Мироновны Верещак — в моей памяти всегда соседствуют. Хотя записала я их в разное время и Фекла Федоровна живет в городском поселке Дисна на Витеб- щине, а София Мироновна — в Киеве. Но вспоминаю одну, тут же рядом встает лицо другой. Две жизни, а как будто одна.

...В городской поселок Дисна к Фекле Федоровне Струй, участнице партизанского движения на Вилейщине, я поехала с сопроводительным письмом поэтессы Эди Семеновны Огнецвет. “Судьба Алексея Мересьева... Только женская, а потому драматичнее”, — сказала она, вручая мне письмо.

Деревенские мальчишки, как всегда, самый инфор- мированный народ, вели меня по запутанным диснянским улицам, торопясь высказать все, что знают, перебивая друг друга:

— У тети Феклы есть медаль.

— Нет, орден. Папа сказал — орден.

— Мама моя поругалась с ними. Ихние куры поклевали наши огурцы...

— А вон их дом. Самый высокий...

Я уже знаю, что в этом доме гостей не встречают. Надо самой открыть дверь, поставить на пороге сумку, снять пальто и пройти в комнаты. Живут сестры Струй, Фекла Федоровна и Ольга Федоровна, вдвоем, обе тяжелобольные.

Открываю дверь, ставлю сумку, снимаю пальто. Прохожу... Обе одеты в праздничные кофты: "А нам уже сказали, что корреспондент приехал. Хлопчик соседский- ...".

И когда только успел?

Фекла Федоровна Струй, партизанка:

"Меня ранило в ноги, я потеряла сознание, а мороз был жгучий, когда я проснулась, у меня были отморожены руки. Теперь живые, хорошие руки, а тогда черные, потому что я ползла и они были мокрые. И ноги, конечно, тоже были отморожены. Если бы не мороз, может быть, ноги удалось бы спасти, но они были в крови, а я долго лежала. Положили меня вместе с другими ранеными, свезли в одно место много нас, а тут немцы снова окружают. Блокада... Нас как дрова на сани сложили. Некогда смотреть, как положили, что болит, а отвозят дальше в лес. Так отвозили и отвозили, а потом сообщили в Москву о моем ранении. Я ведь была депутатом Верховного Совета.

— У вас обе ноги были ранены?

— Да, обе. У меня сейчас протезы. Ноги мне отрезали там же, в лесу. Операция была в самых примитивных условиях. Положили на стол оперировать, и даже йода не было, простой пилой пилили ноги, обе ноги... Положили на стол, и нет йода... За шесть километров в другой отряд поехали за йодом, а я лежу на столе. Наркоза не было. Без наркоза, без ничего.

Связались с Москвой, чтобы прислали самолет. Самолет трижды прилетал, покружится-покружится, а опуститься не может. Кругом обстреливали. На четвертый раз сел, но у меня обе ноги уже были ампутированы. Потом в Иванове, в Ташкенте четыре раза делали реампутацию, четыре раза опять начиналась гангрена. По кусочку все резали, очень высоко. Плакала, аж заходилась: представляла, как по земле буду ползать. Ходить не смогу, а только ползать. И сама не знаю, что мне помогло, как тогда, в первые годы, выдержала. Конечно, добрые люди помогли. Много людей хороших встречала. У нас был хирург, он сам тоже без ног. Он говорил обо мне, это другие врачи передали: „Я преклоняюсь перед ней. Я столько мужчин оперировал, но таких не видел...“.

Потом приехала назад, в Дисну. Представьте себе, что я даже одного месяца не отдохнула и пошла работать.

— А как же ноги?

— Я с протезами приехала. Я теперь плохо хожу, потому что старая стала, а тогда бегала по городу и всюду пешком. И в колхозы ездила. Была зампредседателя райисполкома. Кто бы меня держал, если бы я в кабинете сидела.

— Как же вы работали?

— Даже обижалась, если мне поблажку делали. Тогда не было председателей таких грамотных, как сейчас. И если какая-то ответственная кампания, посылали людей из района. И вот по понедельникам вызывали нас в райком и посылали кого куда. Сижу утром, смотрю в окно — все идут и идут к райкому, а мне не звонят. И мне как-то больно было, мне хотелось быть, как все.

И вот звонок, звонит первый секретарь: „Фекла Федоровна, зайдите“. Какая я тогда была довольная, хоть мне очень и очень трудно было ездить по деревням, меня посылали и за двадцать, и за тридцать километров, где, бывало, подъедешь, а где и пешком. Иду где-нибудь в лесу, упаду, а встать не могу. Сумку положу, чтобы опереться, или за дерево зацеплюсь, встану и дальше иду. А пенсию получала, могла бы жить только для себя. Но не могла сидеть дома, хотелось быть полезной. Хотелось быть, как все люди. Вдвоем с сестрой живем... Дом нам построили...

— Хороший дом. Просторный, высокий. Я не видела раньше домов с такими высокими потолками...

— Нет, — берет меня за руку Фекла Федоровна, — это потому он тебе таким высоким показался, что детей в нем нет...”

Я уходила из этого большого дома с чувством вины: вот живет человек, о котором надо писать книги, петь песни, а мы о нем ничего не слышали. И сколько же их таких? Как много рядом с нами истории, еще не прочувствованной, еще не осознанной, как История.

..Во мне вместе с белорусской кровью течет и украинская. Может быть, потому так щемит сердце, когда

слышу запах киевских каштанов. Такой же маленький каштан мать привезла и посадила когда-то возле нашего дома на Полесье. А теперь, когда София Мироновна Верещак пишет мне письма, она называет меня "доченькой".

Это память завязывает наши жизни в один узел.

— Об одной войне я не могу вам рассказать, — предупредила меня сразу София Мироновна. — Я не могу говорить о своем военном прошлом отдельно от своего детства, юности, от своей семьи, школы. Надо говорить о всей жизни...

София Мироновна Верещак — участница героического Житомирского подполья, чудом уцелела в застенках СД. Вот ее собственный рассказ о своей жизни:

"Мне кажется, что сам воздух нашей довоенной жизни воспитал нас такими, какими мы потом показали себя. На последнем допросе в СД, после которого в третий раз я была внесена в список на расстрел, у третьего по счету следователя, говорившего, что он историк по образованию, было так... Этот фашист заставил меня объяснить ему, почему мы такие люди, почему для нас так важны наши идеи. Жизнь — выше любой идеи, — говорил он. Я, конечно, не соглашалась с этим, он кричал, бил. „Что? Что заставляет вас быть такими? Заставляет вас погибать? Почему коммунисты считают, что коммунизм должен победить во всем мире?" — спрашивал. Он прекрасно говорил по-русски.

И я решила ему все сказать, все равно знала, что убьют, так хоть недаром, и пусть знает, что мы сильны. Около четырех часов он спрашивал, а я отвечала, как знала, как успела до того изучить социально-экономические науки в школе и в университете. О, что с ним дела

лось! Хватался за голову, бегал по комнате, останавливался как вкопанный и глядел-глядел на меня, но впервые не бил...”

Можно представить себе этот нравственный поединок: избитая — “половина волос у меня вырвана, а до этого было две толстые косы”, полуголодная — “сначала хотела кусочек бы хлеба маленький-маленький, потом — ну хоть бы корочку, затем — хоть бы крошечки”, узница — и сытый сильный мужчина, убежденный нацист. Но что-то все-таки заставило его спросить: так кто же вы? Нет, еще не испугался, еще только сорок третий год. Но уже что-то почувствовал... какую-то опасность. Захотел узнать — какую? Она ему ответила. Слушал и даже бить перестал. Но когда ушла, внес в списки на расстрел...

“Мой самый счастливый день в жизни, когда отец с матерью, отъехав несколько десятков километров от дома, решили вернуться. Я знала — мы будем бороться. Нам казалось, что так скоро будет победа. Первое, что мы делали, — это находили и спасали раненых. Они были в поле, на улице, в канавах, в хлев заползут к кому-нибудь.

Мне кажется, что никогда я не была так счастлива, как в те дни. Я обрела родителей во второй раз. До этого я думала, что мой папа далек от политики. А это был беспартийный большевик. Моя мама — малограмотная крестьянка, она верила в бога. Она молилась всю войну. Но как? Падала перед образом на колени: „Спаси народ, спаси коммунистическую партию от этого ирода Гитлера“. Каждый день на допросе в СД я ожидала, что откроется дверь и войдут родные. Папа с мамой... Я знала, куда я попала, и я счастлива, что никого не предала. Больше, чем умереть, мы боялись предать. Когда меня арестовали

и повели, только тогда я поняла, что это такое, и впервые за все время оккупации испугалась: выдержу ли? Я поняла, что настал ужас, время мук.

К сожалению, плохо помню первый допрос. Я сознание не теряла... Один только раз сознание ушло, когда каким-то колесом выкручивали руки. Кажется, не кричала, хотя перед этим мне показали, как кричат другие. На следующих допросах уже теряла чувство боли, тело деревенело. И только когда все кончится, уже в камере чувствовала, что вся я — одна рана. Но выдержать. Выдержать! Чтобы мама узнала, что я умираю человеком, никого не предала. Мама!

Раздевали. Били, подвешивали. Фотографировали. Когда фотографировали, я чувствовала боль. Странно, чувствовала физическую боль. А до того как деревянная. Руками можешь закрыть только груди... Я видела, как сходили с ума. Видела, как маленький Коленька, ему не было года, мы его учили говорить: „мама“, как он, когда его забирали у матери, он понял, что лишается матери, и закричал первый раз в своей жизни: „Мама!“. Это было не слово или не только слово, это только дитя может издать такие звуки.

Я не могу об этом рассказывать, я всегда после этого болею. Мне говорят: „Не ходи никуда. Ну зачем ты ходишь в школы? Береги себя“. Кто мне дал право себя щадить, когда тех нет? Коленьки нет, его молодой матери. О, каких людей я там встретила! Они умирали в подвалах СД, и о их мужестве часто знали только стены. И теперь, сорок лет спустя, я мысленно опускаюсь перед ними на колени. „Умереть — проще всего“, — говорили они. А вот жить... Если бы кто-нибудь до этого мне сказал, что я перенесу все то, что со мной было, я бы не поверила.



Молодежь сейчас боится пафоса, возвышенных слов. Мы не боялись. Сила воли, говорят, у меня, поэтому я выдержала. Нет! Сила убеждений! Мы верили, очень верили: победа над врагом придет, в одном только сомневались — доживем ли мы до этого великого дня?

У нас в камере было маленькое окошко, нет, не окошко, а дырка, надо было, чтобы кто-нибудь тебя подсадил, и тогда увидишь — и то даже не кусочек неба, а кусочек крыши. А мы были все такие слабые, что посадить друг друга не могли. Но была у нас Аня, парашютистка. Ее схватили, когда их сбрасывали с самолета. И вот она, вся окровавленная, избитая, вдруг попросила:

„Подтолкните меня, я выгляну на волю. Хочу туда, и все.“

Когда мы ее все вместе подняли, она говорит: „Девочки, там цветочек...“. И тогда каждая стала проситься: „И меня...“, „И меня..“. И откуда-то у нас взялись силы помочь друг другу. А то был одуванчик, как его занесло на эту крышу, как он там удержался, не знаю. И мы стали следить за ним каждое утро. И каждый что-то загадал на этот цветок. Как я теперь думаю, каждый загадал: выйдет ли он живой из этого ада?

Когда Аню вызвали в последний раз, это было рано утром, когда на допрос не вызывали, а все знали, что это уже конец, что это уже расстрел, она только попросила: „Девочки, достаньте воды. Полейте цветок...“.

Говорить долго Софии Мироновне трудно. “Может, короче?” — спрашивает. Короче нельзя. Да и сама она уже короче не может. Я чувствую, как она страдает от мысли, что лишь самую малую, самую ничтожную часть пережитого можно передать в словах. Мне даже кажется,

что сейчас она не со мной, а там, в прошлом. И уже сама с собой говорит, со своей памятью.

“Мне кажется важным рассказать вам о природе, на фоне которой все совершалось. Это почему-то я очень запомнила. Всю оккупацию было другое небо, оно было тяжелое, свинцового цвета, повисшее низко-низко над землей. Хотелось что-то сделать, чтобы небо прорвалось хотя бы в одном месте, стало светлее. Я так любила весну. Любила, когда цветут вишни и возле сиреневых кустов пахнет сиреневыми духами... Вы не удивляйтесь моему стилю, я стихи писала. А сейчас я весну не люблю. Это война стала между нами, между мной и природой. Когда цвели вишни, я видела фашистов в родном Житомире...

Я осталась жива чудом. Спасли меня люди, которые уважали моего отца. Отец был врач, по тем временам это было очень много. Меня привезли домой, я вся была в ранах, сразу высыпала нервная экзема. Я мамино и папиного голоса слышать не могла. Я все время кричала, замолкала только в горячей воде. Маму ни на секунду не отпускала от себя, она просилась: „Дочка, мне надо ж к печи, на огород...“. Я ее не отпускала. Как только она уходила, на меня все опять наваливалось. Все, что со мной было. Чтобы чем-то отвлечь, она приносила мне цветы. Все равно... Платье, в котором я была в СД, мама держала у себя. Никому не доверяла. И когда умирала, оно у нее под подушкой было. До ее смерти...

Первый раз я поднялась, когда увидела наших солдат. Вдруг я, которая лежала больше года, схватываюсь и выбегаю на улицу: „Родные мои! Роднусенькие...“, Солдаты на руках внесли меня в хату. В подъеме я на второй и на третий день побежала в военкомат: „Дайте мне ра

боту!". Папе сказали, он пришел за мной: „Детка, как ты пришла? Кто тебе помог?". Меняхватило на несколько дней. И снова начались боли. Я кричала целыми днями. Люди шли мимо хаты, просили: „Господи, или прими ее душу, или помоги, чтобы она не мучилась..".

Спасли меня целебные грязи Цхалтубо. Спасло желание жить. Жить, жить и — больше ничего. Я еще жила. Жила, как все... Четырнадцать лет работала в Центральной библиотеке Академии наук. Это были радостные годы. Самые-самые. Теперь жизнь превратилась в сплошную борьбу с болезнями. Старость, что ни говорите, вещь скверная. Да еще болезни. Еще одиночество. Эти длинные ночи без сна... И вот сколько лет прошло, а мой самый страшный сон, я просыпаюсь в холодном поту. Я не помню фамилии Ани... Я не помню, то ли она с Брянщины, то ли со Смоленщины. А как она не хотела умирать! Заложит белые полные руки за голову и в окно через решетку кричит: „Я жить хочу!". И я не могу найти ее родителей, передать им последний привет. Мне кажется, что я в каком-то вечном долгу."

И на Полотчине я услышала о том же. О долге человека перед человеком. И перед памятью.

Клара Васильевна Гончарова, рядовая, зенитчица:

“После войны поехала в деревню подписывать на заем. Люди живут в землянках. Приедешь — деревни нет, все в земле... Вышла женщина, какая там на ней одежда, страшно смотреть. Я зашла в землянку, сидят трое детей, они все голодные. Она им что-то толкла в ступке, какую-то траву.

Она спросила у меня:

— Ты пришла подписывать на заем?

Я говорю:

— Да.

Она:

— У меня денег нет, но у меня есть курица. Пойду спрошу, если соседка, она вчера просила у меня, купит, я тебе отдам.

Я сейчас рассказываю это, у меня ком в горле. У нее мужа убили на фронте, осталось трое детей, и ничего нет, только эта одна курица, и она ее продает, чтобы отдать мне деньги. Мы тогда собирали наличными. Она готова все отдать, чтобы только мир был, чтобы дети ее остались живы. Я не могу об этом говорить... Я фронт прошла, но я чувствовала себя в долгу перед этой женщиной... Помню ее лицо. И всех детей ее..."

Велики наши человеческие долги за ту бульбу дробенькую, за эту последнюю курицу.

# “Мама, что такое — папа?”

О женщине-матери должен быть отдельный рассказ. Хотя называть рассказами то, что я слышу и записываю, наверное, нельзя. Это не рассказы или не только рассказы и воспоминания. Это — живое чувство, живая боль, живая память, особенно когда рассказывает сама мать или вспоминают о матери.

Разве не живая неутраченная рана то, что я услышала в маленькой квартирке Любви Игоревны Рудковской, партизанки Второй минской бригады отряда имени Кутузова?

“Я бегу, нас несколько человек бежит. А там моя уже стоит под автоматами. Но она видит, как мы бежим... И я слышу ее голос, она кричит. Мне потом люди рассказывали, как она кричала. Она кричала: „Хорошо, что ты платье белое одела и белые туфли. Тебя уже некому будет одеть...“. Она была уверена, что меня убьют, и у нее была радость, что я буду лежать вся в белом... Была такая тишина, почему-то не стреляли. Было слышно только, как моя мама кричит. А может, стреляли? Я не помню... Один мамин голос помню...”

За войну вся наша семья погибла. Кончилась война, а мне ждать некого”.

В другой раз ко мне в редакцию пришла спокойная, улыбчивая женщина с молодой короткой стрижкой, принесла свои военные записки. Не предполагая, насколько драматично то, о чем она будет рассказывать, я хотела начать наш разговор прямо в кабинете.

— Нет, — попросила она, — пойдете куда-нибудь, где никого нет.

Мы пошли в парк.

— Об этом я не написала, а рассказать хочу.

— А о чем вы написали?

— О боевых действиях нашего партизанского отряда.

— А о чем хотите рассказать?

— Как я жила в войну с двумя маленькими детьми...

Вот он, рассказ Раисы Григорьевны Хасеневич, партизанки бригады "Народные мстители" имени В.Т. Вороня некого:

"Стали бомбить Минск. Я бегом в детский сад за сыном, а дочь у меня была за городом. Ей как раз исполнилось два годика, она была в яслях, а ясли выехали за город. Я решила забрать сына и отвести домой, а потом идти за ней. Хотелось скорее собрать всех вместе, чтобы дети были рядом.

Подхожу к детсаду, а самолеты над городом, где-то бомбят. Слышу голос сынишки, ему было неполных четыре годика:

— Вы не бойтесь, мама сказала, их разобьют...

Заглядываю в калитку, а их человек пять, и это он так успокаивает других. А увидел меня, начал дрожать, плакать, оказывается, он страшно боялся.

Привела его домой, попросила свекровь присмотреть, а сама пошла за девочкой. Пришла на то место, где должны быть ясли, никого там нет. Кто-то из деревенских людей подсказал, что детей увезли. Куда? Кто? Го

ворят, что, наверное, в город. Было с ними две воспитательницы, никакой машины не было, и они пошли пешком. Это недалеко за городом. Пятнадцать — двадцать километров. Но это же такие маленькие дети, от годика до двух... Я искала их две недели... Когда зашла в дом и мне сказали, что это именно эти ясли, эти дети, я не поверила. Они лежали, извините, в испражнениях, с температурой. Как мертвые. Заведующая яслями совсем молодая женщина, она стала седая. Они, оказывается, весь путь до города прошли пешком, их теряли по дороге, многие дети умирали...

Хожу между ними и не узнаю свою дочь. Заведующая меня успокаивает:

— Не отчаивайтесь, ищите. Она должна быть здесь. Я ее помню...

Я нашла свою Элочку по одному ботиночку... так бы я ее никогда не узнала...

Потом сгорел наш дом... Мы остались на улице, остались в чем стоим. Это уже немецкие части вошли в город. Нам некуда было деться, несколько дней я ходила с детьми по улице. Встречаю Тamarу Сергеевну Синицу, до войны мы с ней были немного знакомы. Она выслушала меня и говорит:

— Идемте ко мне.

— Мои дети коклюшем болеют. Как я могу к вам идти?

У нее тоже были маленькие дети, они могли заразиться. А это же такое время... Ни врачей, ни лекарств. Ничего...

— Нет, идем.

Такое разве забудешь? Они шелухой делились с нами. Из своей старой юбки я сшила сыну штанишки, чтобы что-нибудь ему подарить на день рождения...

Казалось бы, все силы матери уходили на то, чтобы спасти своих маленьких детей — четырехлетнего сынишку Леню и двухлетнюю дочь Элочку в условиях оккупированного города. И кто бы ее осудил, если бы только этой мыслью она и жила? Нет такого суда над ней, кроме собственного. Как только представится возможность, удастся наладить связь, Раиса Григорьевна включится в подпольную работу. Сына, потому что он все-таки постарше и за ним легче присмотреть, она отведет свекрови, которая поставит условие: „Возьму внука, но чтобы ты больше в дом не приходила. Из-за тебя и нас убьют...“. Три года мать не будет видеть сына. А с дочкой, когда на ее след нападет СД, она уйдет в партизаны: „Я буду нести ее на руках пятьдесят километров...“.

— Дочка была с вами в партизанах все время? — спрашиваю я Раису Григорьевну.

— Больше года она была со мной. Часто думаю: как мы это пережили? Вот я женщина, как я это перенесла? Не знаю... Спросите меня — не скажу. Милая моя, такое выдержать невозможно. От слова „партизанская блокада“ у меня и сегодня стучат зубы.

Чего стоило пережить только май и июнь сорок третьего? Меня тогда послали с пишущей машинкой в борисовскую партизанскую зону. У них была наша машинка, с нашим шрифтом, а потребовалась с немецким шрифтом, такая была только у нас. Это была машинка, которую я по заданию подпольного комитета вынесла из оккупированного Минска. Когда я пришла туда, к озеру Палик, че



рез несколько дней началась блокада. Вот куда я попала...

А я пришла не одна, я пришла с дочкой. Когда уходила на операцию на день-два, я ее оставляла на чужих людей, а оставить ее на долгое время было негде. И, конечно, ребенка я взяла с собой. И мы попали с ней в блокаду... Если мужчины шли только с винтовкой, то я несла винтовку, пишущую машинку и Элочку. Идем, я споткнулась, она через меня — и в болото. Пройдем — и опять летит... И так два месяца! Я клялась себе, что, если выживу, буду за тысячу километров от болота, что я его больше видеть не смогу.

— Я знаю, почему ты не ложишься, когда стреляют. Ты хочешь, чтобы мне голову сорвало и тебе...

Это ребенок мне говорил, четыре годика. А я не имела сил лечь, если я лягу, то я уже не встану.

Партизаны другой раз пожалеют:

— Хватит. Давай мы дочку понесем...

А я никому не доверяла. Вдруг начнется обстрел, вдруг без меня убьют, я не увижу? Вдруг потеряется?..

Встретил меня комбриг Лопатин.

— Ну и женщина! — был он потрясен. — В такой обстановке ребенка несла и машинку не бросила. Это же не всякий мужчина смог бы.

Взял Элочку на руки, обнимает, целует. Вывернул все свои карманы — высыпал ей крошки. Она запила болотной водой. И по его примеру другие партизаны вывернули свои карманы и высыпали ей крошки.

Когда мы вышли из блокады, я была совсем больная. Вся в фурункулах, кожа сползала с меня. А на руках

ребенок... Ждали самолет с Большой земли, сказали, что, если он прилетит, отправят самых тяжелых раненых и могут взять мою Элочку. И вот я помню эту минуту, когда ее отправляли. Раненые, у кого руки остались, тянутся к ней: „Элочка, ко мне... Ко мне... Хватит места...". Они все ее знали, она в госпитале пела им: „Эх, как бы дожить бы до свадьбы-женитьбы"...

Летчик спрашивает:

- С кем ты здесь, девочка?
- С мамой. Она за кабинкой осталась...
- Позови маму, чтобы летела с тобой.
- Нет, маме нельзя улетать. Она должна бить фашистов.

Вот такие они были, наши дети. А я смотрю на ее личико, и у меня спазмы — увижу ли я ее когда-нибудь?..

Я вам еще расскажу, как мы с сыном встретились. Это уже после освобождения. Иду к дому, где родители мужа жили, а ноги — вата... Женщины в отряде, которые были постарше, предупредили:

— Ты, если увидишь его, ни в коем случае не признавайся сразу, что ты его мать. Ты представляешь, что он тут пережил?

Бежит соседская девочка:

— Ой! Мама Лени. А Леня жив...

У меня ноги не идут дальше: сын жив. Она рассказала, что родители моего мужа умерли от тифа, а Леню взяла соседка.

Захожу к ним во двор. В чем я? В немецкой гимнастерке, заштопанной черной юбке, в сапогах стареньких.

Соседка меня сразу узнала, но молчит. А сын сидит, бо- сый, оборванный.

— Как тебя зовут, мальчик? — спрашиваю.

— Леня...

— А с кем ты живешь?

— Жил раньше с бабушкой и дедушкой. Когда они умерли, я их похоронил. Я приходил к ним каждый день и просил, чтобы они забрали меня в могилку. В доме было холодно, нечего было есть. Я боялся один спать...

— А где твои папа с мамой?

— Папа живой, он на фронте. А маму убили фашисты. Так бабушка говорила...

Со мной было двое партизан. Они хоронили своих товарищей. И они слушают, как он мне отвечает, и плачут.

Тут я не выдержала:

— Почему же ты свою маму не узнаешь?

— Мама!!!

Это был такой крик. Такая истерика... Он месяц меня никуда не отпускал, даже на работу. Я брала его с собой. Ему мало было видеть меня, что я рядом, он должен был за меня держаться. Вот мы сядем обедать, он одной рукой держится за меня, а другой ест.

А мамы у меня уже не было, маму немцы сожгли. Даже могилы ее нет. Возле дома у меня сейчас много цветов, но в одном месте я огородила их кустарником — сиренью, боярышником, мелкой белой розой. Это в память о матери... Где-то же должен быть ее кусочек земли.

Когда мы встретились с мужем, недели не хватило, чтобы все рассказать. Я ему и день и ночь рассказывала...”

Великое материнское сердце! Иногда мы думаем, что знаем все о твоём мужестве и твоей любви, о твоём терпении и твоей нежности, о твоей печали и твоей вере, о твоих слезах и твоих радостях. Нет, мы ничего о тебе не знаем, так ты бесконечно.

Со слова партизанки Ларисы Леонтьевны Короткой:

“...Хоронить партизан приходилось часто. То на засаду наткнется группа, то в бою погибнут... Я вам расскажу про одни похороны...

Был очень тяжелый бой. В том бою мы потеряли много людей, в том бою и я была ранена. И вот после боя похороны. Обычно над могилой говорили короткие речи. Сначала говорили командиры. А тут среди погибших был один местный парень, и на похороны пришла его мать. Стала она оплакивать: „А мой же сыночек! А мы ж тебе хатачку будавали!.. А ты ж казав, што нам мала- дую прывядзеш! А ты ж вяпчаешся з зямелькай...”.

Строй стоит, все молчат, ее не трогают. Потом она подняла голову и увидела, что убит не только ее сын, а много молодых лежит, и она по тем, чужим сыновьям стала плакать: „А мае ж вы сыночкі родныя! А ваши ж ма- мачкі не бачаць вас, яны ж не ведаюць, што вас у зя- мельку кладуць! Дык паплачу я па вас па всіх...”.

И как она только сказала: „па вас па всіх” — все мужчины в голос начали плакать. Никто сдержаться не

мог... Строй рыдает... И тогда командир крикнул: „Салют! " И салют все заглушил.

И вот меня поразило, я и теперь об этом думаю, то величие сердца матери. В таком великом горе, когда хоронят ее сына, у нее хватило сердца, чтобы оплакать и других сыновей...”

Из рассказа Веры Иосифовны Витушка, секретаря Заславского подпольного райкома партии.

“...Много слез было на этой войне. А материнских слез больше всего...”

И это забыть нельзя, зная, против кого и за что наш народ сражался, какая страшная это была война — длиною в двадцать миллионов человеческих жизней. А какая статистика сосчитает раненные войной души? Или откроет, как война лишала женщин материнского счастья, ежедневных материнских радостей и чувств? Матери уходили на фронт, в партизанские отряды, а дети росли с бабушками или с чужими людьми.

У матерей свой счет к войне. Особый счет.

Профессор-невропатолог девятой Минской клинической больницы, а в войну партизанский врач Мария Васильевна Павловец вспоминает:

“Пришла в деревню. Играют возле нашего дома дети. Я смотрю и думаю: „Которое же мое?“. Все одинаковые. И стриженные, как раньше овец стригли, рядами. Свою дочь я не узнала, спросила, кто из них Люся. И смотрю, один из малышей в длинной рубашке подхватился и побежал к дому. Трудно было разобрать, кто девочка, кто мальчик, так они были все одеты. Я снова спрашиваю:

— Так кто же из вас Люся?

Они показывают пальцем, что, мол, побежала. И я поняла, что это была моя дочь.

Через какую-то минуту ведет ее за руку бабушка, это уже моей матери мать. Она ведет ее мне навстречу:

— Идем, идем... Мы сейчас этой маме дадим за то, что она нас бросила...

Я была в мужской военной одежде, в пилотке и на лошади, а маму она, конечно, представляла, как бабушку, как других женщин. А тут приехал солдат.

Долго она ко мне не шла на руки, пугалась. И тут обижайся не обижайся, а я же ее не растила, она же росла с другими людьми.

Я привезла с собой мыла, и когда начала ее мыть, она кусала его зубами, ей хотелось его попробовать, съесть. Так они жили. Мать свою я помнила молодой женщиной, а встретила меня старушка. Ей сказали, что дочка приехала, она выскочила из огорода на улицу. Увидела меня, руки распростерла и бежит. И я ее узнала, бегу к ней. Она не добежала до меня несколько шагов, упала без сил. Я рядом упала. Целую мать. Целую землю. И такая ненависть к фашистам за все... И за это тоже... Я помню, как лежит раненый немец и руками хватается за землю, ему больно, а наш солдат подошел к нему: „Не трогай, это моя земля! Твоя там, откуда пришел...“

Антонина Григорьевна Бондарева, гвардии лейтенант, старший летчик:

“До войны я успела выйти замуж, родила девочку. И тут война. Муж был летчик, он погиб под Москвой. Как получила на него похоронку, стала проситься на фронт.

Если он погиб, значит, я должна защитить свою девочку — такие у меня были мысли. И что-то скоро меня, помню, взяли. Зачислили в сто двадцать пятый гвардейский бомбардировочный авиационный Борисовский полк.

Дочь свою я оставила у свекрови, но на скоро умерла. У мужа была сестра, и она взяла девочку. А после войны, когда я демобилизовалась, она не хотела мне отдавать мою дочку. Говорила что-то вроде того, что у тебя не может быть дочери, раз ты бросила ребенка и пошла воевать. Как это мать может бросить своего ребенка, да еще такого маленького? Я вернулась с войны, моей дочери уже было семь лет, а я ее оставила в три года. Меня встретила взрослая девочка. Маленькая, она недоедала, недосыпала, рядом был госпиталь, она ходила туда, выступала, плясала, ей давали хлеба. Это она мне потом рассказала... Они тяжело жила.

— А вы чувствовали себя виноватой?

— Вины не было... Я часто дочку вспоминала на фронте, я ее ни на минуту не забывала, она мне снилась. Я очень тосковала. Но я не обиделась на золовку. Старалась ее понять, она очень любила брата, он был сильный, красивый, нельзя было поверить, что такого могут убить. Ей не хотелось отдавать то, что от него осталось. И она была из тех женщин, для которых семья, дети — самое главное в жизни. Бомбежка, обстрел, а у нее одна мысль: как это ребенка сегодня не купали? Я не могу ее осуждать...

— Она пыталась вас понять? Как вам тяжело?

— Нет. Она говорила, что я жестокая, что я даже не женщина. Я много плакала. Я даже прислушивалась как-то к себе, может, я действительно железная, как она говорит. Но ничего такого в себе не находила. Мы ведь на

войне очень страдали, что лишились семьи, дома, своих детей. У многих дети остались дома, не только у меня. Сидим под парашютом, ждем задания. Мужчины курят, играют в домино, а мы, пока ракеты нет для вылета, сидим, вышиваем платочки. Мы оставались женщинами. Знаете, вот мой штурман. Она хотела фотографию домой послать, так мы ей, у кого-то нашелся платок, повязали тот платок, чтобы погонов не было видно, закрыли гимнастерку одеялом. И она как будто в платье... И вот так сфотографировалась. Это была у нее любимая фотография...

Мы очень хотели быть женственными женщинами, хорошими матерями..."

Еще одна встреча, еще один рассказ...

...Осенние дожди залили узкие улочки райцентра Березино так, что по нужному адресу я добиралась не пятнадцать минут, как сказали мне на автобусной остановке, а больше часа. Пришлось идти в обход разлившегося озера, маленького, но тяжело дышащего черными клубами дыма завода, блестящих шлемов двух новеньких сенажных башен.

Дом у Любви Захаровны Новик большой, как заведено по-крестьянски, на две половины. Мы сели в светлой. Сели на диване под семейными фотографиями и белой подушечкой, на которой были наколоты военные медали: "Перед Девятым мая сниму, протру, чтобы блестели".

Залез к хозяйке на колени кот, приластился. Толкнула рогами в закрытые ворота хозяйская корова. Хозяин вышел ее пустить. Звякнула цепью собака...



А нам надо было говорить о войне. Не ждала меня Любовь Захаровна Новик:

“Пошли в наступление. И когда у раненого пошла артериальная кровь, а раньше я никогда не видела, бьет фонтаном, то я бросилась за врачом. А сам раненый кричит: „Куда? Ты куда? Перевязывай ремнем!“. И только тогда я пришла в чувство...”

— Любовь Захаровна, из всей войны что вам больше всего запомнилось?

— Самое страшное, что я помню? Это когда восьмилетний хлопчик без мамки остался. Мамку убили. Страшно, когда гибли солдаты, но когда гибли матери, когда смерть их делалась на глазах детей... Ребенок сидит на дороге возле мертвой матери... Он же не понимает, что ее уже нет, он ждет, когда она проснется, и просит есть. Большого страха, чем это, я не видела.

Командир наш не отпустил этого мальчика, взял к себе. Так он с нами и был. Как сын полка.

И о самом сокровенном, почти шепотом:

— Вы уйдете, муж будет ругаться. Он не любит таких разговоров. Он на войне не был, молодой, моложе меня. У нас детей нет. Я все вспоминаю того хлопчика. Мог бы быть мой сын...

Мне после войны всех было жалко. Певню голову открутить — жалко. Кабана колют, кричит — жалко. Собак хромых, кошек. Всех подбираю... Как-то не могла чужой боли переносить. Работала в больнице, так больные меня очень любили, что такая добрая.

В дорогу Любовь Захаровна насыпает мне яблоч:

— Я никогда не продаю. Ни одного яблока, ни одной ягодки не продала. Так раздам — раздам людям...

Во многих квартирах я записывала сразу два рассказа — матери и уже взрослой дочери, а тогда, в войну, маленькой девочки. И детская память часто совершенно с неожиданной стороны высвечивала события. Вот один из таких рассказов — минской подпольщицы, а затем участницы французского Сопротивления — Людмилы Михайловны Кашичкиной и ее дочери Наташи, теперь уже Натальи Константиновны.

Людмила Михайловна:

“До войны я работала детским врачом. Дети и дети... Всегда я с детьми... А тут война и подпольная работа. Мне было всего двадцать три года.

Схватят товарищей — несколько дней страшного ожидания: выдержат пытки или нет? Через какое-то время становится известно, что их будут казнить. Дают задание: идти посмотреть, кого сегодня будут вешать. Идешь по улице, видишь: уже готовят веревку... Плакать нельзя, задержаться лишнюю секунду нельзя, потому что везде шпики. А ты с этим товарищем вместе работал, дружил... И сколько надо было, нехорошее тут слово — мужества, сколько надо сил душевных, чтобы выдержать. И знаешь, что то же самое может ожидать тебя завтра.

Я знала, на что иду, но поняла, почувствовала все, когда меня забрали в СД. Били и сапогами, и плетками. Узнала, что такое фашистский „маникюр“. Руки твои кладут на стол и какая-то такая машинка втыкает тебе под ногти иголки... Одновременно под каждый ноготь. Это адская боль. Сразу теряешь сознание. Даже не помню,

знаю, что боль страшная, а что потом, не помню. Меня растягивали на бревнах. Может, это не точно, может, неправильно. Но я помню вот что: тут такое бревно и тут, а тебя между ними кладут... И какая-то машинка. И ты слышишь, как у тебя хрустят-выворачиваются кости... Долго ли это? Тоже не помню... Меня пытали на электрическом стуле... Это когда я плюнула одному из палачей в лицо... Молодой, старый — ничего не помню. Они раздели меня догола, и этот подошел и взял меня за грудь... Я была бессильна... Я могла только плюнуть... И я плюнула ему в лицо. Они посадили меня на электрический стул...

Я с тех пор очень плохо переношу электричество. Помню, что вот тебя начинает бросать... И теперь даже гладить не могу... На всю жизнь это у меня осталось. Когда я начинаю гладить, я по всему телу чувствую ток. Ничего делать не могу, что связано с электричеством... Может, нужна была какая-то психотерапия после войны? Не знаю. Но уже прожила жизнь так (плачет).

Не знаю, чего это я сегодня расплакалась. Тогда я не плакала. Сказали бы: заплачь, чтобы вот только были слезы, не смогла бы. Все задеревенело, вся я как деревянная. Я бы никогда в это не поверила, если бы сама не перенесла. Ни одной слезинки не было. А так все отбили, что кожа шелестела, не могла сесть, пока наново не приросла. И ни одной слезинки...

Приговорили меня к смертной казни через повешение. Поместили в камеру смертников. Там были еще две женщины. Знаете, мы не плакали, не бросались в панику: мы ведь знали, идя в подполье, что нас ждет, и поэтому держались спокойно. Говорили о поэзии, вспоминали любимые оперы... Много говорили об Анне Карениной... Мы даже не вспоминали о своих детях, мы о них боялись вс-

поминать. Даже улыбались. Друг друга подбадривали. Так мы провели двое с половиной суток...

Утром на третьи сутки меня вызвали. Мы попрощались, расцеловались без слез. Страх не было: по-видимому, я настолько привыкла к мысли о смерти, что страха уже не было. И слез не было. Какая-то пустота была. Уже ни о ком не думалось...

Долго мы ехали, я даже не помню сколько, ведь я прощалась с жизнью... Но машина остановилась, и мы, нас было человек двадцать в машине, оказались в лагере. Мы не могли слезть с машины, настолько были истерзаны. Нас, как мертвых собак, сбросили на землю, и комендант приказал ползти к баракам. Мы ползем, а он нас плеткой бьет, и мы оставляем кровавые следы. До лагеря было метров триста. Что мы могли сделать?.. Но это еще не самое ужасное...

Видим: стоят заключенные, разделены на две группы. С левой стороны не трогают, а тех, кто справа, заставляют раздеваться догола, одежду бросают в ящики, у кого зубные протезы — вытаскивают и бросают в другой ящик, а людей заталкивают в душегубку. И это все на наших глазах. Стоит возле одного барака женщина и кормит грудью ребенка. И как-то знаете... И собаки здесь, и охрана, все остолбенели, стоят и не берут. Она последняя осталась... Комендант увидел эту картину, что никто ее не трогает. Подбежал, схватил этого ребенка и прямо, знаете, о кран... (Плачет.) Простите, я сейчас договорю... И от этого ребенка и кровь и мозги по стене, а что осталось, он бросил в душегубку. Подходит к этой женщине, начинает срывать с нее одежду, и вдруг увидел у нее во рту золотые зубы. Схватил какой-то твердый

предмет и как ударил... и вытянул зубы вместе с кровью...

Вы, конечно, читали обо всем в книгах, а мы это видели. Пережили. Я даже сейчас не понимаю, почему люди не сходили с ума от того, что видели? От того, что творили? Комендант фашистский... Это же был с точки зрения психиатра, наверное, нормальный человек, а не безумный.

...И вот нас ведут на работу. Только стали спускаться, и вдруг я услышала голос: „Мама, мамочка!“. И вижу: стоит тетя Даша, а с тротуара бежит моя дочка. Они случайно шли по улице и увидели меня. Дочка как бежала, так сразу бросилась мне на шею. И вы представляете, там собаки, они специально выучены бросаться на людей, но ни одна собака не двинулась с места. Подойдешь, она же разрывает, они для этого выдрессированы, а тут ни одна не тронулась с места. Дочка бросилась ко мне, я не плакала, только говорила: „Доченька! Наташенька, не плачь... Я скоро буду дома...“, И охрана стояла, и собаки. И никто ее не тронул...

После этого случая нас не повели на работу, повели назад в лагерь. А в тот день на работе мне должны были устроить побег. Так побег сорвался.”

Наташа:

— В пять лет я стихов не знала. Тетя Даша научила меня молитвам. И я молилась за папу и маму, чтобы они остались живы. Этот страх потерять маму у меня остался и до сих пор. Я должна утром маме позвонить, мне надо ей сказать два слова: “Как ты себя чувствуешь? Хорошо? Ну и хорошо...” Я кладу трубку и начинаю свой день.

— И так каждый день?

— Если я не позвоню или мама куда-то ушла, у меня весь день будет внутри тревога, и тревога такая, что руки опускаются. Вечером, перед тем как лечь спать, я ей снова звоню, несмотря на то, что мне уже за сорок. Я должна от нее сама услышать хоть одно слово.

— А часто у мамы бываете?

— Ежедневно. Если не дежурю в больнице. Я детский психиатр, как и мама, стала врачом. Муж не может понять этого моего беспокойства, и раньше обижался, ревновал. Теперь примирился. Он видит, что это не причуда какая-то, а что я иначе не могу.

Я с детства мечтала, что буду врачом. Но хирургом не смогла быть. Крови я не боюсь, но вот резать живого человека, это у меня ассоциируется с тем, что я видела в войну: эти раны, люди, изорванные собаками... Практические у нас были в институте, и это стоило мне огромного труда...

В сорок четвертом, тринадцатого февраля, в эшелоне узниц Людмилу Михайловну Кашичкину отправляют на фашистскую каторгу в концлагерь Кроазет на берегу Ла-Манша. Восемнадцатого марта, в день Парижской Коммуны, французы устраивают побег, и она уходит в "маки":

"Память тех дней — ранение в позвоночник и французский орден „Боевой крест", — продолжает Людмила Михайловна. — Но сколько всего пережила, что после войны ничего не хотела помнить. Поэтому многие детали

забыла. Десятки лет я себе твердила: „Забыть! Забыть!..

»

Одно только не хотела забывать, как я возвращалась из Франции, первая остановка на нашей земле... Мы

все выскочили из вагонов, мы целовали землю, обнимали... Помню: я была в белом халате, упала на землю, целую ее, и за пазуху горстями кладу. Неужели, думаю, я еще когда-нибудь с ней расстанусь, с такой родной?..”

Через несколько дней Людмила Михайловна неожиданно позвонит мне:

— Я только что вернулась. Я нашла то место... Какое? Где был лагерь, в который нас привезли из тюрьмы. Столько лет боялась даже взглянуть в ту сторону, объезжала далеко, если вдруг надо было в тот район... А после нашего разговора, когда вы спросили, что же теперь на том месте, я и сама подумала: “А что же там теперь?”. Я как пьяная там ходила, все-все вспомнила. Где были бараки, баня. Где столбы, на которых вешали... Если хотите, можем вместе еще раз съездить. Это недалеко от центра. Туда и троллейбусы, и трамваи ходят...

И мы приедем на бывшую Широкую. Я увижу новые жилые дома, длинную коробку какого-то проектного института. Все покажется обыкновенным и привычным, ничем не примечательным. А Людмила Михайловна будет стоять и плакать:

— Тут все на человеческих костях. Тут тысячи людей лежат. Я даже некоторые лица помню...

Как я потом узнаю, бывшие узники лагеря обращались в Минский горисполком с просьбой увековечить место, на котором он находился, мемориальной доской. Если у земли, на которой мы живем, не будет памяти, кто же вырастет на ней? Нам надо думать об этом.

— В Минске должен стоять памятник Неизвестному подпольщику. Подполье редко разглашало имена. Люди

погибали часто без имени, но они не должны остаться без нашей памяти.

Пока живет эта раненная войной женщина, ее память — мост между войной и миром... Но она хочет знать, что будет завтра.

Свой счет к войне хранит память другой минской подпольщицы — Надежды Викентьевны Хатченко:

“Я иду с сыном по улице, а лежат убитые — и по одну сторону, и по другую. Я ему про Красную Шапочку рассказываю, а кругом убитые. Это когда мы из беженцев возвращались. Приходим к матери, и с ним неладно: залазит под кровать и сидит там целыми днями. Пять лет ему было, на улицу его не выгнать...

Год я с ним мучилась. Никак не могла добиться: в чем же дело? А мы жили в подвале, а когда кто идет по улице, то видны только сапоги. И вот он как-то вылез из-под кровати, увидел чьи-то сапоги в окне и как закричит... Потом я вспомнила, что фашист ударил его сапогом...

Ну, как-то это у него прошло. Играет во дворе с детьми, придет вечером домой и спрашивает:

— Мама, что такое — папа?

Я ему объясняю:

— Он беленький, красивый, он воюет в армии.

А когда Минск освобождали, то первыми в город ворвались танки. И вот мой сын прибегает в дом с плачем:

— Моего папы нет! Там все черные, нет белых...

Это был июль, танкисты все молодые, загорелые.



Муж пришел с войны инвалидом. Пришел не молодой, а старый, и у меня беда: сын привык думать, что отец — беленький, красивый, а пришел больной старый человек. И сын долго не признавал его за отца. Мне пришлось их приучать друг к другу.

Муж приходит поздно с работы, я ему говорю:

— Что же ты так поздно? Дима волновался: „Где мой папка?“.

Он ведь тоже за шесть лет войны (он был еще на японской) отвык от сына.

А когда что-нибудь куплю сыну, тогда говорю:

— Это папка купил, он о тебе заботится...

И потом они подружились. У отца было много чего рассказать...”

И на это должно было женщине достать душевных и физических сил: вернуть сыну отца, а отцу — сына. Она первая должна была думать о том, как наладить послевоенную жизнь, семью, помочь забыть войну своему мужу и своему ребенку. Первая, потому что в основе ее природы — сотворение жизни.

“Сколько видели убитых, что еще на фронте думала: если останусь жива, встречу хорошего человека, рожу много детей”. (Софья Ивановна Шеревера, гвардии младший сержант, телеграфистка.)

Рассказывает Мария Александровна Арестова, женщина легендарной судьбы. Первая в нашей стране женщина-машинист.

“...С двадцать девятого года работала я помощником машиниста. В то время женщины-машиниста не было нигде в Советском Союзе. Начальник паровозного депо был удивлен: „От, девчонка, обязательно ей нужна мужская профессия“. А я хотела стать машинистом, и только машинистом.

В тридцать первом году я стала первая в стране женщина-машинист. В то время Крупская много писала о равноправии, чтобы женщины овладевали мужскими профессиями. Когда я ехала на паровозе, на станциях собирались люди: „Девочка ведет паровоз“.

...У нас паровоз стоял на продувке, то есть в ремонте. Мы с мужем ездили по очереди, потому что у нас уже был ребенок, и мы устроились так: если он поехал — то я с ребенком, я поехала — он дома сидит. Как раз в тот день муж приехал, а я должна была ехать. Утром проснулась, слышу: что-то ненормальное на улице, шумно. Включила приемник: „Война!“. Я к мужу:

— Леня, вставай, война... Вставай, война!

Он побежал в депо, приходит весь в слезах:

— Война! Война!.. Ты знаешь, что такое война?

Что делать? Куда девать ребенка?

Эвакуировали меня с сыном в Ульяновск, в тыл. Дали двухкомнатную квартиру, квартира была хорошая, у меня такой и сейчас нет. Сына определили в детский садик. Все хорошо. Относились ко мне прекрасно. Как же — женщина-машинист, да еще первая... Но пожила я там немного, полгода не пожила. И больше не могу: как же, все защищают Родину, а я дома сижу!

Приехал муж:

— Что, Маруся, ты будешь в тылу сидеть?

— Нет, — говорю, — поедем.

В это время организовывалась колонна особого резерва для обслуживания фронта. Мы с мужем просились туда. Муж был старшим машинистом, а я машинистом. Четыре года в теплушке ездили, и сын вместе с нами, он у меня за всю войну даже кошку не видел. Когда поймал под Киевом кошку, наш состав страшно бомбили, налетело пять самолетов, а он обнял ее: „Кисанька, милая, как я рад, что я тебя увидел. Я не вижу никого, ну, посиди со мной. Дай я тебя поцелую". Ребенок. У ребенка все должно быть детское...

Сколько я провезла поездов на фронт? Вот считайте: один состав в сутки, в среднем выходит триста шестьдесят пять составов в год. А за четыре года? Перемножьте — полторы тысячи составов получится. Мы с мужем везли на фронт чехословацкий корпус полковника Свободы. Нас всегда бомбили, обстреливали из пулеметов. И стреляют-то по паровозу, им главное — убить машиниста, уничтожить паровоз. Самолеты опускались низко и били по теплушке и по паровозу, а в теплушке мой сын сидит. Я больше всего боялась за сына, когда бомбили, брала его из теплушки с собой на паровоз. Схватчу его, прижму к сердцу: „Пусть убьют одним осколком". Разве так убьет? Поэтому, видно, и жива осталась.

Сын сейчас врач, заведующий отделением. Я долго за него переживала. Мы приехали с фронта, ему было десять лет. Он пошел в первый класс. Я боялась, что он будет неполноценным, потому что нас все время бомбили, а он прекрасный парень, у меня невестка, трое вну

ков.

Паровоз — моя жизнь, моя молодость, мое самое красивое в жизни. Я бы и сейчас хотела водить поезда, но меня не пускают — старая... (Смеется.)

Вы не знаете, как страшно в войну иметь одного ребенка. Вот мы сейчас живем. Я живу с семьей сына. Я никуда не уезжаю, никогда путевок не беру... Вы не поверите: я не хочу расставаться с сыном, с внуками. Мне на один день страшно с ними расстаться. И сын у меня никуда не ездит. Скоро двадцать пять лет, как он работает, и ни разу никуда не ездил по путевке. На работе страшно удивлены, что он ни разу не попросил путевки. „Мамочка, я лучше побуду с тобой“, — вот что он говорит. И невестка у меня такая. Мы даже дачи не имеем только из-за того, что не можем расстаться даже на несколько дней. Это странно, может быть, на ваш взгляд, но я не могу жить без них ни минуты.

— Даже на несколько дней не можете расстаться?

— Нет, это невозможно не видеть их целый день. Если бы вы были на войне, вы бы знали, что это такое — расстаться на день. На один только день...”

Где же живет та мать, которая хочет войны? Желает ее своим детям, своим внукам?..

# **“Не могу видеть, как дети играют „в войну“...”**

“...В этом бою захватили очень много пленных. Были сред них раненые. Мы перевязывали их. А жара сильная. Нашли чайник, дали попить. А место открытое. Нас обстреливают. Приказ: срочно окопаться, сделать маскировку.

Мы стали копать окопы. Немцы смотрят. Мы им объясняем: мол, помогите копать, давайте работать. Они, когда поняли, что мы от них хотим, с ужасом на нас оглядывались, они так поняли, что, когда выкопают ямы, мы их поставим там и расстреляем. Они ожидали, что мы с ними поступим так, как они с нашими пленными. Надо было видеть, с каким ужасом они копали ямы.

А когда увидели, что мы их перевязали, что мы их напоили водичкой, что в эти ямы, которые они выкопали, мы им сказали прятаться, они не могли в себя прийти, они растерялись...” (из рассказа военной медсестры Н.В. Ильинской).

В одной из своих военных статей. Илья Эренбург писал, что война без ненависти аморальна, бесстыдна, как сожительство без любви. Ей нет оправдания. Эту священную ненависть наш солдат выстрадал, она у него была. Но случаев, подобных тому, о котором рассказала военная медсестра Нина Васильевна Ильинская, встречалось немало. Только не могло быть это всепрощением или абстрактным гуманизмом, когда рядом убитые, раненые, замученные, когда детские трупы вытаскивали из глубоких деревенских колодцев.

“Когда наша дивизия освободила лагерь под Азари-чами, к нам в медсанбат стали поступать раненые дети. Они были так истощены, что мы не находили вены, чтобы перелить кровь, просто косточки были обтянуты кожей. А присутствовать при ампутации детских ручек и ножек? Я уже понимала, что может болеть сердце, а тут у нас глаза болели, не было сил видеть эти детские страдания. Глаза я чувствовала, как сердце...” (З.Ф.Гирич, медсестра).

Было другое — человек не хотел забыть в себе человека. И эта нравственная победа оказалась самой великой нашей победой в эту страшную войну, казалось, не оставляющую других чувств к тому, кто был одет в фашистскую форму, кроме ненависти.

Женская память возвращала и возвращала меня на круги милосердия.

Эмилия Алексеевна Николаева ушла в армию санинструктором, попала в плен, бежала из лагеря военнопленных в один из партизанских отрядов бригады имени Ворошилова.

“Когда у нас появились пленные, я после всего перенесенного: после лагеря, после пыток, после унижений, — думала, что никакой пощады от меня им не будет. Как-то целую партию пленных пригнали... Мы с моей подружкой, она тоже по ихним лагерям поскиталась, без руки осталась, говорим: „Ну, черт, теперь мы над ними поизмываемся, как они над нами“. Но нет, не так наш человек воспитан. Не можешь ударить пленного, особенно если пожилой человек, не поднимается даже рука оскорбить...”

Вспоминает врач Минской республиканской больницы Вера Иосифовна Хорева, в войну хирург:

“Вызывает замполит:

— Вера Иосифовна, придется вам работать с немецкими ранеными.

А у меня к этому времени уже были убиты два брата.

— Не буду.

— Но, понимаете, надо.

— Я психологически не смогу, у меня погибли два брата, я видеть их не могу, я готова их резать, а не лечить. Поймите же меня...

— Это приказ.

— Раз приказ, тогда...

Я лечила этих раненых, делала все, что надо, но я очень переживала. Тогда я нашла у себя первые седые волосы. Именно тогда. Я им делала все, оперировала, кормила, обезболивала — все как положено. Одно только я не могла делать — это вечерний обход. Утром ты перевязываешь раненого, слушаешь пульс, одним словом, делаешь что-то, а во время вечернего обхода надо поговорить с больными, спросить, как они себя чувствуют. Вот этого я не могла. Перевязать, прооперировать — могла, а говорить с ними — нет. Я так и замполита сразу предупредила:

— Вечернего обхода я делать не буду...”

Из города Золотоноша Черкасской области пришло письмо от Екатерины Петровны Шалыгиной:

“Я воевала медсестрой. Помню первого немецкого раненого. У него началась гангрена, ему ампутировали ногу. И он лежал в моей палате.

Вечером мне говорят:

— Катя, иди посмотри своего немца.

Я пошла. Может, кровотечение или что. Он проснулся, лежит. Температуры нет, ничего.

Он так смотрит-смотрит, потом вытаскивает маленький такой пистолетик:

— На...

Он говорит по-немецки, я уже не помню, но я поняла, насколько хватило запаса школьных уроков.

— На... — говорит, — я хотел вас бить, но теперь вы бейте нас.

Вроде того, что его спасли. К концу войны у нас был целый немецкий госпиталь, было уже очень много немецких раненых. И вот я не забуду, как их легкораненые стаскивали мертвецов с пятого этажа. Они вытягивали их за ноги и спускали по ступенькам вниз. А ведь они рядом лежали, это были тоже немцы, как и они. А ты видишь, как он его подтащит к лестнице и бесцеремонно ногой вниз. И нас это поражало, хотя это были наши враги...”

Когда врага можно было рассмотреть “в лицо”, они спрашивали: кто же он, как смог творить такое? Ведь тоже человеком рожден? Это был трудный и мучительный вопрос. Но они задавали и задавали его себе. Каждая.

И, проникая в пережитое, изведенное, прочувствованное и сохраненное ими, мы обретаем новое понимание добра, подвига, ненависти, жестокости и любви.



Из письма москвички Марины Анатольевны Флеровской, старшего лейтенанта, политработника:

“Когда я еще в школе училась, была пионеркой, к нам в гости приезжали немецкие школьники. Мы ходили с ними в театр, мы с ними пели. Я одного немецкого мальчишку запомнила. Он так хорошо пел. И вот всю войну думала: а что, если встречу его и узнаю? Неужели он тоже среди этих? Я такая эмоциональная, с детства очень впечатлительная. Однажды иду по полю, только бой прошел, и мне показалось, что он лежал среди убитых. Ну, такой похожий молодой парень... В молодой пшенице лежит... И в небо смотрит... Я долго над ним стояла... И все равно трудно было поверить...”

Накручивает-накручивает магнитофонная лента. Рассказ за рассказом... И все как бы соединяется в одну человеческую судьбу.

Лилия Михайловна Будко, старшина, хирургическая медсестра:

“Привезли одного немецкого раненого. Мне кажется, что это был летчик. У него было перебито бедро, и началась гангрена. Какая-то взяла жалость. И ничего не просит, и ничего не делает.

Я немного немецкий язык понимала. Спрашиваю его:

— Пить дать?

— Нет.

Раненые знали, что в палате немец лежит. Он отдельно лежал. Я иду, они возмущаются:

— Так вы врагу воду несете?

— Нельзя так. Там вы друг друга убиваете, а тут... Надо хотя бы последние минуты человеку облегчить.

Нога вся у него синяя, ничего уже нельзя сделать. Заражение моментально сжирает человека, человек сгорает за сутки.

Даю я ему воду, а он на меня смотрит и говорит:

— Гитлер капут!

А это сорок второй год. Мы под Харьковом, в окружении.

Я спрашиваю:

— Почему?

— Гитлер капут!

Тогда я ему говорю:

— Это ты так думаешь и говоришь сейчас, потому что ты здесь лежишь. А там вы убиваете...

Он:

— Я не стрелял, я не убивал. Меня заставили. Но я не стрелял...

— Все так говорят, когда в плен попадают.

И вдруг он меня просит:

— Я очень... очень... прошу фрау... — и дает мне кучу фотографий.

Показывает, что вот его мама, он, его братья, сестры... Красивая такая фотография. На обратной стороне он пишет адрес:

— Вы будете там. Будете!.. — И это говорил немец в сорок втором году под Харьковом. — Так вы бросьте, пожалуйста, это в почтовый ящик.

Он написал адрес на одной фотографии, а там был полный конверт. И я эти фотографии долго с собой возила. Переживала, когда они при бомбежке пропали...”

Со слов Нины Петровны Саковой, лейтенанта, фельдшера:

“Я была старшим фельдшером в танковом полку. У нас „тридцатьчетверки“, они очень горели. Очень страшно. Я до этого не слышала даже выстрела из винтовки. Где-то один раз далеко-далеко бомбили, когда мы ехали на фронт, так мне казалось: вся земля дрожит. Семнадцать лет было, только техникум окончила. И так получилось, что я приехала — и сразу в бой.

Вылезла из танка... Пожар... Небо горит... Земля горит... Железо горит... Здесь мертвые, а там кричат: „Спасите“, „Помогите“... Такой на меня ужас напал! Я не знаю, как я не побежала? Как я не удрала с поля боя? Это же так страшно, что слов таких нет, только чувства. Я раньше не могла, а сейчас уже смотрю фильмы о войне, но все равно переплачу.

...Дошла до Германии. Все помню... Первое, что увидела на немецкой земле, — самодельный плакат у самой дороги: „Вот она — проклятая Германия!“.

Мы вошли в поселок, там одна старуха осталась. Они все бросали и удирали... Их убедили: „Русские придут, будут вас рубить, колоть, резать...“.

Я ей говорю, этой старухе:

— Мы победили.

Она заплакала:

— У меня два сына в России погибло.

— А кто виноват? Сколько у нас погибло! Кто хотел войны: мы или вы?

Она говорит:

— Гитлер...

— Гитлер сам не решал. Это же ваши дети, мужья...

Она тогда молчит. Может, даже и не верит. Она сама не видела. А моя мать умерла в войну от голода, у них ни соли, ничего не было. А брат лежал в госпитале тяжело раненный. Одна сестра дома осталась. Она писала, что, когда вошли наши войска в Орел, она всех военных девушек за шинель хватала. Ей казалось, что я обязательно буду там. У нас мужчин в роду почти не осталось- ...”

Написаны и собраны ли кем-нибудь свидетельства немецких солдат и офицеров, подобранных на поле боя нашими санинструкторами, вылеченных нашими врачами в наших госпиталях еще тогда, когда шли бои? Или немецких детей, кормившихся в сорок пятом возле наших походных солдатских кухонь? Что помнят они? Помнят ли о кусочке сахара, потянутом им советским солдатом, у которого их отцы, старше братья сожгли дом, убили ребенка, издевались над его женой? Если не помнит или не хочет помнить тот, кто брал, то помнят те, кто давал. И за него и за себя помнят.

Из воспоминаний санинструктора Софьи Адамовны Кунцевич:

“Перешли границу — Родина освобождена. Я не узнавала солдат, это были другие люди. Все улыбались. На

дели чистые рубахи. Откуда-то цветы в руках, таких счастливых людей никогда больше не видела. Я думала, что когда мы войдем в Германию, то у меня ни к кому пощады не будет. Столько ненависти скопилось в груди! Почему я должна пожалеть его ребенка, если он убил моего? Почему я должна пожалеть его мать, если он мою повесил? Почему я должна не трогать его дом, если он мой сжег? Почему? Хотелось увидеть их жен, их матерей, родивших таких сыновей. Как они будут смотреть нам в глаза?

Все мне вспомнилось, и я думаю: что же будет со мной? С нашими солдатами? Мы все помним... Пришли в какой-то поселок, дети бегают — голодные, несчастные. И я, которая клялась, что всех их ненавижу, я соберу у своих ребят все, что у них есть, что осталось от пайка, любой кусочек сахара, и отдам немецким детям. Конечно, я не забыла, я помнила обо всем, но смотреть спокойно в голодные детские глаза я не могла.

Ранним утром уже стояла очередь немецких детей около наших кухонь, давали первое и второе. У каждого ребенка через плечо перекинута сумка для хлеба, на поясе бидончик для супа и что-нибудь для второго — каши, гороха. К населению у нас ненависти не было. Я же вам говорю, мы кормили детей, даже гладили...”

Вот это женское — “гладили” — пронзает меня как током. Потому что погладить — это совсем не то, что покормить, это уже пожалеть. У них и на это хватало сил.

Вспоминает Вера Павловна Бородина, младший сержант, телеграфистка:

“Немцев пугали, что мы звери. Они топились, перерезали себе вены. Целыми семьями. Мы их отхаживали... Остановились в одном доме. Пусто. Хозяев нашли на чер

даке — мать и дочь. Они повесились, потому что их убедили, что, как только придут русские, начнется изнасилование, грабеж, убийство, Сибирь, лагеря...

И вдруг этого ничего нет! А им было известно, во что превращен Сталинград, во что превращена вся Россия, им показывали в кино. И они, конечно, предполагали, что все это начнется теперь на немецкой земле. Для них было удивительным отсутствие у нас мести.

Раз зашли в дом, хотели чаю попить. Много домов стояло пустых, они все бросали и убегали. Мы давай искать чашки, находим сервиз и видим рисунок наш — знакомые колоски такие... Читаем: „СССР, г. Одесса". Мы так чай и не попили..."

Анастасия Васильевна Воропаева, ефрейтор, проектористка:

“Все видели, что они творили на нашей земле, и мы хотели посмотреть на их матерей, жен, детей. Какие у них матери, жены, дети? Что они собой представляют? Хотя мы знали, что это люди, но мы хотели на них посмотреть после всего.

И вот уже Германия. Мы с подругой едем на велосипедах. Идет женщина, по-моему, трое детей у нее — двое в коляске, один с ней, за юбку держится. Она такая измученная. И вот, вы понимаете, она поравнялась с нами — стала на колени и вот так вот кланяется. Мы не поймем, что она говорит. Она в грудь нам показывает, где сердце, и на детей показывает. В общем, мы поняли, она плачет, кланяется и благодарит нас, что ее дети остались живы... Это же была жена чья-то. Чья-то мать...

Вы представить себе не можете дорог Победы! Шли поляки, французы, чехи, болгары... Все освобожденные

узники. Тележки, узлы с национальными флагами... Все перемешались, каждый шел в свою сторону. Все обнимали нас..."

Из города Пинска написала Ксения Климентьевна Белко:

"Исполнилось мне девятнадцать лет, принесли повестку: явиться в райисполком, взять с собой на трое суток продуктов, пару белья, кружку, ложку. Это называлось: мобилизация на трудфронт.

Привезли нас в город Новотроицк Оренбургской области. Стали мы работать на заводе. А морозы стояли такие, что пальто в комнате замерзало, возьмешь, оно тяжелое, как полено. Четыре года без отпусков, без выходных работали.

...Ждали и ждали, когда война кончится. В три часа ночи шум в общежитии, пришли директор завода и остальное начальство: „Победа!". А я встать с койки не могу, меня поднимают, а я назад падаю. Целый день меня поднять не могли. Что-то такое от радости случилось. Когда я на следующее утро вышла на улицу, мне хотелось каждого обнять и поцеловать. Сердце было переполнено добром к людям."

Вот таким и они вышли из войны в свою жизнь после войны. И не только о себе говорила фельдшер Лидия Васильевна Ананенко: "Война кончилась, и мы вдруг поняли, что надо учиться, что надо замуж выходить, детей рожать. Что война — это еще не вся жизнь. И наша женская жизнь только-только начинается. А мы были очень уставшие, душой уставшие..."

Как мы отсчитываем свою жизнь? Обычно делим ее на время до первой любви, до первого ребенка, до ин

ститута, после института, а у них к этим отметкам человеческой жизни всегда прибавляется слово "война", с обязательной приставкой "до" или "после": что до войны было, что в войну, что после войны пережила.

Москвичка Нина Павловна Шалова, в войну комсорг стрелкового батальона:

"Кончилась война, у меня подруги спрашивают: „Кем ты будешь?". А мы в войну так наголодались. Мы говорили, что наестся хоть бы один раз досыта. У меня мечта была — получу первую послевоенную зарплату и куплю ящик печенья. Кем я буду после войны? Конечно, поваром. И до сих пор работаю в общепите..."

Из письма, которое пришло от радистки-разведчицы Натальи Арсентьевны Мельниченко:

"И сейчас еду в поезде: стучат буфера — а мне кажется, что у меня раскрывается парашют. Я прыгаю..."

Первые годы после войны каждую ночь прыгала с парашютом, каждую ночь кричала. И помню, не знаю, рассказывал ли кто-нибудь вам об этом, как мучила долго тоска, тоска по тем людям, с которыми войну прошла. Как будто из семьи вырвалась, родных людей бросила. Смею утверждать, что тот, кто прошел войну, другой человек, чем все. Эти люди понимают жизнь, понимают других. Они боятся потерять друга, особенно у разведчиков это чувство развито, они знают, что такое потерять друга.

Ты где-то бываешь и сразу чувствуешь, что это фронтовик. Я узнаю сразу..."

О первых послевоенных годах вспоминает подпольщица Тамара Устиновна Воробейкова:



“...В институте я еще раз узнала, что такое человеческая доброта. По ночам преследовали кошмары: эсэсовцы, лай собак, последние крики умирающих. Врачи запретили учиться. Но девчонки — соседки по комнате — сказали, чтобы забыла про врачей, и установили надо мной негласное шефство. Каждый вечер они по очереди тащили меня в кино, на комедию. Хотела или нет — тащили. Комедий было мало, и каждую смотрела по сто раз.

Кошмары отступили. Смогла учиться...”

Тамара Устиновна стала юристом, кандидатом наук. Живет сейчас в Киеве.

А партизанка Вера Иосифовна Одинец долго не могла видеть вспаханную плугом землю, ей казалось, что это следы недавней бомбежки или обстрела:

“Умом я понимала, что война кончилась, а тело все, весь организм помнил. Организм забывал медленнее... Вот это даже не расскажешь... Невозможно словами передать... Чувство голода, например, и страха я не могла забыть годами...

Войну наше поколение забудет только тогда, когда умрет.”

И почти у каждой рефреном:

“Я помню, как в День Победы все плакали и кричали: „Нет! Нет! Войны больше никогда, никогда не будет”.

(Антонина Антоновна Лычаная, сержант технической службы, метеоролог.)

Что же такое наша память? Даль писал в своем словаре, что это способность помнить, не забывая прошлого, но тут же добавлял, что это не просто способность помнить, но свойство души хранить сознание о былом. Хранить ту тонкую цепочку, что идет от человека к человеку...

Из письма Тамары Ивановны Кураевой из крымского поселка Фрунзенское:

“Когда я начинаю рассказывать о войне, то тут же хочу перестать говорить, тут же хочу забыть. Узнали мы такое, что лучше бы нам никогда не знать, без этого знания легче было бы рожать детей и верить в их счастье. А теперь так сжимается сердце, когда читаешь газеты, когда смотришь программу „Время“...

Даже когда это кино, все равно не могу спокойно слышать свист бомб и снарядов. Потому что видела, как умирали люди. И когда я читаю сейчас, что где-то война, что где-то опять убивают людей, мне хочется кричать во весь голос и на весь мир: „Нет! Нет! Этого не должно быть...“. Зачем же тогда мы мучались? Зачем умирали весной такие молодые ребята? Помню, что весной, особенно когда сады цвели, терять людей было труднее всего...

Два с половиной года я была на фронте, была военной медсестрой в эвакогоспитале. Тысячи перевязок сделали мои руки, давала кровь, плакала, когда умирали. Приведу только один пример, как мы уставали. Однажды пошла перевязать косынку: перевязала, прислонилась к оконной раме и забылась. Очнулась и чувствую себя отдохнувшей. Встречает меня врач и начинает ругать. Я ничего не понимаю; только когда он ушел, но перед этим дал мне три наряда вне очереди, моя напарница объяс

нила, в чем дело: я отсутствовала больше часа. Оказывается, я уснула.

Не случайно, что сейчас здоровья мало, нервы плохие. А когда спрашивают: „Какие у вас награды“, — стесняюсь признаться, что нет у меня наград, что не успели меня наградить. И, может быть, потому не успели, что много нас было на войне, и каждый на совесть делал доставшееся ему на войне дело. А разве можно было наградить всех? Есть у нас награда — 9 Мая...

Война забрала у меня все. Не могу спокойно слышать, когда Валентина Толкунова поет: „Мой милый, если б не было войны...“. Мой дорогой человек погиб на войне, двадцатилетний майор-артиллерист. Скоро будет сорок лет, как он погиб. Но не проходит дня, чтобы я не вспоминала о нем, тысячу раз засыпала на мокрой подушке... Тысячу раз...

За годы войны ни один праздник не запомнила... Не помню даже Нового года — ни сорок первого, ни сорок второго, ни сорок третьего, ни сорок четвертого... Только сорок пятый помню...”

Вера Максимовна Берестова, лейтенант медслужбы:

“От первого и до последнего дня я была на фронте. В сорок первом выходила из окружения, в сорок втором участвовала в Изюм-Барвенковской операции, потом с первого и до последнего дня переправляла из Сталинграда раненых под обстрелом и под бомбежками на баржах, на катерах, по тонкому льду на собаках. Закончила свой военный путь в Кенигсберге. Была ранена, один раз тонула в Волге. Выплыла, да еще раненого вытащила. Но детей после того, как побывала подо льдом, иметь не могла.

Кончилась война, надо было строить жизнь, строить страну. Поехала в Сибирь и под Иркутском, на пустом месте, строила замечательный город Ангарск. Сейчас в нем уже под триста тысяч человек, а когда я приехала, было две палатки. Вырастили мы с мужем пасынка, а потом двух маленьких девочек, послевоенных сирот, привела из детдома. Теперь они взрослые, получили все образование. У нас уже пять внуков. Всем я мама и бабушка...”

А разве может человек иметь одно сердце для ненависти, второе — для любви? Одно сердце было у женщины.

Помнит об этом и минчанка Тамара Степановна Умнягина. Об этом и многом другом. Маленькая, вся такая “домашняя” и в то же время не человек, а открытый нерв. Ей с ее поэтической, очень чуткой натурой было еще труднее, чем другим. Может, потому чувства отдаленности от прошлого нет, вспоминая, все время повторяет: “От этой картины и сегодня можно сойти с ума”. Проходило два-три года войны, и многих женщин не удивляли страшные вещи, а она не могла привыкнуть и до сих пор не может. Я уже немало знала и слышала от них — и поэтического и страшного, но так, как рассказывает она, забыть не могу. Это была одна из редких рассказчиц.

Тамара Степановна Умнягина, гвардии младший сержант, санинструктор:

“Вот помню, что прибежала я в военкомат: юбочка у меня из рогожки, на ногах прорезиновые белые тапочки, они, как туфельки, с застежкой, это была мода из мод. Вот на мне эта юбочка, тапочки — попросилась на фронт, направили. Пришла в часть, это стрелковая дивизи

зия, она под Минском стояла, а мне говорят, что не надо, мол, стыдно мужчинам, что семнадцатилетние девчонки будут воевать. И в таком духе, что врага скоро разобьем, иди, девочка, к маме. Я, конечно, расстроилась, что не берут на войну. И что я делаю? Добиваюсь к начальнику штаба, а у него сидит тот полковник, который мне отказал, и я говорю: „Товарищ начальник еще выше, разрешите не послушаться товарища полковника. Я все равно домой не вернусь, буду с вами отступать. Куда я пойду — немцы уже близко.“ Так меня все и звали потом: „Товарищ начальник еще выше“. Это был седьмой день войны. Стали мы отступать...

Скоро кровью умылись. Раненых было очень много, но они такие тихие были, они так терпели, они так хотели жить. Никто не верил, что война будет так долго, ждали: вот-вот кончится. Помню, у меня все пропитывалось кровью — до, до, до... Тапочки мои порвались, уже шла босиком. Что я видела? Под Могилевом бомбят станцию. И там состав с детьми. Их стали выбрасывать в окна вагонов, маленькие дети — три-четыре годика. Недалеко лес, вот они бегут в тот лес. Тут же пошли танки, и танки пошли по детям. Ничего от этих детей не осталось... От этой картины и сегодня можно сойти с ума.

Потом попала наша часть в окружение. У меня столько раненых, а не одна машина не хочет останавливаться. Тогда один раненый лейтенант дает мне свой пистолет: „Умеешь стрелять?“. Откуда я умею? Я только вижу, как стреляют. Но я взяла пистолет и пошла на дорогу останавливать машины. Там первый раз выругалась. Раненых на руках не можем забрать. Они просят: „Ребята, добейте... Не оставляйте нас так...“.

Но самое страшное было впереди, самое страшное — это Сталинград... Какое там поле боя? Это город — улицы, дома, подвалы. Попробуй вытащить оттуда раненого! У меня тело было сплошной синяк. И брюки у меня все в крови. Старшина нам говорит: „Девочки, больше нет брюк, и не просите“. А у нас брюки все в крови, засохнут и стоят, от крахмала так не стоят, как от крови, порезаться можно. Пятнышка чистого нет, весной сдавать нечего. Горело все, на Волге, например, горела даже вода. Даже зимой река не замерзала, а горела. Все горело... В Сталинграде не было ни одного грамма земли, не пропитанного человеческой кровью.

Прибывает пополнение. Молодые такие, красивые ребята. И через день-два все погибают, никого нет. Я уже начинала бояться новых людей. Боялась их запоминать, их лица, их разговоры. Потому что вот они приехали, и вот их уже нет. Это же сорок второй год — самый тяжелый, самый трудный момент. Был случай, когда из трехсот человек нас осталось к концу дня десять. И когда нас столько осталось, когда стихло, мы стали целоваться, плакать, что мы вдруг живы.

На твоих глазах человек умирает... И ты знаешь, видишь, что ничем не можешь ему помочь, у него минуты остались. Целуешь его, гладишь его, ласковые слова ему говоришь. Прощаешься с ним. Ну, ничем ты ему больше не можешь помочь... Эти лица у меня вот и сейчас в памяти. Я вижу их — всех-всех ребят. Почему-то вот годы прошли, а хотя бы кого-то забыть, хотя бы одно лицо. Ведь никого не забыла, всех помню, всех вижу... (Плачет. ) Нам хотелось самим им могилки сделать, своими руками, но это тоже не всегда получалось. Мы уходили, а они оставались. Бывало, забинтуешь всю голову, а он у тебя под бинтами умер. И его хоронят с забинтованной голо

вой. Другой, если он на поле боя погиб, он хотя бы в небо смотрел. Или умирает и просит: „Закрой мне глаза, сестричка, только аккуратно“. А этого всего забинтованного, как спеленатого, в могилу кладут... Город разрушен, дома — это так страшно. Но когда люди лежат, молодые мужчины... Казалось, что сил уже нет, что больше, чем на пять минут, их у тебя уже не хватит. Март, первая вода под ногами. Валенки надевать нельзя, а я натянула и пошла. Целый день в них ползала, к вечеру стали такие мокрые, что не могла их снять. Пришлось резать. И не заболела...

Когда в Сталинграде кончилось все, нам дали задание вывозить самых тяжелых раненых на пароходах, баржах в Казань, в Горький. Это уже весна, март — апрель. Но столько еще находили раненых, они были в земле, окопах, землянках, подвалах, — их было так много, я вам передать не могу. Это был ужас! Мы всегда думали, когда выносили раненых с поля боя, то их уже не осталось, что отправили всех, что в Сталинграде самом их нет, а когда бои кончились, то их оказалось столько, что не верилось... На том пароходе, где я ехала, были люди без рук, без ног, сотни заболевших туберкулезом. Они не только физически себя потеряли, они страдали душевно, переживали. Мы должны были их лечить, уговаривать ласковыми словами, успокаивать улыбкой.

Когда нас посылали с ними, то говорили, что вот отдохнете, мол, от боев, это как бы даже в благодарность, в поощрение было. А оказалось, что это даже страшнее, чем сталинградские бои. Там с поля боя ты вытащила человека, оказала ему какую-то помощь, отдала — у тебя уверенность, что все теперь хорошо, что его увезли. Идешь, ползешь за следующим. А тут они все время на твоих глазах... Там они хотят жить, они рвутся жить:

„Скорее, сестричка! Скорее, милая!..“. А тут они отказываются кушать, хотят умереть. Они сбрасывались с парохода. Мы их сторожили... Я возле одного капитана даже ночами сидела — у него не было обеих рук, он хотел с собой покончить. И один раз другую сестричку не предупредила, на несколько минут вышла, и он бросился за бор- т...

Привезли мы их в Усолье, это под Пермью. Там уже стояли новые чистенькие домики, все специально для них. Как пионерский лагерь... Мы их несем, а они землю зубами рвут. Кажется, ну взяла бы любого в мужья. На руках бы его носила. Возвращаемся на пароходе назад, пустые, отдохнуть можно, а мы не спим. Девчонки лежат- лежат, а потом как завоюют. Мы сидели и каждый день писали им письма. Распределили, кто кому пишет. Чтобы им хотя бы немного легче было...

И вот такая мелочь. Я после этой поездки стала прятать в бою свои ноги и лицо. У меня были красивые ноги, я так боялась, что их изуродуют. И лицо... Вот такая мелочь...

После войны я несколько лет не могла отделаться от запаха крови, он преследовал меня долго-долго. Стану стирать белье — слышу этот запах, стану варить обед — опять слышу... Подарил мне кто-то красную блузочку, а тогда же это такая редкость, материала не хватало, но я ее носить не смогла. Что она красная... Вот этот цвет я воспринимать не могла. Не могла ходить в магазины в мясные отделы... У меня муж ходил за мясом. А летом совсем не могла оставаться в городе, старалась хоть куда- то уехать. Как только лето, мне кажется, что сейчас начнется война. Когда солнце нагревало все: деревья, дома, асфальт, — все это запах имело, все пахло для меня кро



вью. Что бы я ни ела, ни пила, не могла отделаться от того запаха! Даже чистое белье постелю, а оно мне кровью пахнет...”

И тут уже в мою память врываются другие рассказы о том, как война не кончалась днями войны, как она еще долго жила в человеческой душе.

Мария Яковлевна Ежова, гвардии лейтенант, командир санвзвода:

“Я попросилась на передовую сразу, с поезда. Шла часть — я к ней. В то время у меня было такое понятие, что с передовой я хоть на день, но раньше домой приду, чем из тыла. Маму дома оставила. Наши девчата и сейчас вспоминают: „Она не хотела в санроту быть”. И правда, приду в санроту, помоюсь, белье какое-то возьму — и обратно в свой окоп. О себе не думала. Ползешь, бежишь... Вот только запах крови... К запаху крови я привыкнуть не могла...”

После войны в родильном отделении акушеркой работала — и не смогла долго. У меня аллергия к запаху крови, просто не принимал ее организм. Столько я этой крови на войне видела, что больше уже не могла. Больше организм ее не принимал... Ушла из „родилки”. Ушла на „Скорую помощь”. У меня крапивница была, задыхалась...”

Бэлла Исааковна Эпштейн, младший сержант, снайпер:

“После войны в Минске пустили первый трамвай, и я в этом трамвае ехала. И вдруг трамвай остановился, все кричат, женщины плачут: „Человека убило! Человека убило!”. А я одна сижу в вагоне, я понять не могу, поче

му плачут. У меня не было такого чувства, что это страшно. Столько трупов недавно видела. Я не реагировала.

А потом вернулось это чувство, опять стало страшно, если увижу мертвого человека. Где-то через год ко мне это чувство вернулось. Я стала нормальная...”

Но вернемся к рассказу Тамары Степановны Умняги-ной, он еще далеко не окончен, хотя она уже говорит о майских днях сорок пятого:

“Майские дни сорок пятого... Помню, что мы много фотографировались. Были очень счастливы... Девятого мая — все кричат: „Победа! Победа!“. Не верится. А что делать теперь? Как же кончилась? А что делать теперь?

Стреляют... Что у кого есть, из того стреляют.

— Сейчас же прекратить стрелять! — приказывает командир.

— Все равно патроны останутся. Зачем они? — недоумевали мы.

Что бы кто ни говорил, я слышала одно слово — Победа! Вдруг страшно захотелось жить! А как красиво мы все начнем сейчас жить! Надела все свои награды и попросила, чтобы меня сфотографировали. Почему-то хотелось среди цветов. Сфотографировалась в какой-то клумбе...

Седьмого июня у меня было счастье, была моя свадьба. Часть устроила нам большой праздник. Мужа я знала давно: он был капитан, командовал ротой. Мы с ним поклялись, если останемся жить, то поженимся после войны. Дали нам месяц отпуска...

Мы поехал в Кинешму, это Ивановская область, к его родителям. Я ехала героиней, я никогда не думала, что так можно встретить фронтовую девушку. Мы же столько прошли, столько спасли матерям детей, женам мужей. И вдруг... Я узнала оскорбление, я услышала обидные слова. До этого же кроме как: „сестричка родна- я“, „сестричка дорогая“ — ничего другого не слышала. А я не какая-нибудь была, я была красивенькая, чистенькая.

Сели вечером пить чай, мать отвела сына на кухню и плачет: „На ком ты женился? На фронтовой... У тебя же две младшие сестры. Кто их теперь замуж возьмет?“. И сейчас, когда об этом вспоминаю, плакать хочется. Представляете: привезла я пластиночку, очень любила ее. Там были такие слова: тебе положено по праву в самых модных туфельках ходить... Это о фронтовой девушке. Я ее поставила, старшая сестра подошла и на моих глазах разбила, мол, у вас нет никаких прав. Они уничтожили все мои фронтовые фотографии...

Питались тогда по литерам. Мы с мужем сложили свои литеры и поехали их отovarивать. Пришли, это склад специальный, там уже очередь, мы стали и ждем. И вот подходит моя очередь, как вдруг мужчина, что за прилавком, перескакивает через него — и ко мне, целовать меня, обнимать и кричит: „Ребята! Ребята! Я ее нашел. Я ее увидел. Так хотел встретить, так хотел найти. Ребята, это она меня спасла!“. И муж мой рядом стоит. А это раненый, я его из огня вытащила. Он меня запомнил, а я? Я разве всех запомню, их сколько было! Другой раз на вокзале инвалид встретил: „Сестра! — узнал. И плачет: — Думал, встречу, на колени стану...“. А ноги одной у него нет...

Хватило нам, фронтовым девчонкам. И после войны хватило. Как-то оставили нас. Не защитили. На фронте по-другому было. Ползешь — осколок или пуля... Ребята прикроют. „Ложись, сестричка!..“ — и сам на тебя падает, собой закрывает. И пуля уже его... Он — мертвый или раненый... Меня три раза так спасали.

...А из Кинешмы мы вернулись в часть. Приезжаем и узнаем, что наша часть не расформируется, что мы будем разминировать поля. Колхозам надо дать землю. Для всех война кончилась, а для саперов еще продолжалась. А матери уже знают, что Победа... И травы стоят высокие-высокие, но все постарело за войну, а кругом мины, бомбы... Но людям нужна земля, и мы торопились. И каждый день погибают твои товарищи. Каждый день после войны нужно было хоронить... Так много людей мы оставили там, в полях...

Было и так: уже сдадим землю колхозу, пойдет трактор, где-то одна мина осталась, были и противотанковые, и трактор взрывается, и тракторист взрывается. А тракторов-то не так много. И видеть эти вот слезы в деревне уже после войны... Бабы режут. Мужики режут. Помню, был у нас солдат... Под Старой Руссой, забыла деревню, он был сам оттуда, пошел разминировать свой колхоз, свое поле и там погиб. Вот эта деревня его там хоронила. Он всю войну провоевал, всю войну прошел, а после войны погиб на своей родине, на родном поле...

Я как только стану рассказывать, так переболею. Рассказываю вам, а у меня внутри студень, все дрожит. Снова все вижу, представляю: как лежат убитые — у них рты раскрыты, кишки вывернуты. Дров меньше видела, чем убитых...

Меня приглашает молодежь. Не могу, миленькая, не хожу. Один раз пошла в медучилище. Зашла, увидела белые халатики, и мне плохо стало. Другой раз за мной заехали. Машина пришла. Доехала я до какой-то остановки и говорю: „Поворачивайте назад. Мне плохо.“. А я начала думать, что рассказывать буду. И все вспомнила. На войне ребята говорили: „Умирать, так с Тamarой, с ней и на том свете весело будет“. Я говорю это к тому, что я боевая была, сильная. А как война кончилась, сразу как отрезало. Не могу... Кино, книги — все равно там нет того, что мы видели. Я нигде не читала, как страшно на войне бывает. И так страшно, особенно в рукопашной, что заикаешься, несколько дней слово выговорить правильно не можешь. Разве это поймет тот, кто там не был?

Другие как-то могут, рассказывают. И это надо. И это тоже подвиг. А я не могу, я болеть сразу начинаю. День Победы... Я жду этот день и боюсь его. Несколько месяцев специально собираю белье, чтобы много было белья, и целый день стираю. Я должна быть чем-то занята, я должна весь день что-то делать. А когда мы встречаемся, нам носовых платков не хватает — вот что такое наши фронтовые встречи. И спросите меня, так я вам скажу, что не могу видеть, как дети играют „в войну“. Это переворачивает душу... Я никогда не дарила детям военных игрушек. Ни своим, ни чужим детям. Душа была против.

— У вас дочь и внучка, вы им рассказываете о войне?

— Мы жалели своих детей. Они росли, мало зная о тех ужасах, которые нам пришлось пережить. А тут хочу признаться, что мы, например мое поколение, не были заласканными, изнеженными, перекормленными, избало-

ванными жизнью людьми. И это как раз то, что способствовало победе.

— Почему же вы не рассказывали в семье о войне?

— Мы стараемся детей от всего уберечь, а это плохо. Раньше детей оберегали, теперь внуков. А потом удивляемся... Я однажды видела, как у нас в Минске шли к памятнику Победы жених и невеста в свадебных нарядах, их друзья. И все смеялись. Они так громко смеялись... Я не знаю, может, я не права, но я им сказала: „З-десь нельзя смеяться. Вы не будете счастливы, раз вы здесь смеетесь.". Может, это жестоко? Пусть они меня простят...

Знаете, какая в войну у нас всех мысль жила? Мы говорили: „Вот, ребята, дожить бы... После войны какие это будут счастливые люди! Какая счастливая, какая красивая будет жизнь. Люди, которые пережили столько, они будут друг друга жалеть, сколько добра среди людей станет. Вместе пережили такую чуму...".

Больно об этом говорить... Но — сегодня много эгоистов, потребителей, особенно среди молодежи. Кто виноват? Мы, наверное. Что есть хорошего в наших детях — это мы, и что есть плохого — это тоже мы. Мы хотели своих детей сделать счастливыми, но по-мещански счастливыми. Мы пихали им лучший кусочек, старались одеть хорошо, каждый старался, чтобы было не хуже, чем у других. Мы не давали им труда. И я не знаю, как это иногда получается, что люди, которые не мещане сами, вдруг воспитывали мещан. Мы почему-то забыли, что прошлым тоже надо жить, нельзя его предавать забвению. Конечно, у молодых другая жизнь. Молодая, счастливая. Рассказываешь им о крови, об ужасах, а у них — скука в глазах. Им не хотелось бы это знать. Но оно бы

ло. Оно было с нами. С их матерями. А они — наши дети. Они должны знать.

„Не могу видеть, как дети играют „в войну““, — говорит Тамара Степановна. Войну хочется забыть, трудно человеку жить с такой жестоко нагруженной памятью, с такой измученной душой. Но что будет с нами, если они забудут и не передадут нам свою память? Какими мы будем без нее в нашем большом и тревожном мире?

Нет, их память жива в нас. Она находит десятки путей, чтобы не покинуть человеческое сердце. Это она соединяет прошлое и будущее.

— Войну хочется забыть, а что хочется помнить? — спрашиваю я Тамару Степановну.

— Никогда не забуду и не хочу забыть, как было со мной в Сталинграде. Нет, об этом случае я вам не рассказывала. Самые-самые бои. Тащу я двух раненых. Одного протащу — оставляю. Потом другого... И так тащу их по очереди, потому что очень тяжелые раненые, их нельзя оставлять, у обоих, как это вам проще объяснить, вы же не медик, высоко отбиты ноги, они истекают кровью.

И вдруг, когда я подальше от боя отползла, меньше стало дыма. Вдруг я обнаруживаю, что тащу одного нашего танкиста и одного немца... Я была в ужасе: там наши гибнут, а я немца тащу. Там, в дыму, не разобралась, одежда на них полусгоревшая, они оба стонут, они же не разговаривают. Никак не разберешь. А тут я разглядела, что чужой комбинезон, все другое. Что делать? Я протащила нашего раненого и думаю: „Возвращаться за немцем или нет?“. А уже близко осталось тащить, и я знаю, что если я его оставляю, то он через несколько часов

умрет. Он истечет кровью... И я поползла за ним. Я продолжала тащить их обоих...

Теперь, когда вспоминаю этот случай, не перестаю удивляться сама себе. Это же самые страшные бои шли. Когда я видела фашистов мертвых, я радовалась, была счастлива, что мы их столько побили. А тут? Я — врач, я женщина... И жизнь спасала. Человеческая жизнь нам очень дорого стоила. Мир спасала...

После войны так долго нельзя было привыкнуть, что уже не надо бояться неба. Когда мы с мужем демобилизовались и ехали домой, то я не могла смотреть в окно. Столько было разрушено, столько разбито... Стоят пустые черные трубы. Они почему-то казались очень высокими. В одном месте, помню, стояла посреди поля белая печка с трубой. Одна печка посреди большого ровного поля...

Я на все согласна. Ничего, никаких излишеств не надо. Пусть ничего не будет. Только пусть будет мир. Пусть даже хлеба не будет. Мир. Только мир. Понимаете, мир! Мы же этот мир спасали... Умирали за эту жизнь молодые ребята. О чем они жалели? Что вот они погибнут, нигде не останется их кровиночки. Это же четыре года войны, четырех детей можно было родить. Я тоже боялась умереть, что ребеночка еще не успела родить. Пусть бы, думала, родилась девочка, чтобы у нее была другая судьба. Хотелось именно девочку родить. И родила после войны дочь... Потом хотела именно внучку. И родилась после войны внучка."

*Можно ли было победить народ, женщина которого в самый тяжелый час, когда так страшно качались весы истории, тащила с поля боя и своего раненого, и чужого раненого солдата? Можно ли поверить, что народ, жен*



*щина которого хотела родить девочку и верила, что у той будет другая, не ее судьба, что этот народ хочет войны? Разве во имя этого женщина жизнь спасала, мир спасала — была матерью, дочерью, женой, сестрой и Солдатом?*

*Поклонимся низко ей, до самой земли. Ее великому Милосердию.*